

опустошитель

[иверсния курутьлы]

#41

некрогония



Журнал «Опустошитель»

#41. Некрогония

Москва, декабрь 2023

310 страниц

Главный редактор Вадим Климов

Так, от гуманистических интенций медицины мы приходим к вырождению. Спасая человека, мы приближаем конец человечества. Преодолевая индивидуальную смерть, достигаем смерти всеобщей. Что симптоматично, через заботу и вырождение. Столько всего происходит, связанного со смертью и деградацией. Поэтому новый Опустошитель #41 мы посвящаем некрогонии. Крупные черные специалисты вроде Эмиля Мишеля Чорана, Александра Бренера, Бориса Виана, Ролана Топора, Юлии Горноскуль, Павла Лукьянова, не говоря уже о прочей теневой шелупони, исследуют рождение смерти в этом, пока еще живом, мире декабря 2023. Ненавистный катафалк уже тронулся с места. Не угодите под его колеса раньше времени.

*В оформлении обложки использована
фотография Laura Makabresku.*

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2023
<http://pustoshit.ru>

ж у р н а л

ОПУ СТО ШИТ ЕЛЬ

#41. Некрогония

Мария Аннинская
Виталий Аширов
Генри Глассфорд Белл
Александр Бренер
Яна Васькевич
Борис Виан
Юлия Горноскуль
Евгений Долматович
Дмитрий Заигралов
Вадим Климов
Павел Лукьянов
Владимир Мироненко (Товарищ У)
Александр Рындин
Александр Сордо
Михаил Токарев
Ролан Топор
Федор Цветков
Нелли Цымбаленко
Эмиль Мишель Чоран

Москва
Декабрь 2023

ТРИУМФ МЕДИЦИНЫ И ВЫРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



Медицина совершила огромный путь, научившись преодолевать самые разные болезни и нарушения. Технологичная, сверхсовременная спасительница человека, попавшего в беду... В союзе с вездесущей фармацевтикой медицина окружила индивида практически непроницаемой капсулой заботы.

Здоровье давно уже понимается не как данность, но как регулярное вмешательство врачей вкупе с таким же регулярным посещением аптек. Этот круглосуточный уход за человеком, превращение его в перманентного пациента, не что иное, как сверхдоходный бизнес, который просто так не отпустит своих клиентов, всегда находя для них веское основание оставаться пациентами.

Однако сведение проблемы медиализации к баснословной прибыли слишком поверхностно. Это всего лишь ее часть, причем не самая главная. Гораздо важнее другое, кроющееся не в финансах, а... в гуманизме.

Медицина научилась справляться с массой приобретенных недугов, а затем взялась за недуги врожденные. Появляющееся на свет дитя не виновато в преступлениях родителей или в их генетической несовместимости.

За дело берутся доктора, которые ставят младенца на ноги, пытаясь излечить врожденные недуги или хотя бы сдержать их смертоносное действие. Благодаря современным медицинским технологиям это часто удается: ребенок вырастает под пристальным вниманием врачей, ежедневно принимая лекарства.

А затем он находит себе пару и заводит потомство, передавая дефективный набор хромосом следующему поколению.

Природа болезни экспансивна, поэтому в пространстве и во времени распространяется именно болезнь, а не здоровье. Под защитным панцирем современной медицины, спасающей нежизнеспособных индивидов, человечество получает все более болезненный генофонд, носители которого живут лишь с помощью врачей и лекарств.

Уродство и патология становятся все более частыми, пока и вовсе не превращаются в норму. Чем технологически более развито общество, тем больше в нем откровенных вырожденцев. Это касается не только физиологических недугов, но и ментальных. Достаточно посмотреть на обычных американцев, чтобы понять, о чем идет речь.

Так, от гуманистических интенций медицины мы приходим к вырождению. Спасая человека, мы приближаем конец человечества. Преодолевая индивидуальную смерть, достигаем смерти всеобщей. Что симптоматично, через заботу и вырождение.

Столько всего происходит, связанного со смертью и деградацией. Поэтому новый Опустошитель #41 мы посвящаем некрогонии. Крупные черные специалисты вроде Эмиля Мишеля Чорана, Александра Бренера, Бориса Виана, Ролана Топора, Юлии Горноскуль, Павла Лукьянова, не говоря уже о прочей теневой шелупови, исследуют рождение смерти в этом, пока еще живом, мире декабря 2023.

Ненавистный катафалк уже тронулся с места. Не угодите под его колеса раньше времени.

п р о з а

Александр Рындин

СПАТЬ

— Авария, — машинально произнёс он, ведя автомобиль с семьёй на большой скорости по платной дороге. Боковым зрением заметил машины аварийных служб, конусы и какую-то сутолоку, проносясь мимо.

— Ой, машина слетела с трассы, — ответила она, присмотревшись.

— Уу, хоть без жертв? — ДТП уже исчезало в зеркале заднего вида.

— Скорее всего, не обошлось. Даже ограждение снесло.

— Да...

Они ехали по шоссе без остановок около четырёх часов. Был ещё разгар светового дня, позади заезд на заправку и ранний подъём (чтобы не поздно добраться домой). Тем не менее монотонность езды по гладкому (почти) асфальтовому полотну давала о себе знать. Мозг периодически начинал уходить в режим ожидания. В такие мгновения он думал, что главное — не давать глазам сомкнуться, ведь секунды тут вполне хватит для катастрофы. Лишнее доказательство тому они только что миновали.

Предусмотрительно размещённые через каждые двадцать километров зоны отдыха и регулярные АЗС, а также предупреждения на цифровых транспарантах служили в общем-то хорошей профилактикой подобных несчастных случаев. Но самомнение, торопливость, невольное сопоставление себя с дальнобойщиками и всякого рода людьми, функционирующими без перерывов куда более длительное время, иной раз да-

вали о себе знать. Пару часов? Это же просто смешно! Дорога ровная (почти), маршрут прямой как шпала — что тут может быть сложного?!

Самым пугающим были не случайные миллиметровые виляния рулём на скорости 180 км/ч или внезапные ливни, резко ухудшающие видимость. Даже не летящие в стремлении всем продемонстрировать свои лихачества идиоты-шашочники на дорогах «немцах». Страшнее всего становилось в моменты залипания. Этот ускользающий проблеск дремоты, который резко оборачивается глубоким сном, обыкновенно забирающим тебя в статичной позиции где-нибудь на диване, за офисным столом или где-то ещё. Всему виной чаще не физическая усталость (хоть и не без этого), а скука. Умерщвляющее мозговую активность бездействие разума или протест оного против чужеродной для духа деятельности.

Монотонные сокращения мышц в упрощённом аппарате АКП, торможение, ускорение и подкручивание рулевого колеса с гидроусилителем. Лёгкие движения пальцев для поворотника, дворников и регулятора громкости. Шум спрессованного воздухом салона, тем более громкий, чем выше скорость езды. Всё это, даже с драйвовой музыкой, способно поместить в медитативное состояние, когда мысли отправляются в свободный полёт, оставляя тело без внимания.

«Рефлексы!» — скажут многие, и доля истины тут есть. Мышечная память, процесс автоматизирован, команды исправно поступают в конечности по инерции. Едва ли тут нужен интеллект. «А как часто мы вообще им пользуемся?» — задумался он и живо встряхнулся за долю мгновения до того, как заволокнувший зрачок слой слёзной плёнки намертво склеил веки на глазном яблоке. Будучи на чеку, он мог с точностью отличить смыкание глаз от рядового моргания.

— Может, остановимся? — едва заметная нотка беспокойства в её голосе.

— На следующей заправке.

Пополнили бак, выпили кофе, прошлись с ребёнком, можно ехать. Домой добрались без приключений. Вот только в одной из дверей плескалась вода, вытекать явно не собираясь. «Кажется, мы ехали над водой», — подумал было он, но отогнал мысль. Вечер перед телевизором, отпрыск носится по комнате с очумелыми криками, жена томится рядом, глаза смыкаются... Отголоски водительской собранности подхватывают сознание, моментально вытряхивая в бодрствование. Сердце усиленно колотится, как-то особенному. Он ощутил что-то едва уловимое, проскочившее сквозь восприятие, не задержав фокуса. Где он?

Конечно, дома. Чепуха! Они вернулись. «А вдруг?» — проскальзывает мысль. «Что «вдруг»?!» — яростно отвечает голос разума. Ложась спать, он слышал звуки и запахи салона машины. Веки ещё не сомкнулись, но уже вот-вот. Автомобиль пока не ушёл в свободный полёт.

— ПРОСНИСЬ!

Яркий свет, размытый силуэт на фоне обретает очертания знакомого лица. Смеющаяся детская физиономия на плохом человеческом кричит, повторяя за матерью. Смысл считывается только за счёт контекста и интонационной мимики.

— Ты хорошо его научила, — говорит он, разворачиваясь в сторону, где ожидает увидеть жену, но там никого.

Шум на кухне, она не приходила. «За кем же он повторил?» — смотрит на сына. Тот хохочет какой-то невысказанной шутке.

— Папапапапапа! — ребёнок несётся впереди, словно глашатай.

— Доброе утро, — они в кухне, все в сборе. Готовится завтрак. Шипение жарящегося наполняет воздух утренней текстурой.

— Хорошо спал? — дежурный вопрос.

— Как обычно, а ты?

— Ночь была жаркой.

— Ты звала меня сейчас?

Она как будто останавливает время, чтобы прервать процесс готовки, потому что все характерные шумы и запахи вдруг пропадают:

— О чём ты?

— Он кричал что-то вроде «проснись», вот я и подумал.

— Так вот что это было! — смешок, готовка возобновлена и через минуту закончена.

За едой ему сонно, но он не может сказать, что не выспался. Отчасти он даже чувствует, что никогда не был бодрее. И всё же глаза как будто не могут до конца раскрыться. «А может, наоборот?» — невольная мысль. Он отмахивается и от неё, погружаясь в день. Это выходной. Можно пойти гулять.

Собираясь, смотрит в зеркало и не узнаёт себя. Потом, конечно, узнаёт. Через двадцать минут они на площадке, в адище, где время не движется и голову заполняет тупая боль безысходности, от сиюминутного нежелания быть здесь до глобального вопрошания: «К чему это всё?» Но что-то происходит. Будто клин вонзается в колесо рутины, на площадку, шатаясь, вбегает бомж. Он несётся прямо к нему и, опередив какую-либо реакцию, хватается за плечи и кричит, орошая лицо вонючими слюнями:

— Скорее калибруйся!

Он отпихивает бездомного от себя, и тот незамедлительно удаляется, будто вызванный по звонку. Он берёт за руку сына, и они уходят домой, слыша за спиной чьё-то: «Вы в порядке?»

Вечером он смотрит видео в соцсетях и натывается на запись выступления какого-то американского стендапера. Фрагмент посвящён сну, комик всё вопрошает: «Что есть сон? Попробуйте объяснить это пришельцу, у меня бы точно не получилось!» Какое-то время он не может заснуть, но в итоге засыпает. Сновидений или отголосков езды нет: собственно, поездка в виду своей бессобытийности (а вернее, бескатастрофичности) слилась со всем остальным. Тем не менее сохраня-

ется ощущение двойственности, какой-то переходности.

Строго говоря, жизнь практически вошла в привычное русло, но какое-то тяготящее чувство не покидало его. Будто нащупав ключ к нелицеприятной тайне мироздания, он маялся, одновременно желая и не желая её раскрыть. Однако процесс уже был запущен.

Дверь машины раздражающе булькает, в глаза как песок насыпали, а дни идут своим чередом. Однажды он читает новость о страшной аварии, и мозг пронзает дежавю: «Но этого же ещё не было! Почему «ещё»? Какой-то идиотизм». Далее работа, рутина и нескончаемые потоки информации, трендов, мнений. Невольные стариковские мысли из разряда «раньше было лучше» порождаются вышедшей из-под контроля динамикой прогресса: меняйся или умирай, иди в ногу или оставайся за бортом, при этом оставаясь на нём. Странно, да? В мире нейросетей и прочей чепухи, где искусственный интеллект перестал быть просто фантазией киношников, вполне можно сфабриковать целую реальность, но есть восприятие — так ведь? Твоё отношению к окружающему, точнее, сам факт наличия этого отношения делает тебя настоящим. А что если нет? Если всё до последнего атома можно развенчать и низвергнуть? Но ещё более странно допустить, что смерти не существует (ведь ты и не рождался). Что если жизнь никогда не кончается? Что если она кончается бесконечно?

— Ты обожаешь задавать вопросы, ответов на которые никто не даст, — сказала она как-то за ужином. — У тебя неисчерпаемый ресурс вопросов.

— ВОПОФО! — вторит мелкий.

— Мне кажется, ответы есть, просто их ещё больше, чем вопросов.

— Ответ содержится в вопросе? — усмехается она.

— Всё, прекращай, ты заражаешь меня своим занудством.

— ЗАМУЦО!

После этого его осенило: сформулировать вопрос. «Почему я всё время хочу спать?»

— Потому что я так и не ложился, — произносит он вслух за пустым столом, где только что сидели жена и сын. Удивления нет, только выводящее из себя осознание, которое вертится на языке.

Глаза уже закрываются, но веки ещё не сомкнулись. Как только это случится — всё закончится. А где же он сейчас? Что всё это? Виртуальная реальность? Симуляция? Отчасти. Созданная его же мозгом.

Сквозь мутные щели видно лобовое стекло, она кричит, он ещё не отрубился, но поздно. Рефлексы уже не работают, автомобиль фактически потерял управление, то есть управляющего. В это время они ехали над рекой. Либо тут, либо там — за пустым столом в безопасной квартире. Но выбор уже сделан, и сонливости больше нет.

Он сидит за столом один и никогда не чувствовал себя бодрее. Выступает скупая мужская слеза, он их помнит, пусть теперь они лишь игра воображения. Что бы это ни было, он не позволит себе забыть.

«Странно, всю жизнь мне казалось, что я создаю воспоминания, которые приписывают кому-то ещё. Становился лишним в собственном прошлом, которое делил с кем-то другим. А теперь я самоустранился из своей же гибели. Может, все, кто до сих пор топчет эту землю, проходят через то же самое?»

— Ну и что, чёрт возьми, мне делать с этой информацией? — сказал он вслух. Голос показался чужим.

В итоге он примкнул к стану тех, кого всегда презирал: стал инфлюенсером. И даже снискал грёбанную популярность. На очередной «лекции» собралась толпа, которой позавидовал бы Тони Роббинс.

— Мы все живём на одолженном времени. По сути, жизнь — это дерьмо, ещё дерьмо, а затем ещё, но надо быть благодарным, потому что всегда может стать хуже. Так я думал раньше. Но теперь понял, что всё несколько иначе: жизнь — это всё, что у нас есть, поэтому лучше всего этим пользоваться.

Гром аплодисментов. Дело было не в том, что он говорил, а в том, что источал. Знание: он постиг нелицеприятную тайну мироздания, и все это ощущали. Во время выступлений перед его глазами всегда стояло лицо улыбающегося малыша, которого не было, а в ушах звенел крик: «ПВОСИСЬ, ЗАМУДА!»

Яна Васьевич
КАЖЕТСЯ, МОЯ ЖЕНА — РЫБА

Сегодня моя жена изменилась. Не вся, скорее, что-то не уловимое с первого взгляда. Это как не заметить первых морщин или новой стрижки — незначительной детали. Сначала она показалась мне сумасшедшей — с выпученными глазами и глупой улыбкой приблизилась утром, чтобы поцеловать. Тело её подозрительно пахло, словно она вспотела во сне. Странно, ведь раньше это казалось мне чем-то по-домашнему трогательным.

Мы любили дурачиться утром, обниматься перед завтраком. Теперь что-то не так. Впервые я не захотел ответить на её поцелуй, а сжал губы и заставил себя не отвернуться. Я говорил себе: «Что ты, старина, ведь это всё ещё твоя жена, всё та же милая пухлая женщина». Наверное, это спросонья. Потом мы пошли завтракать. Чёрт, кажется, и мой дом изменился, по крайней мере что-то случилось с кухней, опять же что-то незаметное, как будто поменяли, скажем, количество шкафов или перекрасили пол на оттенок темнее. Нужно вглядываться, чтобы понять, но сейчас не до этого.

Мне неприятно прикасаться к жене — она липкая, какая-то чёртова рыба. Сейчас она всасывает вчерашние спагетти своим трубообразным ртом со звуком и наслаждением. Я в растерянности, ковыряюсь в тарелке, вожу глазами по кухонным ящикам. Что-то здесь не так.

Сегодня вечером у нас должны быть гости — подруга жены с мужем — очередная пьяная встреча. Нужно много всего успеть. Женщина напротив, словно читая мои мысли, подскочила и закивала:

— Да-да, нужно сделать салат, купить красивые бокалы, протереть пол и ещё... Тараторила без умолку.

Я ужаснулся своим мыслям, подумал что-то типа: «Какая же тупица, когда ты наконец заткнёшься и оставишь меня одного?» Боже, это были мои мысли, в моей голове, их сгенерировал мозг, смотря на любимую жену. Не может быть, ведь я обожаю её каждой клеткой души, не могу перестать восхищаться тем, какая она находчивая и жизнерадостная, точнее не мог, до этого завтрака. Она попыталась взъерошить мне волосы, чем вызвала раздражение. Я быстро встал и отправился в постель, чтобы поспать ещё пару часов, надеясь, что странное утреннее ощущение развеется. Стремительно уснул.

Я проснулся в рыбацкой бухте, запутанный в рыболовных сетях. Чёрт! Они так сильно меня пережали, что казалось, ещё чуть-чуть и разрежут рот от уха до уха. Я запаниковал, начал извиваться, как червь, как приманка, чем приманил нечто. На чёрной поверхности воды появились круги, потом бурление и вышло оно — нечто с лицом моей любимой жены, нечто чужое и пугающее. Раскачивая бёдрами, существо приближалось ко мне. Шло оно словно заигрывая, словно это был брачный танец какой-нибудь инопланетной амфибии. Приблизившись, существо оценило меня взглядом и стало у головы, широко расставив ноги. Оно гордо демонстрировало свою промежуточность, чудовищно долго, считая видимо, что я получал бесценное наслаждение.

Но я смотрел туда, как зачарованный, и промежуточность её казалась мне как минимум необычной: вся сочащаяся, словно гонорейная воронка, вывернутая наружу и серая.

Существо напряглось и зарычало, из её промежуточной полилась густая тина, на меня, на моё обездвиженное сетью лицо. Вместе с омерзением я почувствовал, как мой детородный орган реагирует на этот запах. Словно я — пришелец-амфибия — учуял запах самки своего вида. Самка тотчас же заметила моё возбуждение и, качая бёдрами, уселась на меня верхом.

О что это было за наслаждение, я окунулся в речной ил, в тёплую морскую воду, чувствовал, как меня ласкает тысяча нежнейших листьев водорослей.

Я проснулся. Из кухни послышалось:

— Милый, ты так весь день проспидишь.

Выдохнул: «Всё в порядке, утренняя чертовщина мне приснилась». Тут же радостно крикнул:

— Дорогая, собирайся, поедем выбирать бокалы.

Пританцовывая, зашагал в сторону ванной. В нос ударила едкая вонь. Так пахнет месяцами не чищенный бассейн, болотная ряска, гниющие кувшинки. Моя жена стояла напротив зеркала, дышала на него, а после прижимала открытый рот, оставляя отпечаток. Криво улыбаясь, она повернулась ко мне и проклекатала:

— Смотри, а след исчезает.

— Да, милая, очень интересно, собирайся, — не принуждённо проговорил я.

Всё в норме, просто шутка, просто она встала не с той ноги.

Через полчаса мы были готовы ехать за бокалами. Я ждал её на диване в гостиной. Лучезарная улыбка на инопланетном лице. Сейчас чёртово лето, двадцать градусов жары, а она вырядилась в меховую жилетку, влага из тела испарялась, на лбу проступил пот. Я только улыбнулся в ответ.

Жена чмокнула меня в щёку, я не отстранился. Она мягко улыбнулась и повернулась к зеркалу, чтобы нарисовать губы какой-то безвкусной сиреневой помадой. Мы выдвинулись.

В магазине как обычно было полно народу, в отделе посуды и подавно. Моя амфибия-жена вальяжно разгуливала среди прилавков, бросала в корзину всякий хлам. Увидев посуду, она издала громкий вопль:

— Уаа, туда, бокалы.

Я был раздавлен обращёнными на нас взглядами. А она, безумно раздувая ноздри, двинулась к посуде и через секунду довольно произнесла:

— Выбираю эти, они как будто в разводах мочи.

Быстрее к выходу, уже наплевать на эти безвкусовые паршивые бокалы. На нас косились люди, прикрывали рот в усмешке, словно что-то знали. Всё потому, что сейчас июнь, а она в чёртовой меховой жилетке, чуть ли не захлёбывается потом, но не раздевается. Я несколько раз попытался мягко сбросить жилетку с влажных плеч, но моя странная жена смотрела на меня, как на умалишённого.

Наша корзина наполнена до краёв: здесь десять рулонов туалетной бумаги (боюсь представить, что она приготовит), какие-то безделушки для сервировки, вантуз (мать его), специально выбранные подпорченные фрукты, заветренное мясо. Молча оплачиваю, парень-кассир строит глазки моей жене на прощание. Наверное, у него какой-то фетиш на взмокших женщинах.

На улице я почувствовал, как нарастает звон в ушах, остановился. Эми — моя дорогая жёнушка — с любопытством спросила:

— Милый, ты замёрз? Возьми, на.

И стала натягивать на меня свою мокрую от пота жилетку. Боже, что за идиотка. Я держался из последних сил.

Домой ехали молча, я курил.

Через два часа приедут наши друзья — Джулия и Сэм — и меня, чёрт возьми, грела только мысль о прохладном вине в холодильнике.

Я натёр бокалы, придвинул праздничный стол к дивану, расстелил скатерть. Стало даже уютно. Тсс... Из кухни доносятся всплески воды, и сердце моё стучит сильнее — там поселился страх. Беззвучно ступая, я проследовал на кухню. Моим глазам открылось нечто странное и одновременно жуткое. Половое ведро было наполовину пустым, швабра отброшена под столешницу, а посреди кухни в луже грязной воды лежала моя обнажённая жена. Она лежала на животе и крихтела, даже стонала, и вдруг по-лягушачьи оттолкнулась от ближайшего кухонного шкафа и заскользила. Мне показалась, что она даже выбирала угол, чтобы по-

плотней прижаться к полу гениталиями. Чудовищное удовольствие. Сделав три круга, она села на ягодицы и теперь отталкивалась от плиты. Я вздохнул слишком глубоко.

— Дорогой, я вот-вот закончу с уборкой, помощь пока не требуется, — как ни в чём не бывало сказала Эми. Я вышел окаменевший и до прихода гостей боялся показаться из комнаты.

За окном быстро стемнело, раздался звонок в дверь. «Боже, я останусь не один», — пронеслось в голове, и я бросился открывать. Жена меня опередила. Гости хвалили её уродливое платье, восхищались причёской. Я же стоял незамеченным.

Джул и Сэм — наши друзья, хотя, скорее, друзья жены и мои знакомые. Вот Джулия чмокнула Эми в щёку, отдала бутылку вина и проследовала мыть руки. Сэм же набросился на мою женщину и стал жадно облизывать шею, в то время как она игриво хихикала. Какой-то бред, должно быть у меня галлюцинации.

— Эй, старина, надеюсь сегодня ночью ты будешь молодцом, — подмигнул он мне. Я криво улыбнулся.

За столом я чувствовал себя участником сексуальной игры, которому не растолковали правила, поэтому просто сидел и наблюдал. Наши гости выпили, потом ещё. Я отключился.

Щелчок — и вот я проснулся сегодня, ничего не помнящий, рядом с женой. Она всё же изменилась. Сейчас, кажется, ночь. У меня колотится сердце, и я боюсь, потому что не вижу собственных ладоней. Верно, я сошел с ума или же все они меня разыгрывают. Помню, как позавчера мы пили вино. Вдвоём. Она была печальна и задумчива — моя прелестная жена. Её затуманенный взгляд хотел мне что-то сказать, я наклонился вперёд, понюхал её волосы и произнёс:

— Ну же, дорогая, скажи, что хотела!

В тот момент я думал, что это очередной приступ нежности, любви, будто сейчас она скажет мне, как счастлива быть моей женой, как ей уютно находиться здесь. Тогда глаза её поменялись, я был так близко, что

видел, как сузились зрачки. Эми прошептала:

— Радость моя, прошу, прости меня, я отчаянно пытаюсь простить саму себя, как я жажду всё изменить. Я была с ним. Когда Джулия вышла, моё сознание сузилось до ушка иглолки, я онемела, как... как рыба.

Я упал в кровать и воспоминания вылетели из головы. Должно быть я спал, наверное, проспал целый день, чувствовал влажные объятия, как меня гладили по голове, что-то шептали. Я спал и не спал одновременно, чувствовал, словно меня избили, от души накололи шилом, придавили огромным камнем. Я чувствовал, но тело, казалось, умирало. Миг превратился в колесо, потом в спираль.

Сейчас в этой комнате может быть она — моя изменившая и изменившаяся жена.

Меня погладили по ноге, появились мурашки.

— Милый, наверное, плохой сон? — спросило чудовище. Я замер. Тёплые руки исследовали мою грудь, шею, гладили щёки, опускались ниже, хватались за живот, стремились к гениталиям. Я задрожал и стал безумно маленьким под натиском этого существа. Готов поклясться, я возбудился от парализующего страха.

В свете фар проезжающих за окном машин я увидел её, восседавшую на мне верхом. Вот чёрт, эта бесформенная масса — моя жена. Первый блик — и я разглядел её жёлтую свисающую кожу (ниже груди уже ничего не было видно). Я чувствовал, словно на меня вылили воск тысячи свечей, который медленно переплавляли, пока я спал, и вмиг придавили меня, выстроили эдакий алтарь. На удивление, в голове пронеслась мысль, что, несмотря на громоздкость, двигалось сие нечто очень ритмично. Второй отблеск осветил её лицо. Это было безумием, я потерял голову, очарованный чертами: отёкший овал приторно блестел, губы похотливо увеличились и, казалось, вождедали самых страстных поцелуев, а глаза двигались хаотично и несвязно.

В комнате пахло желчью, я был бессильным, запертым в одной комнате с ней. Существо ускорило темп и внезапно приблизилось к моему лицу.

— Позволь, я поглощу тебя, — шурясь, сказала оно голосом моей жены.

Меня ударили изнутри, разом выдернули нервы и вставили обратно. Я заверещал, как безумный, сбросил это с себя, споткнулся, что-то перепрыгнул... Из проклятой квартиры бежал обнажённый и шокированный, пока тяжёлое дыхание не остановило ноги.

Что ж, а на этой набережной неплохо, я, конечно, вернусь домой, только сначала отпущу жену в реку.

Дмитрий Заигралов ЯМА

Петр Андреевич жил жизнью ровной, всего понемногу, и хорошего, и плохого, но хорошего всегда, конечно больше было. Сам по себе Петр Андреевич был человек добрый, слегка мягкотелый, стеснительный, скромный и при том страшно сентиментальный и жадный до всего, что душу греет. Любил он порой прохожим улыбаться, детишкам в проезжающем автобусе ладонью помахать тоже любил, а обниматься... обниматься с товарищами своими он страсть как любил, хоть и стеснялся иногда, благо те сами его обнимать желали. За то он их среди прочего и любил. И очень уж расстраивался, когда кто-то хоть даже самый далекий знакомый, которого он и сто лет то уже не видал, вдруг мимо пройдет, не поздоровавшись, будто и не заметив, хотя и очевидно, что нельзя не узнать. Тогда Петр Андреевич бывало в тоску впадал, себя корить начинал, али может, сделал чего тому, да и позабыл после. И так мог долго размышлять и мысли эти в голове гонять, пока что-то хорошее светлое их не перебивало, благо такового хорошего и светлого у нашего героя бывало предостаточно

Жизнь у Петра Андреевича была славная, на зависть многим. Работал он на складе, главным там был самым, коллеги его любили, хвалили за глаза и часто радовались, какой у них начальник светлый и приятный мужчина, да еще и работающий. Жил он в большом доме на 48 квартир, и все в этом доме друг друга знали и очень тоже радовались, что в квартире под девятым номером живет у них такой сосед как Петр Андреевич наш. Кроме того у героя нашего много товарищей было разных со школы оставшихся, с института, а

кто и просто добрый прохожий, что однажды в ответ на улыбающийся взгляд Петра Андреевича также улыбкой ответил, а там уже пошло, и глядишь, неделя минула, а уже друзья, вода не разольет.

Много, в общем, людей окружало Петра Андреевича, и для всех он был мил и приятен, но так уж вышло, что для каждого в отдельности был он просто хорошим знакомым, прекрасным соседом, славным коллегой, приятным собеседником, кому-то даже добрым другом, а вот близким и важным человеком он ни для кого не был. О, не поймите неправильно. Все любили Петра Андреевича, как родного, но ведь это как бывает, у каждого свое хозяйство, свой круг, свои заботы и дела, а Петр Андреевич хороший человек, всем он дорог, всеми он любим, но все как-то не так. Была правда однажды у него одна любовь большая, и счастливы они были, не передать, да только, что-то не так пошло, да и уехала она далеко. Петр Андреевич тогда не понял этого, расстроился, конечно, убивался даже, но решил, что так оно и надо, значит так должно. И жил дальше без любви, и без близости особой с кем-либо.

Сам Петр Андреевич никаких проблем по этому поводу не испытывал. Он ведь везде вхож, везде ему рады, улыбаются, обнимают, смеются, словом все, что для счастья нужно.

И вот однажды идет Петр Андреевич с работы, со склада своего. Шел он в тот день один, потому что спешил очень, все казалось ему, что дома плитку он не выключил. Весь день его эта мысль мучила, он ее все утихомиривал, в себе держал, отгонял на задворки сознания, но вот под конец смены уже не выдерживал и, хоть и не бегом, но шагом быстрым и порывистым семенил домой, лишь бы сердце свое, наконец, успокоить, квартиру свою увидеть целую и не сгоревшую. И вот второпях, да под ноги не смотря, взял да и свалился в яму Петр Андреевич.

Что за яма? Откуда? Никогда на дороге этой ям не было, а тут на тебе, яма, да еще какая, туда Петр Андреевич весь целиком поместился, да еще и место оста-

валось. Стоит наш герой в яме этой, в полный рост стоит и на прохожих глядит, среди них коллеги идут, а может и какие еще знакомые мелькают. Все с работ своих идут, уставшие, вымотанные, кто торопится быстрее до тепла и уюта добраться, кто по делам прочим спешит, а кто в своем кругу идет и беседы развеселые ведет.

Думал Петр Андреевич окликнуть проходящий народ, чтоб помогли ему из ямы выбраться, а то сам он уж никак не сможет, видно через чур та яма глубока. Но подумав еще немного, решил, что повременить пока можно с этим, не время сейчас народу мешать своими проблемами, а дом в порядке будет наверняка, даже если и плита включена осталась, соседи наверняка позаботились, чтоб страшного ничего не случилось.

Ну, так вот и сел Петр Андреевич в яме, а там и просторно даже оказалось, так он там и просидел до следующего утра. А там уже утро субботы, выходной значится. Тут, конечно, смех смехом, а Петр Андреевич снова подумал, мол, неудобно как-то людей в выходной день отрывать. Но ситуация уже сложнее была, тут уже и кушать хотелось, и за квартиру боязно как-то, так что Петр Андреевич дай, думает, подкараулю кого знакомого, чтоб незнакомца какого в неловкую ситуацию не ставить. А то ведь как бывает, идешь себе, а тебе какой-то неизвестный мужик чужой совсем кричит, о помощи просит, а тебе и дела нет, но и игнорировать неудобно, ведь есть определенные правила приличия и морали, вот и приходится людям через себя переступать. Такого наш герой не хотел, конечно, так что стал ждать лицо знакомое.

И ей богу дождался, знакомых-то много у него.

— Татьяна! — Кричит он из ямы. — Татьяна! — Та озирается, не понимает, откуда зовут. Смешная она женщина, тоже с работы его, только не со склада, а из другого отдела, для склада она хрупкая слишком. Сама по себе непутевая, но добрая, и все не видит, откуда голос до нее доносится. — Я тут, внизу! Это я, Петр.

— А-а, Петр Андреевич, здравствуйте! — Наконец поняла Татьяна. — Чего это вы там делаете?

— А вот я... — Растерялся что-то герой наш. — Вот тут я. А вы не могли бы помочь мне?

— Да, конечно, только чем же? — Вопросила Татьяна.

«И правда» — подумал Петр Андреевич. — «Как же она такая худенькая слабенькая меня отсюда вытаскивает?»

— А не могли бы вы мне еды немного сюда подать, а то я тут со вчерашнего вечера, и не ел совсем, даже водички не пил. — Жалобно проговорил он.

— Да-да, конечно. Для вас все, что угодно. — Пролепетала та и убежала. А вскоре вернулась с едой, много еды накупила, и чаю даже в термосе принесла, небось, из дому взяла.

— Спасибо, вам Татьяна, огромное, вы меня страх как выручили, даже представить себе не можете.

— Да не за что благодарить, это же мелочи все.

И тут она уж было уйти порывалась, а Петр Андреевич только сейчас и решился еще одно высказать.

— Не могли бы вы Татьяна для меня еще одну небольшую вещь сделать? — Говорит.

— Да, а что же надо-то? — Уже не столь любезно откликается Татьяна.

— Можете вы, если вдруг встретите кого со склада, сюда ко мне прислать, мне это очень важно.

— Хорошо. — Пожав плечами, бросила та. — Встречу, скажу.

— Благодарю вас.

Ушла Татьяна. Петр Андреевич поел, наконец, да чаем все запил, даже на будущее осталось. До ночи так никто и не пришел, видно не встретила никого или, может, встретила, сказала, да тот, кому сказали, решил, что дело не срочное. Но с другой стороны, а срочное ли? Еда есть, на дворе лето, дождя даже нет, так что все хорошо. Но тут еще вспомнил Петр Андреевич про квартиру свою, и так заругал себя, что не спросил Татьяну про квартиру, не слышала ли она, не

случилось ли чего. И так опять забеспокоился он о доме своем, о соседях, они ведь по его вине и пострадать могут, и такая паника накатила, что до самого утра он и уснуть не смог, лишь после рассвета ко сну отошел.

Проснулся только к обеду. Глаза продравши страшно перепугался, что видно пропустил коллегу своего, который прийти должен был, и совсем размяк оттого. Но как уже было сказано, Петра Андреевича все страшно любили, так что коллега, что действительно приходил, пока тот спал, вернулся еще раз ближе к вечеру, чтоб уж точно застать нашего героя бодрствующим. Это Ефим Арсеньевич пришел. Высокий он был, как известный милиционер из детской книжки, дядя Степа звался. Ефим Арсеньевич как в яму заглянет, как шею вытянет, на Петра Андреевича уставится, да и говорит.

— Мне вон Танька сказала, что вы здесь. — Говорит. — Прийти сказала, я пришел по полудни, а вы спите, да храп стоит, что аж страшно. Думалось сначала, что тут работы какие ведутся строительные. Ну, я и ушел, вас не добудисься. Решил, попозже прийти, и вот пришел собственно. А вы это как здесь?

Неловко Петру Андреевичу стало, что из-за него Ефим туда сюда мотался зазря, да еще и храп этот. В жизни Петр Андреевич не слышал храпа своего. Это немудрено конечно, как услышишь, коли спишь сам, вот и не знал, а другой никто и не сказывал до сего дня, вот и не знал, а теперь неудобно совсем перед коллегой.

— Я приболел просто. — Говорит.

— А-а-а. — Протянул Ефим Арсеньевич. — А меня на что звали?

Задумался тут Петр Андреевич.

— Ты не мог бы домой ко мне сходить, да проверить все ли там нормально, все ли цело, да и соседям моим передать, где я, да что со мной, а то волнуются, наверное.

— Ну, могу, отчего ж нет, все равно ведь по пути будет. — Отвечал Ефим. — Сделаем.

И ушел. А Петр Андреевич остался в яме сидеть. За вечер доел он то, что от принесенного Татьяной осталось, и уснул сытым, но беспокойным сном.

Утром глаза продирает. Мимо люди топают, по работам своим идут. Вот и Татьяна тут. Вот идет она, а вот уже и к яме подходит.

— Я Фимку встретила и все-все ему передала, как вы и просили. — Говорит она тихо-тихо доверительно.

— Спасибо вам, Татьяна. — Ответ ей из ямы.

Тут же и сам Ефим Арсеньевич. Тоже подошел, говорит, мол, к дому сходил, все там в порядке и чистоте. Соседям он тоже все передал, они сегодня прийти даже пообещали.

— Благодарю вас, Ефим Арсеньевич. — Прямо в яме раскланявшись, лепечет Петр Андреевич. — Вы мне большую услугу оказали, я вам должен останусь.

— Ах, да забудьте, что мне сложно, что ли? Мелочь такая. — Махнув рукой, отвечал Ефим. — Хорошего вам дня, Петр Андреевич, а я на склад пойду, работа зовет.

— Да-да, конечно, и вам удачи.

Так и распрощались.

Вскоре после и, правда, соседи нагрянули. Столпились все у ямы и вниз на Петра Андреевича глядят да охи с ахами издают. А тот их успокаивать давай, мол, нормально все с ним, ему тут и тепло и не холодно и покушать приносят, правда, вот сейчас уже закончилось.

— А мы принесем! Мы вам можем хоть каждый день еды носить, коли надо будет. — В один голос заговорили все соседи.

— Спасибо вам огромное, дорогие вы мои. — Отвечает им Петр Андреевич, а сам про себя ругается, да только не на кого ему ругаться, сам ведь запутал соседей, начал зачем-то про еду говорить, только себя тут и ругать можно.

«Дурак я» — Досадует. — «Как бы мне им донести, да так чтоб глупо не выглядит, чтоб совсем обузой себя в их глазах не увидеть. Намекнуть бы».

— А как там наверху-то у вас? — Спрашивает. — Давно я уже на асфальтовой тверди не стоял.

— Хорошо тут, хорошо. — Отвечают ему. — Ну, в целом как обычно, знаете ведь.

Не поняли.

— Соскучился я уже тут сидеть, в яме этой треклятой. — С чувством выдохнул из себя Петр Андреевич. Ну, уж теперь-то очевидно все, теперь-то ясно им станет.

— А ничего-ничего, Петр Андреевич. — Наперебой его соседи успокаивают. — Вот как выберетесь, так воздуху вдохнете, по сторонам оглядитесь, тут-то оно и сразу лучше все будет.

— Да уж, точно. — Говорит, а сам про себя их матюками кроет, что ж тут-то, неужели непонятно. Правда призадумался тут же, ведь они не со зла такие, они видно думают, что дело тут плевое и вылезти в два счета можно, а он, дурак, все сидит. Может и вправду мало пытался, может и справиться тут можно самому, просто постараться нужно.

Подумал над этим всем Петр Андреевич и таким олухом себя почувствовал, так он всех замучил из-за пустяков каких-то, да тут же зачем-то извиняться начал. А соседи все ни в какую, извинения не принимают, говорят, мол, ни к чему это, пустяки ведь, никаких проблем.

— А я знаете, скоро выберусь уже, только вот еще немножко тут посижу, и выберусь, это я вам точно говорю. — Заверил их Петр Андреевич. И так убедительно говорил, что и себя самого в словах своих уверил. Так что решил он еще попробовать, просто упорства больше употребить на дело это, но лучше когда стемнеет, чтоб без свидетелей, а то мало ли, еще увидят его потуги жалкие, наверняка ведь не сразу выйдет успех.

А соседи-то и вправду еды принесли, да много сколько, тут тебе и окорока куриные, да и грудки свиные, картошка, макароны, греча, пирогов три штуки, сухари сушеные, хлеба пять батонов да варенья две банки, ну и с чаем термосы конечно, куда же без чая

доброму человеку в яме сидеть. Петр Андреевич долго благодарил, а потом еще столько же дивился добру всему этому. А потом на себя опять досадовать стал. Так он всех в положение обременительное поставил, а ведь и не съест всего, коли сегодня из ямы выйдет. Даже жалко стало, но что ж теперь вечно сидеть? Нет, выбираться надо.

К вечеру вот еще к Петру Андреевичу коллеги подошли. Да и сколько их! Чуть ли не весь персонал склада пришел начальника своего навестить. И все смотрят, все здоровья желают, про настроение спрашивают.

— А что настроение-то? Хорошее настроение, отчего ему плохим быть? — Смеется Петр Андреевич из ямы.

— А мы за вас перед старшим начальством поручились, вам там отпуск бессрочный выдали, так что вы не волнуйтесь ни о чем. — Говорят складские.

— Ох. — Вздыхнул тот от изумленья. — Спасибо вам, чтоб я без вас делал, да только я скоро вернусь уже, так что срок этот недолгим будет.

— Ждем вас, ждем. — Донеслись перебивающие друг друга голоса.

Так и поговорили еще немного о делах складских, да и разошлись по домам. А Петр Андреевич все в яме сидит, да к ночи готовится, выбираться ему надо скорей.

Часов Петр Андреевич с роду не носил, а телефон давно сел, так что время он только как в древности определить мог. Правда и этого он особо не умел, но вот стемнело уже совсем, на улице все затихло, народа нет — ночь значит.

Собрался Петр Андреевич с силами, только все на добро, соседями принесенное, косится, жалко ведь. Решил тогда он сначала всю эту красоту из ямы на поверхность вытащить, а самому уже следом пойти. Так и сделал.

Три часа ночи. Яма посреди улицы, не пойми, откуда взявшаяся несколько дней назад, и не огорожена

даже ни чем, куда только коммунальщики смотрят, не понятно. У краев ямы этой еда разная выложена, а также термосы с чаем — красиво, хоть сейчас, не смотря на ночную темень пикник заряжай. А в яме человек. Он там уже не первую ночь, только сегодня что-то копошится, все не успокоится, то прыгает, то на стены лезет, а все равно все одним кончается — падает попой своей на дно ямное и сидит с пол минуты чуть не плача, потом снова лезет али прыгает, да за края цепляться пытается, но все всегда одним заканчивается. Так и вся ночь прошла. Петр Андреевич обессиленный уснул, и весь день проспал в беспамятстве.

А пока спал он сном своим тяжелым, к яме вновь соседи пришли. Да и что же увидели они. Все добро, что было нанесено вчера, стоит у ямы краев, будто и не нужное. В яму заглянут, а там Петр Андреевич спит, а около него пара сухарей надкусанных валяется и еще пакет с ними не раскрытый. Это их он вытаскивать не стал, оттого что совсем они ему не понравились.

Соседи-то конечно ситуацию всю по-своему поняли. Даже разобиделись на товарища по дому. Решили ему впредь только сухари эти и таскать, раз их он всему остальному предпочел. Ну и чаю еще все-таки решили приносить, а то, как же человеку в яме с сухарями и без чая?

Петр Андреевич-то, когда проснулся, сразу свою ошибку понял, и так совесть его грызть начала, так неудобно ему было, и ведь не объяснишься тут уже, потеряно все. Хорошо хоть сухари эти поганые носят с чаем, и на том им спасибо, ведь и того они не должны, не обязаны, а делают, значит любят все-таки, а он дурак дураком.

Так и длилось время, сидел Петр Андреевич в яме на сухарях сушеных с чаем горячим. Сидел себе и ждал не пойми чего. Выдумывал все что-то, чтоб люди поняли, как плохо ему, чтоб опустились к нему, да за руки схватили, да наверх вытянули, обняли, утешили и

домой отвели, и чтоб все как раньше закрутилось. Последнее вот придумал — надо, мол, яму глубже раскопать, чтоб уж сразу видно было, что никакой человек из такой ямы своими силами выйти не сможет. Идея эта показалась просто отличной, и даже странно, что раньше она в голове его не возникла. Ну, значит, начал Петр Андреевич землю рыть вглубь, а выкопанное наружу выбрасывать, да подальше, чтоб подозрительностей не было.

Вот так и рыл постепенно Петр Андреевич по ночам яму свою разрывал, да глубину ее увеличивал, а народ все приходит, кто гостинцы принесет, кто о здоровье справится, а кто просто поболтать зайдет, но все что-то никто не думает Петра Андреевича вытаскивать. Яма же тем временем, усилиями своего обитателя, все углубляется, а у героя нашего в голове мысли тревожные да угнетающие крутятся.

«Ну не может же быть такого, что они и теперь думают, будто по собственной воле я тут нахожусь и в любой момент выйти могу, если только пожелаю». — Досадовал Петр Андреевич. — «Может и рад народ, что я тут теперь сижу, глаза, может, теперь им не мозолю, когда хотят — видят меня, когда не хотят — не видят. А то ведь приходил часто, наверно, где-то и навязывался, где-то излишним был, а ведь то все из добрых побуждений. Да разве важно это теперь, теперь-то все потеряно, так и забудут про меня совсем, и останусь в яме я навечно, никому не нужный, никем не любимый по-настоящему. Только вот одна меня любила, любовь моя первая, да и та ушла давно, оставила дурака».

Но потом вроде бы взял себя в руки Петр Андреевич, мысли эти погнал к черту, решил, мол, как бы там ни было, хуже уже точно не будет, надо со всем этим кончать, да сказать уж честно, что не может он сам выкарабкаться, помощь ему нужна. Да и попросить о помощи этой, ну, не откажут же, а если и поморщатся, так пусть, лишь бы выйти отсюда, а то ведь скоро и дожди пойдут и холода стукнут, нельзя ждать больше.

Вот уже и утро наступает. Правда, приход утра уже не так легко различим с глубины ямной, совсем уж глубоко стало. И все же солнце в раннее и к Петру Андреевичу заглянуло, а он сегодня весь на нервах, речь признательную готовит, боится, как бы совсем себя в чужих глазах не уронить, как не посрамиться. И так отчаян уже он, что, думает, первому же показавшемуся все и выложит, кто бы ни был это.

Ждет, ждет, а все нет никого. Необычно это. Неужто бросили его совсем?

Нет! Вот показался кто-то! Ефим это! Вот тебе и радость!

— Ефим Арсеньевич! — Кричит ему из ямы наш герой. — Вы представить себе не можете, как я вам рад.

— О-о, Петр Андреевич, а я вас сейчас еще пуще обрадую, у меня тут для вас сюрприз! — С задором слова растягивая, отзывается ему тот.

И в это же мгновение еще народ показался, да много так, никогда столько еще не приходило, и все здороваются, все улыбаются, руками машут, поздравление выговаривают.

— С днем рождения вас, Петр Андреевич, родненький вы наш! — Сыплется ему в яму.

А ведь и правда! День рождение! Обрадовался Петр Андреевич, что столько народу пришло к нему, и так приятно, так тепло на душе стало, значит, любят все-таки!

Ну, тут уж и праздник пошел, хоть и неудобно было конечно, но праздник есть праздник, ему никакие обстоятельства не помеха. Веселились до самого вечера, благо выходной день. Всей душой Петр Андреевич празднованию отдался, давно он таким счастливым себя не чувствовал. Хорошо ему было.

Потом, конечно, все уже домой пошли, не вечно же праздновать, а Петр Андреевич сидит себе в яме своей вымотанный всем этим весельем, и на душе у него вдруг пусто стало. Праздник праздником, а он ведь все в яме и сидит, так и не сказал никому, да и как

тут скажешь, посреди торжества, неуместно это, праздник тут, а он драму давай свою пихать, только настроенье людям портить.

Ну а на следующий день тоже не стал Петр Андреевич ничего никому говорить. Решил, пообождать с этим нужно пару дней, а то мало ли что подумают. Может, решат, что вот, мол, увидел с каким все радушием к нему пришли, и сразу давай им свои проблемы на плечи накидывать, ишь наглость какая. Нет уж, лучше подождать еще, и так ведь столько ждал, пара дней погоды не сделает.

Только вот ошибся Петр Андреевич. Погода как раз за пару дней и испортилась. Проснулся он одной ночью от холода. Он ведь в тот день и так уснуть не мог из-за дождя, но потом вроде тот прошел, и получше стало, а тут среди ночи мороз совсем пробрал. Разбитый весь, с мыслями спутанными очнулся ото сна Петр Андреевич, и так жалко ему себя стало, так обидно, а вместе с тем так злость взяла, и это тоже на себя родимого все. Вот ведь дурак, до чего довел. Ярость в крови вскипела, и давай он на стены бросаться, только что толку. Тогда Петр Андреевич то ли сдуру, то ли себе в наказание стал опять землю под собой рыть, и так остервенело со страстью, как сумасшедший какой. Потом и уснул без сил, даже холода уже не чувствуя.

Проснувшись, Петр Андреевич с ужасом обнаружил, что сверху лишь маленькое пятнышко света, и уже подойди кто к его яме, не различишь никого. «А так и надо дураку» — Решил он, плюнул себе под ноги, сел и заплакал.

Плакал долго, часа полтора, наверное, а тут что-то сквозь всхлипы свои усталые слышит, доносится что-то сверху, и голос такой знакомый-знакомый. Голову запрокинул, смотрит на пятно света вверх, а там силуэт только, не различить ничего, только голос знакомый, женский, тонкий такой, приятный.

— Мне сказали, что ты тут сидишь, я тебя весь день искала, а ты тут. — Голос говорит, а Петр Андреевич все понять пытается, и вроде вот уже и понял,

но как бы, не до конца, а голос все надрывается. — Ты там, Петенька, я за тобой пришла.

Петенька? Так его уж давно никто не звал. Только мама звала его так, а она умерла давно. Ну и еще любовь его первая тоже Петенькой называла, но не может же быть...

— Как же ты туда угодил, в яму-то такую, тебе помощь нужна, тебя вытаскивать нужно. — Ну, точно она, кто же еще это быть может, и сразу, прямо с ходу поняла все, какая умница. — Я тебя вытащу, ты только отзовись.

А Петр Андреевич уже и кричит ей, да голос охрип за ночь на холоде, да ведь и дождь тоже был, совсем он ослаб, заболел стало быть, не докричаться теперь до такой вышины со дна. А голос сверху еще покричал, позвал его, и исчез. Ну, ничего, решил Петр Андреевич, еще придет, я тогда оправляюсь, тогда все хорошо уже будет. И так рад он был в тот момент, так счастливым мыслей этой.

32

Она-то уже вернулась, конечно, туда, откуда приехала, и больше к яме не приходила. А народ городской все сухари с чаем носил да в яму скидывал, но, так как Петра Андреевича уже давно и не видно было, и не слышно, вскоре и это делать перестали, а потом и вовсе про яму забыли все. А Петр Андреевич, стало быть, пропал куда-то, про него потом тоже забудут, будто и не было никогда.

Пройдет еще пара месяцев, про яму вспомнят. Непонятно, конечно, что за яма, откуда и зачем. Ну, и зарыли ее к чертям, чтоб не упал никто, она еще и глубокая, разара.

Павел Лукьянов
ТАЛАНТ И ПОКЛОННИК

Больше всего на свете писатель Григорий Клинов ненавидел писать. С тяжким боем и круговыми подходами к столу ему удавалось усадить себя за лист бумаги или экран ноутбука. Он заранее утомлялся от предстоящего складывания слов в смысловом порядке, от описания героев и внятного следования сюжету. Клинов тяготился своим умением писать и почти ничего не мог с собой поделать: он избегал свободного времени, старался всё своё время заполнить встречами с другими писателями, стремился каждую встречу завершить в баре, чтобы залитое вином сознание не говорило ему с укором: “Ну как же так, Григорий? Ты же — писатель. Ты уже много написал, но нельзя почитать на лаврах, писатель живёт лишь тогда, когда пишет новое. Где твоя бумага и ручка, негодяй? Перестань пить горькую...” — ничего этого Григорий и слышать не хотел от своего подсознания. Едва у него обнаруживалось свободное время, едва его ноги сами присаживались к удобному столу с подготовленной бумагой и чаем в стеклянном термосе для бесперебойного питания мозга на протяжении шести-восьми часов, как он набрасывался на бумагу и быстро-быстро писал, стараясь за этот каторжный срок написать как можно больше. Он погружался в написание только для того, чтобы поскорее вынырнуть. Но, едва пустое время сладострастно разводило перед ним свои стрелки, желая объять его и принудить провести остаток дня за письменным параллелепипедом (стол был антикварный, добротный, массивный), едва день как бы расчищался от порожных дел, как внезапное небо расщепается от туч, являя свою исходную голубую глубину,

едва у него возникало время для листа бумаги, как Григорий судорожно хватал телефон и обзванивал своих друзей, назначая внезапную встречу. Лишь бы не садиться за написание новой повести, лишь бы не измучивать себя утомляющим вдохновением. Друзья знали эту привычку Григория к внезапным звонкам: он звонил и принуждал к встрече. Уяснив его манеру, друзья всё чаще оказывались недоступными именно в тот момент, когда Клинову нужно было срочно обрести предлог для бегства от письменного стола. Вот и вчера он провёл вечер со старым приятелем, которого не видел со школы и который был далёк от всего этого литературного мира.

Его друг — Алексей Лапкин был школьным учителем математики, звёзд ни с неба, ни с земли не хватал, жил умиротворённо, без фантазий. Дети были, жена была. У него было всё, что диаметрально отличало его от старого школьного друга Григория Клинова. Клинов был для Алексея Лапкина известнейшим писателем, у которого вышло девять повестей и три сборника рассказов, о котором писали рецензии, которого даже показали по телевизору (пятнадцатисекундная фраза в репортаже с книжной ярмарки). Алексей Лапкин вырос робким кругленьким человечком, хотя в школе он был худосочен как Клинов и бегал с ним кросс на равных. В юности вообще не всегда можно угадать, к чему впоследствии склонится человек: к писательскому издевательству над собой или к методическому школьному отбыванию стажа. Звонок Клинова был для Алексея неожиданным и лестным. В суете он не сразу сообразил, для чего оказался нужен Григорию и согласился на встречу. Внешним поводом была презентация последней книги Григория Клинова, которая называлась «Утоли свои вначале».

Лапкин ушёл из школы раньше обычного, оставив проверку школьных тетрадок на время после встречи. Это было непривычно, но он пошёл на сдвиг режима ради желания нового впечатления от старого приятеля. Григорий не обманул его ожиданий, и вечер ока-

зался непредвиденно красочным. Друзья встретились возле библиотеки имени Достоевского на Чистых Прудах. Робкий Алексей по дороге на встречу спешно читал в вагоне метро последние рассказы Григория, чтобы наверстать упущенное и быть готовым к предстоящей презентации новой книги. Однако всё сложилось не совсем так, как рисовалось в воображении учителя математики. Григорий пришёл немного навеселе с одной книгой в кармане и с бумажным пакетом в руке. Из пакета торчало горлышко коньячной бутылки. Григорий протянул её Алексею, предложив приникнуть к напитку. Алексей как-то напрягся, но виду не подал, деликатно отклонив предложение. Григорий посмотрел на него с сарказмом, Алексей мгновенно вспомнил этот взгляд: Григорий точно так же смотрел на него все школьные годы, но время затёрло те неприятные ощущения и вдруг заново вернуло, удвоив неприятность момента тем, что теперь Григорий своим взглядом посмеивался не просто над школьником, не знающим жизнь, его взгляд как бы смеялся над всей сорокалетней жизнью Алексея. “Робость города берёт!” — сказал Клинов и сделал из горлышка лихой глоток.

Когда школьные приятели вошли в библиотеку, Лапкин всё ещё не понимал, во что ввязывается, он, в общем-то, плохо знал взрослого Клинова, храня школьную дружбу в серванте памяти. Он не хотел признаваться, что жизнь их так разметала, что и встречаться им не следовало бы. Но он шёл за Клиновым в библиотеку, не предвидя развязки. Клинов сдал пальто в гардероб и стоял с книжкой и бутылкой в пакете. Алексей замешкался, пытаясь повторить гардеробный ритуал, да так от робости и остался в застёгнутой куртке. Он лишь пригладил рукой волосы перед зеркалом и замер в готовности. Клинов ощутил и это: “И тропинка и лесок, важен каждый волосок!” Вслед за Клиновым он вошёл в читальный зал. За столами сидели студенческие парочки, сообща склонившиеся над учебниками, пожилые одиночки смотрели в мониторы, листая страницы сайтов в поиске непредсказуемой

информации, одна молодая девушка сидела без книги в огромных наушниках и слушала, судя по восторженному лицу, что-то суицидное. Алексей растерялся от тишины читального зала и рассеянного разнообразия лиц. Вдруг он увидел, как Клинов встал в центре читального зала, раскрыл свою книгу и начал очень громко читать:

“Повесть «Оконце русской поэзии». Глава первая. Больше всего на свете писатель Тарас Нелепин любил писать. Страсть к писательству у Тараса Нелепина была неутолимой. Он был уже прославленным писателем, получившим за первую маленькую повесть «Сандро» несколько главных российских премий, его расхваливали и расхватывали на интервью, конференциях и книжных фестивалях, но он стойко противостоял излишней трате времени попусту и любой удобный миг использовал для того, чтобы уединиться и что-нибудь ещё написать. Он писал дома на подоконнике, переделанным под стол (прекрасен вид из окна на вечно живую Ордынку), он писал в гримёрной перед предстоящим интервью с маститым журналистом, он писал в такси по пути домой ранним утром после затянувшегося фуршета. После любого застолья, он собирал волю и мысли в кулак и писал, как мы мгновенно трезвея для новых текстов. Тарас был настоящим тружеником, преданным творчеству как любимой женщине. Было только одно обстоятельство, которое он никак не мог преодолеть — Тарас никак не мог ничего написать. Тут была какая-то загадка для него. Он видел сотни своих исписанных страниц, десятки файлов на компьютере росли день ото дня по итогам усидчивой работы. Но он никак не мог написать связный текст. Когда он брался за чтение того, что писал только что, то видел какие-то обрывки фраз, бессмысленные сочетания букв, длинные предложения, смысла которых не мог разобрать. Тарас грешил на компьютерный вирус, который искажает его файлы, но и написанное на бумаге было столь же непонятным при чтении. Но это только вдохновляло Тараса, и он каждый раз писал всё больше, «уходя в

творчество с головой» — как он образно выразился в последнем интервью. На фуршете после презентации десятого издания первой повести директор издательства наставлял Тараса Нелепина: “Ну ты же как-то написал своего «Сандро», всего пятьдесят страниц текста, а какое народное восторжение! Главное умение писателя — вовремя остановиться”. Тарас опрокинул холодный объёмчик водки в рот, кинематографично выдохнул и, втянув носом новый воздух, сипловато ответил: “Я ориентируюсь на Толстого, пишу много, сам знаешь”. Директор раздражённо проговорил: “Ты только обещаешь. Я, конечно, Сергею Борисовичу обещал и выполню обещание, до двадцатого переиздания я твою первую книгу доведу, средства нам уже выделили, но деньги — это же не всё, ты должен понимать! У издательства есть своя политика, есть некий статус в литературном мире. Мы не можем слишком долго ехать на первой лошадке. Для тебя это также не очень хорошо будет. Скоро это станет совсем заметно и понятно. А тиражи сами себя не раскупят. Вот кладовщику на складе зарплата покажется маленькой, и он все твои пылящиеся тиражи сфотографирует и выложит в сеть, и будет скандал. Продажи мы нарисуем, конечно, но реальная фотография в современном мире может натворить массу больших бед”.

— Слушай, хватит тут кричать! — сказал с еле сдерживаемой угрозой бородатый студент, утопая испуганными глазами в глубине бороды. Он подошел к Григорию Клинову вплотную и прервал необъявленную презентацию. — Здесь читальный зал. Вы мешаете всем читать нормальные книги!

Алексей Лапкин всё то время, пока Клинов раскати́сто и чуть визгливо читал свою книгу, как-то замер и чередой скромных неосознанных движений отошёл к простенку между окнами и стоял, прислонившись к стене. Алексей боялся сделать или подумать что-то не то, он чувствовал, что происходит что-то непрогнозируемое, но боялся выйти из происходящего и показаться непонимающим. Григорий посмотрел на сту-

дента с бородой очень по-дружески: “Разве вы не пришли на презентацию книги?” — театрализованно удивился он.

— Нет! — прячась за порослью на лице, ответил худощавый студент, — здесь библиотека, здесь все хотят тишины.

Григорий Клинов обвел взглядом посетителей зала и с наигранной угрозой ласково спросил: “Кто здесь хочет тишины? Поднимите руки!” Посетители сидели, затаившись. Лес рук смиренно лежал на столах. Никто не желал участвовать во внезапном перформансе.

— Свободное безволие. Всё по Канту, — Клинов обвел ладонью публику.

Студент вцепился в волосы в бороде и крутил их, мстя за свое бессилие. Алексей Лапкин шуршал спиной по стене и молчал. Григорий опустил глаза в свою книгу и продолжил:

“Тарас Нелепин числился первым русским писателем начала двадцать первого века. На успехе его первой небольшой повести «Сандро» и держалась его многолетняя известность. Книгу переиздавали, записывали аудиокниги, по ней ставили спектакли, её перевели на десять языков. Правда, недобрые языки говорили, что тиражи и продажи все фиктивные, переводы сделаны и забыты, а по пабликам в соцсетях мелькало насмешливое клеймо *маркетингового писателя*. Совсем уже разозлённые языки утверждали о доходящей до родства дружбе Нелепина и важного чиновника в правительстве. “Но ведь и Лев Толстой был графом, а любим мы его не за это”, — метко и тонко парировал яростный адепт прозы Нелепина — критик Дмитрий Пыхов. Пыхов писал о Нелепине проникновенные критические статьи, в которых, правда, не было критики, но которые были призваны прояснить «погрязшим в гиперинформационном болоте потребителям подлинную бриллиантовость Нелепина на фоне обрушенного литературного ландшафта». Помимо искренних критиков у Нелепина была дружная команда, которая вела его соцсети и обеспечивала непадающий уровень его

упоминаемости в сторонних каналах информации. Нелепин должен был находиться в негаснущем фокусе актуального внимания. Он делал фотографии из Донбасса, куда специально ездил под прикрытием бригады спецназа. Нелепин видел и показывал себя народным автором, он и стиль первой повести построил на «снихождении до уровня развития простой школьницы из глубинки» — как глубинкомысленно глубокомашено писал Пыхов в тридцать второй рецензии на единственную повесть Нелепина.

— Да выведите вы его кто-нибудь! — выкрикнула из зала читательница Мамардашвили. Григорий Клинов повысил громкость своего голоса ещё на одну ступень и продолжил, не реагируя на подлые выкрики из зала.

— Вот это выдержка, вот это перформанс! — восхищенно дрожал от испуга Алексей Лапкин, давно вспотевший в куртке, но не смеявший звуком растеиваемой молнии помешать чтению.

— Нелепин, кстати, хорошо пишет, а у вас одна зависть на языке, — с испуганным достоинством произнёс развязного вида мужчина, сидевший в читальном зале со стопкой толстых литературных журналов.

Клинов вскинул на него глаза, оценил ситуацию, просчитал противника, вычислил траекторию и, не смотря на коньяк в теле, ловко прошёл к его столу. Верхним в стопке лежал номер журнала «Знамя». «Разрешите?» — указал Клинов на журнал. Мужчина согласно кивнул от греха подальше.

Клинов взял «Знамя» и, раскрыв наугад, громко зачитал:

— Наскребали всей камерой. Толика хоронили по-русски широко, с избиениями родни, с полицией и больницами. Широкая русская душа широко ходит. Куб воздуха в камере был плотен от шушукающихся голосов. Убивали по-зверски, а хоронили по-христиански. Этот народ ни понять, ни победить нельзя...

— Да выведите вы его кто-нибудь, — взвилась студентка с фиолетовыми волосами и татуировкой сердечка на шее.

Администратор библиотеки — встревоженная женщина, избегавшая любой лишней эмоции, пригнулась за стойкой и уже звонила, тихо произнося адрес библиотеки в трубку.

Клинов вернулся к своей книге и продолжил:

— Тарас Нелепин любил полицию, он любил избыточно буяннить в баре, доводя ситуацию до драки и затем, отойдя в сторону, ждать приезда уставших «хоронителей беспорядка» — как он их называл. Перед милицией он разыгрывал карту человека, близкого к администрации президента. Тарас Нелепин знал, что паразитировать нужно на всём живом, поэтому окружал свою фамилию впечатляющими непуганую публику регалиями и званиями. Злые критики, робко рассыпанные по интернету, писали:

«У Нелепина поразительная бесчувственность к русскому языку. Понять его прозу вроде бы возможно, как возможно понять результат алгоритмического перевода с индийского на русский. Слова выглядят узнаваемо, они написаны кириллицей, но ни один простой Кирилл не испытает от чтения прозы Нелепина радости отстранения от суеты — ощущения, до сих пор посещающего нас при чтении Толстого или Чехова. Своеобычность языка этих писателей была способом создания живой дистанции между событием в книге и ощущением в душе читателя. Нелепин же не владеет даже проблесками писательского дыхания, его слова наглухо привинчены к событиям книги. Они начинают только сами себя и даже меньше. Когда человек пишет: «цапнул зубами стустки мороженого» — сложно заподозрить в писателе художественную чуткость. Тяжкий писательский сон преследует Нелепина. Сомнамбула не может не бродить словами по бумаге. Нелепин не может не писать, но писать при этом он тоже не может. В этом дурном колебании от бессмысленности к бессмысленности...»

Шумный шорох куртки и топот военных ботинок прервали чтение. В читальном зале возникла неожиданная, как авария посредине умиротворённо пустого шоссе, фигура Тараса Нелепина. Он был одет в модную военную куртку американского офицера, на груди у него красовались скромные плашки скупых российских орденов и нашивка отрицательного резус-фактора первой группы крови.

— Остановитесь, Гаврила Ардалионович, остановитесь! — вальяжно протянул Нелепин, надвигаясь на Клинова. Вчера тебя выгнали, хочешь повторить?

Клинов отвел руку с раскрытой книгой, которую Нелепин хотел было вялым жестом выхватить, и продолжил чтение:

— Тарас Нелепин, президент союза писателей Российской федерации недавно стал директором библиотеки Достоевского, пытаюсь еще одним символическим поступком приблизиться к вечным гениям.

— Клинов, ты клинический идиот. Ты что в телеграм-канале у меня писал? Модераторы полдня комментарию чистили!

— Нелепину хотелось покоя, но воли ему не доставало, — читал Клинов, ловко отшагивая прочь от надвигавшегося Тараса.

— Ты мешаешь людям, давай выйдем на воздух, тебе нужна помощь. — Нелепин наступал, как карикатурный злодей комиксов.

— Нет, нет, всем нравится, не правда ли? — Клинов отпятился ещё на несколько метров и призвал в свидетели оставшихся в зале читателей, давно превратившихся в зрителей. «Книга умирает, визуальность победит», — мелькнуло в голове Клинова, когда он увидел молчащие плоскости мобильных телефонов, на которые посетители снимали их импровизированный диалог с Нелепиным.

— Вечность рождается на лету! — кивнул Клинов на новорожденных кинооператоров.

— Слушай, ты вроде нормальный парень?! — с угрозой в голосе увещевал Тарас.

— Нормальный парень здесь — ты, Тарас. Директор департамента литературы, шелковый голос министерства природы, молох империализма, красный барон культурной революции!

— Клинов, прекращай! — брезгливо протянул Нелепин, — за тобой уже идут, довыступался, — Тарас кивнул в окно, где была видна остановившаяся возле библиотеки полицейская машина, из которой вырастали два полицейских чина.

Алексей Лапкин глянул в окно и впервые в жизни ощутил на своей шкуре выражения «холодный пот», «потемнело в глазах» и «кутузка». Не ради этого он шёл на сегодняшнюю встречу. Он заискивал перед Клиновым. Не понимая его тексты, он списывал это на свою ограниченность, но теперь, оценив момент, как опасный для себя, Лапкин решил тихо исчезнуть, мелькнула мысль опуститься на корточки и эдакой незаметной манерой отползти. Но что хорошо для воображения, то для воплощения смерти подобно. Лапкин ни на какие корточки не опустился, а как был, стоя, тихим крабиком засеменил к двери.

Клинов взял в руку орудие элитария и пролетария — коньячную бутылку — и сделал долгий глоток, не вынимая при этом снаряд из пакета, дабы не рекламировать правонарушение. После нарочито длительного глотка, он профессионально выдохнул и чуть более блестя глазами, чем надо, и чуть менее величественно выглядя, чем мог бы, сказал Нелепину:

— Наконец-то ты войдешь в историю русской литературы, Нелепин. Ты останешься в веках человеком, который сдал в полицию писателя. А ты умеешь дела делать! Путь из бытия в небытие — это полностью твоё!

Нелепин наконец смог добраться до Клинова, который утратил былую ловкость, и выхватил из его рук книгу.

— О, преданный поклонник. Прямо из рук рвет, — осклабился Клинов и облизал губы некрасивым языком.

Лапкин уже добрался бокоходом до входной двери, уже почти покинул помещение, но входящие в дверь полицейские, не зная ещё, кто виноват и что случилось, уверенно и строго втиснули его обратно в читальный зал.

— Побудьте здесь, — сказал ему сержант, профессионально оглядывая зал в поисках источника проблемы.

Нелепин был хоть и никудышным, но всё же писателем, к тому же он был цепким продюсером и понимал ценность любого упоминания о себе, к тому же человек — это просто любопытная обезьяна. Поэтому Нелепин открыл наугад книгу Клинова.

— Ну, кто так пишет? — покривил он душой, пробежав пару строк, — я всегда говорил, что без поддержки государства писатель хиреет слогом. Ты читал мою пятитомную биографию Маяковского? Несчастный человек был. Но пожар первой советской пятилетки высветил его историческую фигуру. Читай нормальные книги, свет разума побеждает чудовищ. — Тарас Нелепин продолжал листать книгу Клинова и бормотал, — ты просто больной, заблудший писатель, — говорил он как бы себе под нос, но так, чтобы всем, кто продолжал снимать его на видео, было слышно. Знающий толк в выходных данных книг, Нелепин заглянул на последнюю страницу издания и задержался в удивлении. «Что здесь делает Сергей Борисович? — поспешно соображал он, увидев знакомую фамилию. — А если всё это выступление Клинова — западня и спектакль, чтобы выманить меня из выстроенного образа и представить душителем литературы?» — Нелепин быстро прокручивал варианты, боковым взглядом опытного чиновника наблюдая продвижение наряда полиции по читальному залу. Попав в атмосферу библиотеки, полицейские как бы притихли, подчинённые генетическому благоговению перед возможным знанием. У Нелепина в голове прорабатывались варианты действия: «Я за две секунды это не решу. Чаша весов говорит о загадке. Зачем Клинов написал обо мне кни-

гу? Это мне для политического смирения, возможно, для испытания и возмужания. Враги укрепляют мою веру. И все кругом снимают — что хорошо. Клинов пьян, а я свеж и убедителен. И в новостях будет солидно звучать: «Нелепин выступает против любых запретов, даже когда порочат его собственное имя». И Сергей Борисович — почему он в редколлегии издательства? Наверняка — это проверка, нельзя подать виду и клюнуть с размаху. Не так я ещё крепко в правлении сижу, чтобы сбивать шапки с панов. Нужно смирение. Выжду, а расправиться ещё успею. Жизнь длинна, как палка. Хорошая фраза, кстати, надо не забыть использовать».

Нелепин, пропитанный умением перестраиваться на удобную в данный момент волну, включил смягчённую насмешливость. «Клинов, возьми книгу. Хороший текст. Мужественный. Хорошо приложил. Будет, над чем и мне подумать на досуге».

Григорий Клинов уже терял ось происходящего, его, как профессионального алкоголика, быстро пробрали небольшие порции выпитого, и он лишь на какой-то звериной физиологии и несминаемом моторе разума держался на ногах и даже блеск пьяных глаз сумел погасить. Он отодвинул стул, стоявший рядом, и сел за стол, раскрыв выхваченную с полки книгу «Анатомия Анатолия». Григорий погрузился в воображаемое чтение, и Нелепин уловил, что и ему стоит сворачивать действо. Полицейский как раз добрался до Тараса: «Уважаемый, что шумите? Пройдёмте, пожалуйста. Вы мешаете». Тарас заученным движением наклонился к сотруднику и прошептал ему какие-то слова. Полицейский недоверчиво посмотрел на Нелепина, достал свой телефон и стал что-то искать. «Это я вас вызвал. Председатель союза писателей России. Проверили?» — полицейский читал в телефоне информацию и недовольно передёргивал плечами. Неприятное положение мальчишки для битвы. Особенно, когда изначально приезжаешь с полномочиями. «Кто же здесь нарушал тогда?» — спросил полицейский, пытаясь со-

хранить статус важности и прося помощи у неприкасаемого Нелепина. И тут подал голос Григорий Клинов: “Вон тот товарищ, — протянул он руку в сторону Алексея Лапкина, замеревшего у выхода. — Вот он всем мешал, громче всех молчал и вообще не проявил себя никак. Он настроен против литературы, он против книг. Он не понимает творчество! И он, — Григорий преувеличенно покачал головой, — он читал запрещённую литературу. Даже мы с товарищем Нелепиным вынуждены были отнять у него книгу. Вот она”, — Клинов показал на книгу в руках Нелепина. Полицейский посмотрел на книгу в небольшой панике, поскольку давно не читал и не знал, как сходу оценить текст. “Изымите книгу. Нелепин, отдай товарищу сержанту”, — сказал Клинов. Книга оказалась у сержанта, а его напарник у двери загородил выход Алексею Лапкину, школьному учителю, попавшемуся как школьник.

В рабочие дни Алексей временами сталкивался с властью в школе — директор оттачивал свою важность, распекая Алексея на общем собрании учителей, а тот слушал и молчал. И сейчас в библиотеке Алексей почувствовал себя привычно, когда на него строго взглянули блюстители закона. Он посмотрел на Григория Клинова через весь зал, и что-то живое и печальное захотело вырваться из его уст, но суэта регламентированных отношений предстала перед ним в виде сержанта, который с усталой вежливостью попросил его пройти с ним. Алексей послушно пошёл за представителем власти. Живое и печальное слово потухло в груди, ему стало нечего сказать Клинову, вся череда лет, которые Лапкин жил, храня образ давнего друга, писателя, неподвластного существа с иной формой мышления, вся эта лента лет одним мигом потускнела, потеряла краски. Поступок Клинова как бы вынул душу из прошлого и заполнил его тоскливой обидой.

Алексей Лапкин вышел из библиотеки вместе с полицейскими. Они смотрели на его фигуру, до обидного не способную ни на какие правонарушения. Весь вид

Лапкина показывал, что он, даже если бы хотел, не мог ничего нарушить. Его лицо было лучшим алиби его жизни. Заметив, с каким недоумением переглядываются полицейские, Лапкин понял, что его отпускают. С ним даже не попрощались, просто пошли прочь к машине, заехавшей колёсами на тротуар. Алексей Лапкин посмотрел в просторное окно библиотеки и увидел, как Нелепин пьёт из бутылки в пакете, и как он что-то говорит Клинову, пока девушка с фиолетовыми волосами стоит рядом, раскрыв книгу в ожидании автографа.

Алексей вдруг почувствовал себя одиноким не только сейчас, когда даже полицейские бросили его, он ощутил и всю свою прошлую жизнь как одинокое время, которое он провёл в надежде на чужую судьбу, судьбу своего школьного друга, который делал что-то не свойственное обыденному мещанину. И вся эта продлённая привязанность не просто исчезла, а наполнилась затягивающей пустотой, обесцвечивая живые моменты прошлых лет. Алексей припоминал, как он втайне от самого себя все эти годы искал информацию о Клинове, смотрел видео его скандальных выступлений. Алексей Лапкин посмотрел странный экспериментальный фильм «Путники». В кинокартине, снятой чуть ли не одним дублем трясущимися руками Григория Клинова, рассказывалось об особой расе — путниках, которые живут среди людей, ничем внешне не выделяясь, но которые, сходясь с человеком и становясь его второй половиной, начинают высасывать из человека все силы. Мужчина или женщина начинает ускоренно чахнуть, глаза тускнеют, интерес к жизни сходит к нулю, а путник, живущий с ними, суется рядом, переживает, пытается помочь, водит человека по врачам, устраивает праздники и развлечения в попытке спасти «милого друга». Но человек гибнет, а псевдочеловек — путник — остаётся в одиночестве. И самое страшное в таком путнике — то, что в отличие от оборотня или вампира, осознающего своё отличие от людей, путник сам не знает, что он — путник. Он

живёт в полной уверенности в своей человечности, но структура его тела, строение его разума — настроены лишь на уничтожение людей, при этом невозможно ни медицински, ни психиатрически определить, является ли живущий рядом с тобой человек путником или нет. Люди обречены вечно сочетать свою судьбу с другими людьми, рискуя попасть вместо человека на путника.

Алексей временами вспоминал этот фильм, который жил с ним, как продлённый образ некоторых событий его жизни. Последние повести и рассказы Клинова Алексей уже не читал из опасения, что тот стал писать хуже. Первую повесть Клинова «Опыт футбольного болельщика посредине тайги» он прочитал сразу после её выхода лет десять назад, и эта повесть также жила и отдельными своими героями как будто проявлялась в его жизни (это была история пожилого футбольного болельщика, который перед смертью совершает сновиденческое путешествие по Сибири, где и остаётся навсегда). Видимо, Алексей был впечатлительным человеком. И, конечно, когда Клинов внезапно вспомнил о нём сегодня и позвал на презентацию новой книги, то его скрытный друг нафантазировал себе некое воздаяние за предыдущие годы одностороннего внимания и ожидал предъявить себя, объяснить перед настоящим писателем, каким стал Григорий Клинов за эти годы. Но в итоге Алексей Лапкин стоял у стеклянного полотна и смотрел, как за беззвучной прозрачной стеной, словно в немом, но цветном фильме, Клинов делает нелепые шаги по читальному залу и с размаху рушится на дешёвые подвижные стулья публичной читальни. Беззвучно коверкая рот, чрезмерно размахивая руками как дугами, к упавшему подбегает и пытается его поднять Нелепин, но сам падает на упавшего, и уже два пьяных оппонента возятся между движущихся от их движений стульев и т.д.

Алексей покинул улицу, принёсшую этим вечером столько яркого разочарования. Он ехал в метро, не слыша туннельного грохота из-за шума мыслей в голо-

ве. Он вспомнил ещё один рассказ Клинова про вирус, который при попадании в организм излечивает от всех болезней, его называли *salvirus*, и правительство боролось с ним, опасаясь, что население поголовно заразится этим вирусом и перестанет болеть другими болезнями. В городе ввели ограничения на посещение общественных мест, людей обязали носить маски, но *salvirus* всё равно распространялся и массово излечивал незащищённых граждан.

Алексей вернулся домой и просидел два часа за проверкой школьных тетрадей. Его мысли летали далеко, и он порой усилием воли сосредотачивался на проверяемых работах и пересматривал их, проверяя самого себя, и видя, что он уже автоматически зачеркивает и исправляет ошибки в тетрадях. Это успокаивало его. Через дискриминанты и производные к нему возвращалось прежнее спокойное онемение. За окном стояла ночь, проникающая в душу, как общее настроение мира.

— Мне просто нужно лечь спать, — сказал себе Алексей, — это всё воспаление чувств, встреча сбивает меня с толку. Мне ничего этого не нужно, — сказал Алексей. И ему стало грустно от того, что странность этого вечера погрузится в череду уходящих дней и, отдаляясь, будет слабо мерцать невнятной возможностью. — Куда я полез? — ругал себя Алексей, засыпая и сопя, — доверился порыву, теперь ворочайся, переживай, — он повернулся на более удобный бок и продолжил самоедство, — был же школьный друг, дорогое воспоминание, хранил бы, что есть, ценил прошлое. Так нет — потащился на свидание. Надо было ещё одеколоном подушиться, — ругал и жалел себя Алексей, — я — просто идиот! На что рассчитывал?! — Алексей выдохнул, вздохнул, повозился под одеялом, перевернулся на прежний бок и промямлил про себя, — мне просто надо спать. Утром всё пройдёт. Я не знаю, зачем это всё, не знаю и... и... — вдруг кольнуло в его засыпающей душе, — это был хороший вечер. Но почему? — и долго ещё Алексей волновался под одея-

лом, пока мысли неопределённо возникали и гасли. Постепенно он и сам погас в глубине подушки под слоем одеяла и тихого комнатного воздуха.

*Москва
февраль 2023*

Евгений Долматович
ГОЛОСА ПОЛУДЕННОЙ ПЫЛИ

Вприпрыжку сквозь шелест пожухлой травы, сквозь стрекот кузнечиков, отплевываясь от тополиного пуха — незримые, лишь звонкостью голосов выдают они свое присутствие. Дети, подставляя обгоревшие лица палящему солнцу, замирают на миг, прищуриваются, выискивая на небе хоть одно облачко. Похожее на кораблик, или на жирную лягушку, или на дракона... Но, увы, небо пустынно, как морская гладь, — такое же синее, безмятежное, бездонное. Такое же недостижимое. А в центре — сияющая яркость, средоточие испепеляющего огня, солнце. А на лицах испарина, и темные разводы, и пух, и, местами, настырные слепни, сердито жужжащие, жаждущие увязнуть лапками в липком поте — ужалить, отведать свежей детской крови, высосать ясные детские глаза. Вокруг же брызжащие соком стебли, и угловатые мясистые листья, и зонтики белых маленьких цветов, полные пчел и жуков-бронзовиков.

— Жарко, — говорит мальчик, в который раз прогоняя слепня.

— Жарко, — соглашается девочка, в который раз отмахиваясь от пуха.

И оба смотрят вдаль, на холм, где в знойном искажении, точно проклятый мираж, перебирает ветвями, вздыхает листвой старый тополь. Дуновения ветра срывают с него белые пушные облака — хоть какие-то облака, пусть и из пуха! — так июльский день тоскует о январской метели. Пух кружится, кружится и кружится, как снег, которого, кажется, никогда уже и не будет. Время застыло, потому что время мертво.

А дети упрямо идут к тополию сквозь заросли борщевика. Там, в прохладе тополиной листвы, дети надеются отыскать свои сны — увидеть, услышать, понять...

— Что нас там ждет? — спрашивает девочка.

— Будущее, — эхом отзывается мальчик, — и прошлое, и что-то еще.

Потерянные сны — когда-то, с наступлением ночи, они кошачьей поступью прокрадывались в комнату, медом ярких образов заливали глаза. Но поскольку время мертво, лето никогда не закончится, и полдень длится вечность — все жарче и жарче, — и кажется, будто ночь — это тоже сон, наивная фантазия. Но нет! Ночь — это усада для глаз, иссушенных зноем, ослепших от полуденной яркости. Желанное отдохновение после долгих блужданий по пыльным дорогам, по заросшим тропам, по полям, где вдоволь душистого бурьяна, сквозь обжигающую вьюгу из мошкары и тополиного пуха. Ночь, темнота, звезды над головой и тишина, от которой мурашки по коже. Тишина! Отнюдь не дневное безмолвие — отупевшее, ленивое, полное только если стрекота да жужжания. Нет, ночная тишина иная. Дети помнят это, хотя порой им кажется, что они помнят вовсе не тишину, а какие-то свои выдумки.

А борщевик благоухает, сочится сладостью, так и манит прикоснуться, обхватить всей ладонью и разломить эти мощные, но хрупкие стебли, насытиться животельной влагой. Особенно когда на зубах скрипит пыль, а с опухшего языка не сходит солоноватый привкус собственного пота.

Но дети знают, что борщевик так же опасен, как и гадюка в сухостое, как и угрюмый шершень, залетевший в комнату и яростно бьющийся об стекло. Очень опасен! Так что лучше не трогать. Если, конечно, не хочешь вспучиться желтыми волдырями, задохнуться в крике от боли и после — много дней спустя — выцвести. Борщевик выжигает с тела цвета, делает тебя похожим на пепел. Дети знают это по научению взрос-

лых, верят в это. И потому дорога к утраченным снам пролегает сквозь заросли борщевика. В этом тайный смысл — как в старых сказках на страницах потрепанных книг, которые когда-то читала мама. Путь должен быть тернист, иначе цель перестанет быть целью, путешествие превратится в прогулку.

— Глянь-ка! — вдруг произносит мальчик.

Он тычет пальцем — и там, поодаль, среди ядовитых стволов и чахлой бурой травы, скалится коровий череп. Однорогий, весь искрошенный, словно из мела, пожелтевший и давно уже лишенный плоти — ее аккуратно сняли и унесли муравьи — этот череп тарашится на детей. Тарашится на них тьмой глазниц, в которых калачиком свернулась смерть. Сама же тьма навевает мысли о недоступной ночи. Значит ли это, что смерть и ночь сестры? Вряд ли. Дети ни разу не встречали смерть — заявившуюся на порог, тянущую костлявые пальцы. Не помнят они и как выглядит ночь. Поэтому тьма влечет своей неизвестностью. А уж тьма чьих-то глазниц и подавно.

— Как думаешь, он заговорит? — спрашивает мальчик.

Девочка лишь пожимает плечами.

Тогда мальчик поднимает череп с земли, отряхивает его, прогоняя мокриц, и внимательно осматривает со всех сторон. Мальчик долго вглядывается в пустые глазницы, из которых, увы, уже расплескалась вся тьма. Солнечный свет выжег все. Мальчик молчит, прислушивается. Он жаждет услышать биение сердца, ток крови; жаждет уловить дыхание, из которого непременно родятся и слова...

Но слышит он лишь как щетинится листьями борщевик.

— Я знаю, что нужно делать, — наконец говорит мальчик.

— Что?

Вместо ответа он пробует напаять череп себе на голову, а когда это не получается, просто прикладывает к лицу, поворачивается к девочке.

И вот это уже не ее брат, но некто с коровьим черепом вместо лица. Девочка не боится. Она понимает, что ее брат исчез, а на его место явился кто-то иной. Кто-то из страны по ту сторону горизонта, страны, куда никогда не попасть; кто-то, живущей в прошедшем часе, который всегда будет «прошлым» и никогда «настоящим». Хранитель жутких тайн незнакомцев с черно-белых фотографий в шкафу, или чужих голосов, замолкших на веки вечные, или тех невнятных жутковатых образов, что наполняют голову, если уснуть под палящими солнечными лучами...

— Кто ты? — спрашивает девочка.

— Му-у-у-у! — отвечает некто.

— Чего тебе надо?

— Му-у-у-у!

— А ну говори!

— Му-у-у-у!

Тогда, рассердившись, девочка хватается коровий череп за единственный уцелевший рог, вырывает из рук мальчика и, размахнувшись, швыряет в кусты.

Мальчик сонно моргает, жмурится от внезапно яркого — после замогильной-то темени! — солнца и с надеждой смотрит на девочку.

— Ну?

— Ничего, — качает та головой, — коровьи черепа не умеют говорить, только мычат.

— Жалко.

Мальчик смахивает со лба паутинку — ту самую, что, наверное, долго и усердно прорастала внутри коровьего черепа, в его мягкой бархатистой темноте. Прорастала сама, без помощи паука, который бы ни за что не стал тут селиться. Зачем? Жизнь покинула пространство, где некогда хранился коровий мозг, пульсировала недалекая коровья мысль. С приходом смерти плоть окоченела, скукожилась и чуть позже была украдена муравьями. Взамен жизни в образовавшейся пустоте разместилась смерть, а пауки не питаются смертью — это всем известно. Стало быть, паутинка возникла сама собой!

— Жалко, — снова повторяет мальчик.

— Не переживай, — пытается подбодрить девочка. Но тут она меняется в лице, пытливо смотрит на мальчика. — А может, зря мы все это? Может, нету там, на холме, ничего?

— Не болтай глупостей, — огрызается мальчик. — Тебе ведь это тоже снилось.

— Да, снилось. И что?

— Значит, нам именно туда. Значит, все ответы там.

— Но я ведь ничего не спрашивала! — упрямится девочка. — Мне не нужны никакие ответы, я не хочу ничего знать!

— Чепуха!

— Нет, не чепуха!

— А я говорю, чепуха!

Дети сердито глядят друг на друга, а над их головами порхает пух, и жужжат приставучие слепни, и шуршит листьями борщевик. Кроме этого ничего больше и нету — никаких тебе звуков, поле утопает в безмолвии, а безмолвие это сродни безмолвию смерти. От этого и бегут дети. Пусть и сами того не ведая, спасаются они от безмолвия, желая не столько заполучить ответы, сколько услышать голоса. Чьи угодно голоса, лишь бы не свои собственные.

Но пока что голоса звучат во снах, а сны эти потеряны, они стали чем-то навроде памяти — смутным образом, что вползает в голову через ухо, когда пытаешься уснуть. Дома ли, в душной спальне на пропахшей пылью кровати, или же растянувшись в тени под яблоней — как ни изворачивайся, а солнечный свет гонит сны прочь, ворует их. Остается только вспоминать самые первые сны, либо навеянные жарой фантазии.

Фантазии же, либо сны девочки были о том, как она танцевала на лугу, как смеялась — даже нет, всюю хохотала! — как глотала тополиный пух. Да и не девочка она уже была вовсе, а взрослая девушка, полная сил и, видимо, сумасшедшая. Но в этом ее сума-

сшествии лучилась жизнь, цвела и пела ее смирившаяся и обретшая покой душа. Сама же девушка была очень красива — босая, с россыпью веснушек на лице и ромашками в волосах, с золотыми искринками в раскосых янтарных глазах, в белой хлопковой сорочке на голое тело. Этакая нимфа-плясунья, беззаботная безумица, уверенная, что если проглотить пушинку-другую, то та обязательно даст ростки — там, внутри, где сердце, — и однажды взойдется из груди ветвистым деревцем. Этого девушка ждала и жаждала, салятуя жуку-пожарнику, даря воздушный поцелуй сорвавшемуся с ветки листку или споря с собачьей головой, что испокон веку истлевала в канаве за оградой. Голова рычала и лаяла, но никто ее не боялся, потому что у головы не было тела, а значит, она ни за кем не погонится, не укусит. Так и будет лежать эта голова, червям на радость. Эта и еще тысячи голов. И все их посмертное веселье лишь в перебранках — рефлекс, застывший в густоте мертвого времени. Вот как расуждала та девушка-плясунья.

А еще она регулярно дразнила брата, поскольку верила, что душа ее — это не бесформенное облачко, вдыхаемое смертью из ноздрей покойника, но цветущее дерево. Смерть не властна над деревьями, ведь кора их слишком тверда для ее старушечьих зубов. А что касается брата — душа его была похожа на заклинившуюся в стволе пулю, на неразорвавшуюся, погребенную под завалами бомбу...

Мальчику же, в свою очередь, тоже снилось ли, грезилось всякое. Как и сестра, он был взрослым — поджарый, загорелый до черноты мужчина с усами и бородой. Он носил вылинявшие джинсы и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Он упорно чинил старенький мотоцикл, найденный среди хлама в гараже, то и дело вытирал рукой густой едкий пот, ненароком пачкая лицо в машинном масле. Он щурился от солнца, курил сигаретку и поглядывал на сестру. Наблюдал, как она пляшет, как ходит колесом или крутит сальто, как ловит ртом пух или расчесывает ожог от

крапивы, как болтает с бабочками, с пчелами и остальными букашками. Он смотрел на нее беззлобно, только если с толикой грусти. Он не обижался на ее подзуживания, не игнорировал ее приставания и всегда отвечал на ее дурацкие вопросы. Он знал, что когда закончит чинить мотоцикл — бросит ее: умчится прочь по асфальтовой дороге, прочь из этого захолустья, где они оказались заперты, где прожили столько лет одни-одинешеньки, придумывая себе развлечения, изредка навещаясь в пустующие дома соседей, ругаясь и мирясь. Он отправится в город, потому что боится застрять здесь — в этом онемевшем доме — навсегда. Дом — отражение своего хозяина, но у этого дома хозяев нету, — он недостроенный, с комнатами, забитыми хламом, со скрипящими полами и сушеными мушинными трупиками на подоконниках. А в закутках, в затхлом мраке, если повезет, можно повстречать привидение — зыбкой тенью, отголоском ли, отражением в лопнувшем зеркале. И в мужчине они тоже есть — призраки, не важно, былого ли, грядущего. И в сестре его есть. Поэтому тот мужчина и хотел уехать. Он не желал быть пыльным домом, он рвался стать вольной дорогой, петляющей сквозь поля и горы, или же шумным городом, в котором все — загадка, и все меняется. Пыль и паутина в человеке никому не нужны. А что касается призраков, что ж... Бывает, они являются и прогоняют человека, занимают его место и становятся им. Поэтому мужчина и чинил мотоцикл.

А еще ему хотелось понять, что же на самом деле случилось? Почему все обернулось так, как обернулось? Он знал, что сестре известно о его планах, он их и не скрывал. И здесь между ними пролегла глубокая пропасть: сестра давно уже сдалась, приучила себя видеть нечто — красоту, как она сама говорила, — в том, что имеет. Ей не требовалось знание, достаточно было травы под ногами, отдыха в тени яблонь, вкуса земляники, притаившихся под кустом грибов и пробирающего холода колодезной воды, песней и плясок,

пуха на языке... А он не мог этим удовлетвориться: не мог закрыть глаза на то, что лето не кончается, и ночь не наступает, и что в целом мире не осталось никого, кроме них двоих. Он хотел знать.

Так, вспомнив эти свои сны, дети опять глядят друг на друга.

— Неужто тебе так этого надо? — с грустью спрашивает девочка.

— Надо, — кивает мальчик.

— Она выглядела счастливой, — говорит девочка. — Та тетенька, которой я стану, когда вырасту. Такая красивая.

— Красивая, — соглашается мальчик, — и спятившая.

— Пусть так! — хмурится девочка. — Всяко лучше, чем вырасти в того мрачного дядьку и днями напролет ковыряться в этом ржавом драндулете.

— Это не драндулет, а мотоцикл, — говорит мальчик. — И однажды я отыщу его в гараже, и он увезет меня отсюда в город. Подальше от тебя.

— Ну и катись! — обижается девочка.

— А ты жуй свой пух, дура! — обижается мальчик.

И они угрюмо плетутся дальше — молча, сопя и пофыркивая, отчаянно стараясь не глядеть друг на друга. И длится это до тех пор, пока дремучие заросли не расступаются, открывая вид на зеленый холм, и на петляющую тропинку, уводящую напрямик к одинокому старому тополю. Вот так все просто: никакого тебе тайного смысла из лживых маминых сказок, путешествие и впрямь оказалось всего-навсего прогулкой.

Взойдя на холм, дети настороженно косятся друг на друга, затем поворачиваются и смотрят на поле борщевиков — белая бесконечность с редкими вкраплениями зеленого и желтого: цветы и листья. И так вплоть до самого горизонта. И если бы ни жара, если бы ни безжалостное солнце и струящийся по вискам пот, можно было бы подумать... да...

Мальчик закрывает глаза и, стараясь удержать отпечатавшуюся на сетчатке белизну, силится вспомнить зиму. Вьюга, снежная крошка в воздухе, пар от дыхания, покрасневшие с мороза щеки и нос, и как трудно бежать по снегу, и как мягко в него падать, смеяться, а после... после...

...чтоб крепкие папины руки подхватили, обняли, поправили шапку на голове...

Так мальчик пытается вспомнить зиму, и у него это почти получается. Почти. Но тут больно обжигает запыстье: слепень, жужжа, взмывает в воздух, вьется над головой.

Мальчик вздыхает: нет, не будет больше никакой зимы, даже грозы не будет, вечернего дождя и тумана поутру, как и вечера с утром не будет. Один только нескончаемый полдень, изматывающая жара, вечное молчание...

Мальчик оглядывается на сестру и видит, что та стоит и смотрит на тополь, слушает его усыпляющий шелест, который и не шелест вовсе, но шепот. Сам же мальчик не понимает этого шепота, слова тополя предназначены не ему.

— Что он тебе говорит? — спрашивает мальчик, подойдя к сестре.

— Что я ему снюсь, — отвечает девочка. — И всегда снилась.

— Как так?

— Не знаю. Он говорит, что он здесь уже очень давно, и все это время ему снилась я. Я и есть его сны.

— А я?

Не дождавшись ответа, мальчик отводит взгляд и вдруг замечает в земле, среди прорастивших наружу корней, череп. Еще один, на этот раз человеческий. Он скалится на мальчика, манит его замогильной темнотой своих глазниц. Когда-то там были глаза, выдавшие всякое...

— Может, хоть он заговорит? — спрашивает мальчик.

Девочка выглядывает у него из-за плеча, вздыхает.

— Мне кажется, черепа вообще не могут говорить, — произносит она.

— Почему?

— Потому что черепа мертвы, а смерть — это всегда молчание. Отсутствие голоса, звуков...

— Одно он точно может сказать, — неожиданно заявляет мальчик.

— Что именно?

— Что он — наше будущее.

На это девочка качает головой, отворачивается.

— Я не хочу, чтоб этот череп был моим будущим, — тихо произносит она. — Уж лучше я останусь сном, который снится одинокому дереву.

Она снова вздыхает, садится на землю и прижимается затылком к стволу тополя. Задумчиво глядит на бескрайнее поле борщевиков.

— Откуда мы вообще здесь взялись? — спрашивает она, зевая.

Мальчик порывается что-то ответить, как-то встряхнуть сестру, но вместо этого вновь смотрит на череп, вглядывается в мертвую черноту его глазниц. Потом, вспомнив что-то, прикладывает череп к уху — как делал когда-то давным-давно, на море, слушая голоса русалок внутри раковины.

Мальчик вслушивается.

И слышит шепот.

— Я твое прошлое, — говорит череп.

Тогда мальчик осторожно возвращает череп туда, откуда взял, сам же усаживается рядом с сестрой, берет ее за руку и тоже смотрит на поле борщевиков, на линию вдаль, где поле соединяется с синевой неба. По-прежнему ни единого облачка, и никогда уже не будет.

— Ты все понял, да? — тихо спрашивает сестра.

— Наверно, — отзывается мальчик. — А ты?

— Не-а, — отвечает она, — ничего я не поняла. И не хочу.

— И правильно, — соглашается мальчик.

— Так откуда, все-таки, мы пришли?

Он поднимает руку и указывает на линию горизонта.

— Вон там, — говорит он, — с другой стороны. Там наш дом.

— А когда мы пойдем назад?

— Давай чуть попозже, хорошо? Я устал.

— Хорошо.

Мальчик кладет голову ей на плечо, закрывает глаза и мгновенно засыпает. Ему снится все тот же сон: что он взрослый мужчина с усами и бородой, ремонтирующий старый мотоцикл. Взрослый мужчина, рвущийся уехать как можно дальше. По асфальтированной дороге уехать. В город, который где-то далеко-далеко.

В этот раз ничто не тревожит сны мальчика, солнечные лучи не в силах пробиться сквозь густую листву, настырные слепни оставляют в покое, а сам холм всю продувается вольным ветром, гонящим жару прочь. И поэтому мальчик наконец видит, что мужчина починил свой мотоцикл. Работа, которая, казалось бы, никогда не закончится — таки закончилась. И вот мужчина вытер пот с лица, сел на потертое кожаное сиденье и неспешно поставил ногу на педаль стартера. Мотоцикл завелся с первого раза — взревел, нарушив привычную сонную тишину округи, обдав пыльный дом клубами черного дыма. Мужчина улыбнулся, поискал глазами сестру. Он не хотел задерживаться, его звала дорога. А значит, настало время прощаться.

Но сестры нигде не было видно. Мужчина искал ее в саду, и на лугу, где она обычно пела и танцевала, и у колодца, и даже обошел соседние дома. Сестра бесследно исчезла, как бесследно исчезали те странные сны, которые давно уже изводили мужчину: что они с сестрой — совсем еще дети — пробираются сквозь заросли борщевика к холму на горизонте. Холму, где рос одинокий тополь. Это был странный, тревожный сон, у которого не было ни начала, ни конца. Дети из того сна никогда не доходили до холма. Они терялись в ядовитых зарослях, спорили друг с другом, зачем-то

разговаривали с коровьим черепом. Мужчина не рассказывал сестре об этом, так как сестра давно уже повредила в уме, не за чем беречь ей душу. Но однажды он таки собрался и дошел до того поля, постоял, осматриваясь, выискивая холм из своего сна. Холм он и вправду нашел, только вот никакого тополя на нем не было. Станные все же сны. И сестра его тоже странная. И вот она исчезла — в самый неподходящий момент. Но мужчина недолго думал, стоит ли искать ее дальше. Взамен он решил написать ей записку. В конце концов, сестра и так все знает. Возможно, оттого и исчезла — спряталась, услышав рев мотоцикла. Тогда мужчина накарбал на листке бумаги несколько слов и приколот листок гвоздем к двери дома. После сел за руль мотоцикла и уехал.

Он мчался сквозь дорожную пыль и полуденный зной, навстречу неизвестности, оставляя за спиной все то, что его тяготило. И вот под колесами возник асфальт, ветер хлестнул в лицо, а по краям замелькали незнакомые пейзажи. Мужчина улыбнулся, рассмеялся, радостно закричал. Он был свободен, наконец-то свободен! Он с упоением вдыхал запах бензина, исходящий от мотоцикла, и слушал грозный рев двигателя, рвущего ленивую послеобеденную тишь, давно уже завязшую в ушах. Мужчина ощущал под собой жар — такова была жизнь машины, которую он смог выхватить из лап смерти, отчистить, починить, натурально воскресить. Это стало синонимом перемен, это дарило надежду. А впереди — там, за холмами, его ждал город...

И мужчину столь захватило нетерпение, он буквально захлебнулся новыми впечатлениями, что не заметил, как изменился пейзаж. Густые леса с затянутыми тиной прудами, живописные озера, луга, полные цветов, и стремительные реки — все исчезло. Обернулось выжженной пустыней, где тут и там проступали обугленные черные стволы — все, что осталось от росших здесь некогда деревьев. Стало жарче — настолько, что асфальт плавился под колесами, прилипал к

покрышкам. Лицо и руки обожгло, но мужчина упрямо гнал вперед. Он не остановился даже тогда, когда его кожа пошла красными пятнами, вздулась и начала облезать. Не остановился, когда в венах вскипела кровь. Мужчина не чувствовал боли, он желал лишь одного — как можно скорее увидеть город. И тут в бензобаке что-то хлопнуло, повалил дым, мотоцикл закашлялся и заглох. Мужчина бросил его и только теперь заметил, что покрышки давно расплавились, смешавшись с мягким, точно патока, асфальтом. Это было не важно. Город был совсем рядом, оставалось подняться на холм, а с него...

И мужчина пошел. Его одежда истлела, плоть обуглилась, комками повисла на костях. Его глаза забулбили в глазницах, как бурлит в кастрюле выкипающая вода. Глаза выплеснулись на щеки. Но и на это мужчина не обратил внимания. Пусть он лишился глаз, но по-прежнему видел — каким-то внутренним взором. Он верил. Он знал.

62

И потому, когда он — в сущности, уже скелет — поднялся на холм и глянул на город, ни единого звука не вырвалось из его груди, в которой не осталось легких. Как не было и города перед ним. Все та же выжженная до состояния стекла пустошь, остовы домов, искореженные от гари кузова машин. Здесь солнце излилось на землю, вызрело огненными грибами и убило время. И тех из жителей, кто был рядом, развеяло в ослепительном сиянии. А их отныне бесхозные тени были пригвождены к стенам, вросли в них, отпечатавшись размазанными силуэтами. Но среди жителей были и другие, кому повезло меньше. Их черепа усеяли площади и улицы, кости выгорели до угольков. Уставившись в пылающее небо пустыми глазницами, эти несчастные скалились и вопили. Так нескончаемый вопль плыл над развалинами, смешивался с едким черным дымом. А вокруг с воем проносились огненные смерчи, пожирая то немного, что еще уцелело.

Город был мертв.

И тогда мужчина все понял. Он хотел было разрыдаться, но у него не осталось ни глаз, ни лица, а в слезных протоках ютился огонь.

И вот этот дымящийся опаленный скелет стоял и смотрел на руины дымящегося опаленного города. Мертвое тарачилось на мертвое. А потом скелет развернулся и побрел обратно — туда, откуда так стремился сбежать. Нет, разумеется, он не собирался возвращаться к сестре — зачем пугать ее своим видом? Зачем нести ей столь удручающее знание? Но оставаться в мертвом городе ему тоже не хотелось. Поэтому он просто шел по дороге, не обращая внимания на то, как остекленевшая пустыня вновь сменяется лесом, прудами и озерами, и душистыми лугами с журчащими реками, и как рассеивается черный дым, ветер уносит запах гари, и как твердеет под ногами асфальт...

В какой-то момент он не выдержал и свернул с дороги, побрел через поле, касаясь костлявой рукой высокой травы и кустов, не чувствуя больше их мягкости. А затем его обугленные пальцы нашли и листья борщевика. Но он не отдернул руку, так как уже не боялся схватить ожог, не боялся выщевести и превратиться в пепел. Он знал, что сам уже стал пеплом, и все, чего ему отныне хотелось, — взобраться на холм, в последний раз заглянуть в небесную синеву, которая как море, как океан из детских воспоминаний; взглянуть на бескрайнее поле цветущего борщевика, которое как заснеженная пустыня, и, наконец, обрести покой.

Так он и сделал, присев на холме и обратив лицо ввысь.

Он подумал о сестре. Ему захотелось обнять ее, сказать, что она права — мертвецы не могут говорить, только вопят в нескончаемой агонии, так что молчание порой не так уж и плохо. Но тут подул ветер, и кости его рассыпались в пыль. Череп же свалился в душистую траву, да так там и остался.

Таков сон мальчика.

Девочке же, которая засыпает чуть позже брата, тоже снятся сны.

И в этих снах она осталась совершенно одна. Пускай и взрослая девушка — плясунья-хохотушка, лесная нимфа — она испугалась жуткого рева, кинулась прочь. Она прокралась меж кустов смородины, юркнула в березовую рощу и разыскала там давно оставленную лисью нору. Забравшись внутрь, свернулась калачиком.

Девушка понимала, что грозный рев этот — вовсе не какое-нибудь чудище. Да и откуда им тут, собственно, взяться, чудищам этим? Нет! Грозный рев, который она услышала, — это перемены. А перемены пугали ее, потому что, пусть и не зная наверняка, она догадывалась, что именно перемены убили время, сделали летний день бесконечным. Не сразу, но она научилась жить с этим. Научилась ценить красоту застывшего мига — словно бабочку в янтаре, пускай неживую, но все равно прекрасную. В конце концов, чем они сами, как и все окружающее, отличаются от этой бабочки?

Если так рассудить, мир тоже застыл в янтаре из солнечного света и летней жары — мертвый мир и мертвое время. Никакого «вчера», никакого «сегодня» и уж тем более никакого «завтра». Звучит ужасно, но стоит ли тогда слушать? Ведь если не допытываться ответов, не требовать, чтоб черепа заговорили, не искать утраченные сны, которые в голой сути своей кошмары минувшего, то... Остается красота.

Этим и жила девушка, сочиняя различные небылицы, танцуя, смеясь, наслаждаясь обществом жуков-пауков, да той же собачьей головы, потягивавшей из канавы за оградой. И так до тех пор, пока не раздался ужасный рев. Поэтому девушка спряталась, затаилась и уснула. Ей снилась она сама же, снился ее брат. Во сне этом они были еще детьми, шли куда-то через высокие ядовитые столбы и мясистые листья, отмахивались от назойливых слепней, болтали с коровьей черепушкой. А после был холм, была шелковистая трава

под ногами и высокий старый тополь, который что-то шептал — устало шептал, как старик. Это было чудно, пусть подобные сны ей снились и раньше: путь через борщевик, старый тополь на холме, те слова, что он говорил — что-то важное, но что именно девушка не запомнила. И теперь опять не запомнила, лишь открыла глаза, сладко потянувшись, зевнула и осторожно выбралась из норы. Вокруг было тихо, солнечно-ярко, в небе порхали-кружили пушинки, — все как всегда.

Девушка побежала к дому, хотела найти брата. Но в доме того не оказалось. И нигде не оказалось. И мотылька его тоже не было.

Тогда-то девушка и поняла, что за звук она слышала — перемены: брат наконец починил свой ржавый драндулет, бросил ее одну. Где-то здесь она обнаружила и его записку, которую проглядела в первый раз. Несколько скупых слов. Брат уехал в город, надеялся отыскать ответы, или родителей, или хоть кого-то...

Вранье! Он просто сбежал.

И, скомкав записку, девушка замерла на пороге, вздохнула и, помедлив, шагнула в теперь уже настоящему пустой дом. Она потерялась в его комнатах, заблудилась среди пыли старинных книг со сказками и выцветших фотографий с незнакомцами. Она запуталась в паутине ничейных вещей. Ее впервые испугало молчание дома — немота заброшенной могилы, безмолвие смерти. Ей стало трудно дышать от нахлынувшего прошлого — затхлого, как воздух на чердаке, неизбежного, как осиные гнезда под крышей. Девушка почувствовала, что отравилась прошлым, заболела — настолько ей сдавило грудь. И тогда она бросилась прочь из дома — в кипящее золото летнего дня, в июльский зной, навстречу тополиному пуху, стрекоту жучков и голосам листвы. В груди свербело: что-то будто бы извивалось там, внутри, рядом с сердцем. И девушка побежала еще дальше — от дома, от двора, ничего не разбирая перед собой, еще и еще. Пока не запыхалась вовсе, не споткнулась и не упала.

А когда поднялась, не сразу осознала, где именно очутилась. Борщевики сочились соком, благоухали травяной сладостью, манили своими мясистыми, в желтых прожилках, листьями, предлагали свои ядовитые объятия. А там, сразу за ними, возвышался одинокий холм из ее полузабытых снов.

И она неспешно пошла к нему, пересекала поле, взошла на холм и огляделась. Безоблачное синее небо, палящее солнце и безграничная белизна маленьких белых цветов. А у ног ее лежал обугленный человеческий череп. Девушка присела, ласково погладила череп, вздохнула. Смахнув слезу, она легла на спину, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ей хотелось вернуться в прошлое — в свое детство, которое она регулярно видела во снах. Ей хотелось сидеть в тени большого старого тополя, обнимать своего мирно спящего брата, думать о чем-то... А еще лучше ни о чем не думать. Просто быть...

Быть...

66

Так девушка и лежала, когда ее грудная клетка вдруг раскрылась, и из алого нутра возник первый росток, увенчанный одним-единственным зеленым листком. Росток этот уверенно потянулся к солнцу, зачерствел корой, распростер свои ветви и сделался высоким тополем. Он впитал в себя тело девушки, нежно обнял корнями обугленный череп, тяжело вздохнул и погрузился в дрему.

И грезятся ему с тех пор голоса — несущиеся над крышами опустевших домов, над пожухлой травой, над густыми лесами, над полем борщевиков, — задорные, звонкие, будто взмывающие ввысь, к солнцу, в облака из пуха.

Но то голоса отнюдь не детей.

То голоса полуденной пыли.

Александр Сордо **ЛЕГКИЙ СПОСОБ**

Егор Гайчук проснулся. Сперва не понял, показалось — умер. Ритмичным набатом колотила в голову кровь, болели мышцы, кружилась голова. Тело всё ещё не слушалось спяну, но похмелье уже стиснуло виски и высушило горло. Одно из самых мерзких ощущений из всех, что бывают с перепоею.

Попробовал открыть глаза. Удалось разлепить только один. Веко второго отяжелело и не приподнималось никакими усилиями. Гайчук попробовал открыть его пальцем. Нашупал щель глаза, сдавленную мясистыми припухлостями вызревшего синяка. Выругался. Стёр скопившуюся слизь, скovyрнул сухую корочку, спёкшуюся в уголке у носа. Осторожно ощупал фингал.

Где успел? Кто его так? Или ударился обо что-то?

Напряг свинцовую голову, параллельно осматривая обстановку. Вокруг была тьма, в голове — тоже. Последнее воспоминание — весёлая перепалка с барменом. Рассказывали анекдоты, обсуждали музыку и новости... Про какую-то ерунду говорили. Егор нес что-то с умным видом, а бармен кивал и поддакивал. Опять занесло...

Потом пустота. Напился до беспамятства и, как обычно, на автопилоте добрался до дома.

Егор перевернулся. Щека впечаталась в полужидкую кашицу, кисловатый запах рвоты шибанул в лицо. Стало мерзко, стыдно и муторно. Молоток в голове заколотил с утроенной силой. Ладно, сегодня суббота, можно привести себя в порядок... Сейчас сходить в душ, выпить таблетку, полежать... Только почему так темно? Ночь, что ли, ещё? И холодно.

Попытался подняться. Пальцы заскребли по полу. Земляному.

Что?

Егор осторожно сел. Ощупал вокруг — нет сомнений, он сидит на земле в полной темноте. Снова вляпался в лужу рвоты, содрогнулся, вытер о штаны. Здоровым глазом вгляделся во мрак. Слабые очертания прямоугольника прорисовывались чуть впереди. Гайчук осторожно подкрался, чувствуя, как прибывает к земле грохот в ушах и как вертится внутри желудок, давя на пищевод.

Прямоугольник оказался дверью. Железная дверь, крашенная. Запертая — попытки подёргать ручку ничего не дали. Гайчук ощупал стены по сторонам — простая кирпичная кладка.

Егор задавил внутри панику, скомкал и удержал в себе, как подступающую тошноту. Отчуждённо-философское настроение радикального похмелья говорило: «Ты не в состоянии ясно мыслить, ты пока не справишься с этим. Отдохни и реши эту проблему, когда полегчает». Накатила сонливость.

Егор стиснул зубы и продолжил обшаривать стену. Абсурд. Напиться и проснуться в каком-то подвале, не помня, как здесь оказался? Лечь и отдохнуть?! Какого хрена?..

Страх поднимался из глубины сознания, минуя слабость, тошноту и боль. Ныла разбитая скула, слезился заплывший глаз. Кирпичная стена повернула углом через несколько шагов. Затем ещё раз. Спустя несколько минут Егор понял, что заперт в чёрной подвальной камерке примерно три на два метра наедине с мерзейшим похмельем, алкогольной амнезией и растекающейся где-то в темноте лужей блевотины.

Невыносимо хотелось пить. Вязкая горьковатая слюна скопилась во рту, Егор с усилием слотнул. Сгусток слюны встал поперёк горла, сдавил гортань. Гайчук боролся с ним несколько секунд, массируя кадык, и наконец его вырвало — той же самой вязкой и горько-кислой слюной.

Грохот, будто кувалдой колотили по тонкому листу железа, раздирал череп, отдаваясь по всему телу. Руки тряслись, похолодел кончик носа. В подвале действительно было холодно. Гайчук осторожно опустился на колени и приник лбом к прохладной земле. Пахло мокрой глиной и плесенью. Его прострелил страх. Кусок жизни выпал из памяти — и неизвестно, что привело Егора в эту кирпичную могилу.

Думай, думай, думай. Больно.

Много раз было такое. Пил и веселился, болтая с барменом и соседями по стойке, а потом просыпался в своей постели. Иногда в ботинках и одежде. С разбитыми очками. Ругая себя, вытирал унитаз, убирался, отпаивался минералкой. Иногда находил ссадины на локтях и коленках. Но чтобы такое...

Егор Гайчук вдохнул холодный сырой воздух, задержал в себе и заплакал, разрываясь от стыда, от вращения и страха.

Виктор Манцев бродил из угла в угол, закусив кулак. На журнальном столике посреди гостиной валялись паспорт, кошелек, ключи, зажигалка и пачка сигарет — едва открытая. Покупали вместе в круглосточном на углу дома в четвёртом часу утра. Алкаша пришлось тащить на себе — он всё норовил упасть и разбить себе морду об асфальт. Один раз ему даже удалось.

Всё не так. Всё прошло не так, как должно было быть. Надо что-то делать.

В окно стучалось весенними лучами субботнее утро. Семейные фургончики, рейсовые автобусы, школьники на мопедах и машины с весёлыми компаниями летели по шоссе, разъезжаясь по дачным посёлкам.

Тихо съехать у того самого моста не получится. Наверняка там будет парочка рыбаков, на берегу по-

крывальце с отдыхающей семейкой, брызги воды и пьяные песни...

Он не смог.

Манцев пнул столик — стекло не разбилось, уткнулось в мягкий диван, но весь скарб Гайчука рассыпался по полу. Нервно прошагав по периметру комнаты ещё раз, Виктор остановился у сигаретной пачки, поднял её. Долго смотрел, разглядывая картинку, сулящую импотенцию. Пачка в руке подрагивала. Он швырнул её на диван.

Прошагал гостиную ещё раз из конца в конец, ероша волосы и играя желваками.

— В конце концов, сейчас нужно успокоиться... — пробормотал он. — Прежде всего — успокоиться. И довести дело до конца.

Перегнулся через спинку дивана, снова подобрал пачку, покрутил так и этак, содрал целлофановую обёртку. Подбросил и поймал.

— А чёрт, двадцать лет ведь не курил... — усмехнулся Виктор, перечитывая чёрно-белую надпись. — Не начну же теперь. Надо просто успокоить нервы.

Он распаковал сигареты, поморщился и неуклюже, попытки с пятой, вынул одну. Недовольно сопя, отыскал под диваном зажигалку, закурил. Помолчал, глядя в окно на безоблачное майское небо, прокашлялся и продолжил свой нервный парад по гостиной, роняя пепел на ковёр.

Докурив, бросил бычок в раковину. Вынул из стоящего на столе ведра ивовый прут. Взмахнул раз и второй. Прут издал свист, смешанный с гладким жужжанием. Приятный. Манцев подошёл к двери в кладовку. Ткнул дрожащим пальцем выключатель, прошептал:

— Я пытался его научить. Теперь нужно дрессировать.

Повернул ключ, распахнул дверь. На полу посреди комнаты вставал разбуженный светом Егор. Левая половина лица его, распухшая и красновато-синяя, на-

поминала даже не сливу, а полураздавленный смятый инжир.

Егор заслонился рукой, всматриваясь в фигуру Манцева.

— Кто ты? — прохрипел он. — Дай попить... пожа-луйста.

Виктор не ответил. Он подошёл к сидящему на коленях пленнику и взмахнул прутом.

— А-а! За что?! Чёрт, больно... Кто ты тако...

Свистнул прут. Егор снова взвыл. На щеке проступала красная полоса, он прикрывал её второй рукой. Манцев двинулся вокруг, презрительно глядя сверху на полуживое ничтожество, запертое в его подвале. Физическое отвращение распаляло его ярость. Он хлестнул прутом снова — по плечу, по спине, по шее. От последнего удара крик Егора сорвался в хрип — попало по нежной коже чуть ниже уха.

Манцев обошёл Гайчука, прикидывая, как сейчас болит у того голова. Без воды, без аспирина. Теперь ещё от прутьев. Он это надолго запомнит. Наверняка теперь-то уж возмётся за ум. С усмешкой глядя на жалкого, рыдающего Гайчука, Виктор с оттяжкой хлестнул его по разбитой щеке.

Набрякшая кожа лопнула — алая полоса на ней засочилась кровью. Егор завизжал, кинулся на мучителя, ослеплённый болью. Удар подошвой в лицо отбросил его обратно на пол. Ещё несколько ударов ботинком под рёбра выбили дух.

— Запомни это крепко, — Манцев старался, чтобы голос его звучал ровно, старался унять возбуждённую дрожь в пальцах. — Ты скажешь мне спасибо. Я хочу тебе помочь. Посмотри, во что ты превратился. Подумай над этим.

Он с наслаждением поставил на этом визите точку — взмахом прута слущил ещё немного кожи с шеи пленника. Затем вышел, запер подвал и выключил свет. За дверью не было слышно, как плачет и стонет его воспитанник. Манцев добрёл до дивана, достал

ещё одну сигарету из пачки и сладко закурил, зажмурившись на солнце.

— Это всё-таки не так страшно... — выдохнул он вместе с дымом, глядя на сигарету. — Ты всё равно контролируешь свою жизнь. Правда?

Но его пальцы всё ещё дрожали, и проблема ещё не была решена. Он не мог набраться храбрости для беспристрастного лечения, не мог набраться... Ярости. И, сделав очередную затяжку, Виктор переложил сигарету в другую руку и пристально на неё уставился.

Егор выл.

От раскалывающего голову грохота, от подступающей, но не вытощенной дурноты, от жгучей боли, алыми полосами врезанной в кожу. Боль вытеснила всё. Страх и стыд смешались, сгустились и осели на дно сознания — растворились, как отстаивается пенная шапка в бокале холодного...

Пива.

Егор замолк на секунду, облизал разбитые губы, высунул язык, как уставший пёс, слотнул. Кисловато-горькая похмельная слюна ничем не напоминала солодовую прохладу, щекочущую нёбо. Как же хотелось просто прийти в себя, выпить всего немножко — чтобы воспалённый, ссохшийся от обезвоживания мозг начал соображать...

Повернулся ключ в замке. В светлом проёме двери возникла фигура мучителя. Гайчук хотел в этот раз рассмотреть его получше, но отстранился, боясь новых ударов. Прута в руке хозяина погребя не было. Была запотевшая пластиковая полторашка пива — дешёвого, правда. Зато холодного и освежающего.

Егора затрясло. Он не мог отвести взгляд от пива не только потому, что жаждал опохмелиться. Другая деталь привлекала его внимание. На руке, державшей бутылку, не хватало двух пальцев.

— Хочешь, да? — вкрадчиво спросил Манцев.

Он держал баклажку за горлышко каким-то когтистым птичьим хватом, оттопырив в сторону куцые фаланги безымянного и мизинца. По бурому пластику стекала, сверкая, прозрачная капля.

Егор осторожно кивнул, попятившись.

— Я дам тебе её. Дам столько, сколько пожелаешь. Смотри, она запечатана — не отравлено. Извини, что не в стекле — сам знаешь, почему.

Осколки. Розочка. Кинуться и убить — хотя бы ранить... вспышки нелепых киношных картинок проскочили в голове Егора, он снова сглотнул и кивнул — теперь не так осторожно, в голове снова заколотило, и он поморщился.

— Ну-ну, тихо тебе. Поправляйся.

Гайчук вцепился в протянутую бутылку, точно со стороны услышал щелчок крышки и шипение пены. Хозяин печальными глазами глядел, как пленник гасит свою похмельную жажду, и задумчиво покусывал обрубки пальцев. Егор, увидев это, содрогнулся и закрыл глаза. Прислонился к стене, ожидая, когда отпустит тяжесть и пройдет боль. Когда станет легче.

Ему надо было выбираться. Егор не знал, что это за человек на пороге подвала и что ему нужно. Не знал, где сейчас находится. Не знал, что ему делать. Пока ещё. Но едва пройдет похмелье, можно будет снова думать. А для этого нужно всего несколько глотков. Волна благодарности прокатилась по душе, сливаясь с волной блаженной пьяной слабости.

Сейчас бы ещё поспать...

— Поправляйся, дружок. Это пока временно, — улыбнулся благодушно Виктор. — Всё это — просто лёгкий способ бросить пить.

Скоро вечер. Ещё светло, но до заката осталось меньше времени, чем прошло с полудня. Манцев зажал сигарету между обрубками пальцев, подкурил.

Время исповеди. Пора вынуть из него душу и намотать на чёртову стеклянную розочку.

Виктор затаился, представив себе собственную метафору: как бесплотный синеватый дым, которым ему виделась душа, обвивается вокруг кривых зелёных зубьев разбитой пивной бутылки, льется кольцом по ним, как река по камням...

Ладно, поэзию в сторону. Это всё из-за сигарет — в конце концов, двадцать лет не курил. Теперь заслужил — старый отцовский способ наконец поможет другому человеку, как помог когда-то ему.

Виктор включил свет, вошёл в подвал. Гайчук сидел у стены, терзая пальцами смятую пустую бутылку. В подвале теперь воняло ещё и мочой — obeжав помещение взглядом, Манцев увидел тёмный потёк на кирпичиках в противоположном углу.

— Похмелился? — ласково сказал он, шагая к пленнику. — А что ж целую выжрал? Не многовато будет?

— Да ничего... Я тут н-на нервах. М-меня даже н-не берёт, — пробубнил Егор невнятно.

Опухшая красная морда его выглядела хуже некуда. Но в глазах уже не было видно страдания — их заволокло мутноватой дымкой хмеля. Манцев ухмыльнулся, зная, как быстро и коварно действует выпитое на старые дрожжи. Гайчук сейчас снова пьян вдрабадан, просто ещё этого не понимает.

— Ты понимаешь, что это ненормально?

— Это? — Гайчук вскинул руку, обвёл широким жестом кирпичные стены. — Абс-лютно! Чего тебе надо? У меня есть деньги! Я вообще-то ведущий системный инженер в крупной...

— Оставь это, деньги и у меня есть, — поморщился Манцев. — Ты знаешь, что ты запустил свою жизнь? Я давно за тобой следил. Ты урод, пьяница и дебошир.

— Пошёл ты.

— О чём я и говорю.

Виктор достал из нагрудного кармана рубашки пачку фотографий. Протянул Егору.

— Прогляди. Это всё ты. Твоё пальто, твои джинсы... Твой двор.

Гайчук перелистывал фото и кривился — резкими спазмами, точно его кололи в какой-то нерв китайской иглой. Глаза его оставались невыразительными, но незаплывшая сторона лица то сминалась в комок складок, то разглаживалась обратно.

— Там много интересного. Ты и мочишься на столб, и блюёшь в мусорку, и — вот самое свежее — влетаешь лицом в дверную ручку магазина, идя за сигаретами.

— Так вот откуда...

— Да, это сегодня ночью. Кстати, ты ни одной так и не выкурил, — Манцев помахал пачкой перед лицом Егора, трогаящего разбитый глаз. — Не смотри так, не дам. Я тебя на руках тащил. И ладно бы в первый раз...

— Что ты де... Почему ты там был? Ты следил?.. Кто ты вообще такой? Почему ты был в моём дворе?

— Я там живу, идиот!

Виктор расхохотался, обдав Егора струйкой дыма. Тот закашлялся.

— Я несколько раз тащил тебя домой. Я был в твоей квартире. Видел, как ты падаешь на диван в одежде — там в правой части вмятина, ты проломил каркас, когда рухнул туда со всей дури...

— Что за...

— Я встречал тебя в баре, уводил домой. Ты выделял при мне все эти штуки, — Манцев указал окурком на фотографии. — И я понял, что тебе нужна помощь. Ты больше не контролируешь свою жизнь.

— Я всего лишь...

— Ты больше не хозяин своему телу и своему разуму. У тебя трясутся руки. Ты не помнишь, где был прошлой ночью. Ты высосал с утра бутылку дешёвого пива. Посмотри на себя.

— Я не алкоголик.

— Разве? А в глазах соседей у тебя уже сложилась... Репутация.

— Нет. Нет, я просто... Просто иногда перебираю, — просипел подавленно Гайчук. — Это же не значит, в конце кон...

— А я видел тебя по утрам. Ты проходил мимо меня, не здороваясь. Ты не помнишь моё лицо, не помнишь имя и голос, не помнишь даже особых примет, — Манцев как бы невзначай перехватил сигарету изуродованными пальцами. — Ты пропил свою память, престижный инженер. Скоро от твоих ценных мозгов ничего не останется, как и от денег. Давно ли у тебя дома была девушка? Куда подевался твой пресс? Когда тебя последний раз повышали? Ты понимаешь, куда ты каатишься, сам того не замечая? Ты хочешь спастись?

— Х... х-хо... хоч-ч-ч...

Гайчук всхлипнул.

С минуту сырой подвал распирала тишина, дрожащая от рыданий Егора. Манцев знал, каково это. Наполненный состраданием, он словно заново переживал далёкие минуты под мостом.

Под мостом... Теперь придётся ждать до ночи. Чем бы занять время?

Мысль. Завораживающая мысль. Ужасная, но бесконечно красивая в своей дерзости мысль. Она взялась из ниоткуда, вонзилась в его мозг, рассеяв головную боль от переизбытка никотина. Страшная мысль. Но восхитительная.

Егор словно увидел, как засияли глаза Манцева. Он отстранился, выдохнув жалко:

— Что?

— У меня для тебя много чего есть... В кармашках, — ласково пробормотал Виктор. — Вот, держи.

Он кинул ему бутылочку. Чекушка недорогого коньяка. Егор не сумел поймать её — она глухо шлёпнулась на земляной пол.

— Я ж-же... Я же... Ну, бросить...

— Вот и бросишь, — Манцев расстегнул пуговицу на рукаве, стал разворачивать манжету, — поверь мне, это самый лёгкий способ. Тебе будет очень легко.

— Зач-чем это... — плаксиво промычал Егор.

— Когда я учился в школе, меня научили курить. Старшеклассники за гаражами, как это обычно бывает. Я пристрастился за пару лет. Так отец, когда узнал, запер меня в подвале с зажигалкой и блоком сигарет. Сказал, что не выпустит, пока не скурю весь. Классика, правда?

— Д-д-д-д...

Манцев уже закатал один рукав и вытащил из него прут. Очень ему понравился этот эффектный жест, очень рассмешила дрожащая от ужаса, как кровавый студень, рыхло-пьяная морда Гайчука. Алые следы на ней больше не кровоточили — ну, так скоро это исправится. У него теперь и болевой порог повыше — столько с утра выхлестать. А потом уж он точно поймёт, что пора что-то в этой жизни менять.

— Так я просидел там почти сутки. Без еды. Без воды. С одним только куревом.

Гайчук отползал на заднице, силясь подняться. Виктор ногой пнул в его сторону коньяк.

— Пей.

Егор мотнул головой. Свистнул прут, крик сорвался в фальцет. Вспухла малиновая черта на щеке узника. Он прикрыл её ладонью — свистнуло снова, и такая же черта пересекла пальцы.

— Пей. Тебе нужно.

Трясущимися уже не от пьянства руками Гайчук разодрал обёртку пробки, откупорил и поднёс горлышко к зубам. Сделал пару глотков, сморщился, закашлялся.

— Хорошо, — голос Манцева смягчился, прут упёрся концом в землю. — Так я сидел сутки и курил. Сначала бодро, одну за одной, щёлкал и швырял на пол бычки. Потом с перерывами. Болела голова, тошнило... После третьей пачки я начал блевать. О-о-о-о, дружище, я заблевал здесь всё. Да-да, это было именно

здесь, представь себе? Наш старый загородный дом... Папаня давно помер, дом я отремонтировал, а пол в подвале опять заблёван. Но не-ет, тогда было хуже. Тогда было ужасно. Шагу ступить было негде... Пей.

Он ткнул концом прута в Гайчука, тот поспешно присосался к бутылке, давясь слезами и жгучей жижей. Манцев расхохотался. Он продолжил мерить шагами комнату, постукивая прутком по ладони, как учитель — указкой. Шаги его то нервно ускорялись, то замедлялись, в такт монотонной речи, подражающей лекциям университетских профессоров.

— Когда оставалось всего две пачки, я просто раскрошил в них сигареты и высыпал на пол. Прикопал, опалил фильтры, как будто докурил всё. Батя не повёлся. Пей.

Гайчук с усилием вдохнул, влил в себя ещё несколько глотков, вытер рот и рыгнул, запоздало прикрыв рот руками. Он стоял на коленях, немилосердно шатаясь, и глубоко дышал, хватая воздух ртом, чтобы не стошнило.

— Он влепил мне сорок раз точно таким же прутком. Под одному за каждую невыкуренную сигарету. С тех пор я их в руки не брал, только сегодня сделал исключение — в конце концов, ты мой первый такой... пациент. Переживаю за успех дела. Дай сюда.

Манцев забрал бутылку, поднёс к лицу. Понюхал. Скривился. Поманил к себе Гайчука. Тот осторожно, на коленях, подполз к своему мучителю, вжав голову в плечи. Виктор взял его за подбородок, осмотрел иссеченное, изуродованное лицо.

— И посмотри только, в кого ты превратился... — поцокал он языком. — Загноится же ещё небось. Надо обработать. Перекисью там, хлоргексидинчиком, ваткой протереть...

Егор мелко-мелко закивал.

— Жаль, что у меня ничего такого нет, — вздохнул Манцев и плеснул ему в лицо из бутылки.

Крики Егора долго не затихали, изнутри распирая кирпичные стены подвала.

— Так вот, ты спрашиваешь, следил ли я за тобой? Мне даже не надо было следить. Сперва я увидел, как ты шёл по двору и вытирал об стены дома пальцы, которые только что пихал в рот. Я, знаешь ли, люблю гулять допоздна. А иногда встаю бегать в шестом часу утра. Выхожу... Холод, промозглый летний рассвет, представляешь? Мышцы гудят, тело знобит — а в калитку вваливается полуживое тело, роняет из карманов мелочь, прикуривает не той стороной сигарету... Разве мог я не захотеть тебе помочь?

Егор слушал Манцева словно сквозь туман.

— Я думал: как человек до этого доходит? Почему продолжает такую жизнь? А видя этого же человека утром понедельника — в солидном костюмчике, гладко выбритого, причёсанного — я ужасался: долго ли он сможет лавировать между своей гражданской жизнью офисного трудяги и бездной пьяного угара?!

— Я справлялся! — пробурчал с яростью Егор, ткнув кулаком в кирпич. Содрал костяшки, но не почувствовал. — Я от-лично жи-л! Пахал к-как папака-рло! Тьфу ты, фронтенды с бэкендами, кодинг, разработки, тес-ик!-тировщ-щики, с-скоты! Мне надо было отды-хаться!

— И ты превращался в животное, — хихикал Манцев. — Заблѣванное, умирающее от похмелья, ничтож-ное глупое животное... И с каждым месяцем работать становилось тяжелее... А по ночам в баре ты плакал.

— Ч-что?..

— Плакал. Напившись в зюзю, ты выбалтывался своему случайному собутыльнику, даже не замечая, что он пьёт безалкогольное пиво. Ты лепетал, что на самом деле всю жизнь бежал от ответственности. Что с детства ты привык прятаться от мира, потом попро-бовал выпивку, потом понял, что твои шикарные моз-ги ничуть не страдают от запоев — когда с блеском закончил университет, не просыхая во время семест-ров. Что ни любви, ни дружбы, ни увлечений у тебя не

было. Что ты всё тот же маленький мальчик, которому сломал руку алкаш-отец под крики матери. Что ты никогда не станешь таким, как он, потому что видел его в пьяном гнев...

— Перестань...

— Пей.

Свист. Вскрик.

— Пей, дрянь!

Егор скорчился, прижав к саднящим губам ненавистную бутылку. Алкоголь смешался с кровью на губах, нырнул в пищевод горячей змеей, прогрызая истончившийся до прозрачности желудок. Заштормило. Расплалась, дёргаясь, беспокойная фигура Манцева, бродящего по комнате.

Хотелось плакать. Хотелось умереть. Умереть, увидеть маму. Она всё-таки пыталась его защитить... Он ей так много не сказал. Теперь не ска...

Скаж...

Спазм смял живот, как удар ботинком под рёбра. Взорвалось рвотой воспалённое горло, едкие капли полетели через нос. Егор закашлялся, стараясь сохранять устойчивое положение на четвереньках. Манцев навис над ним, скалясь.

— Знаешь, что я был таким же? Я тоже мнил себя умным. Верил, что могу работать и дальше, собирая себя после пьянок по кусочкам каждый понедельник. А потом и среду, и четверг...

Удар прута.

— Если бы ты знал, как мерзко мне смотреть на твою рожу! — шипел он в лицо Гайчуку, схватив за волосы искалеченной рукой. — Я видел её в зеркале! Много раз видел! И знаешь, что меня остановило? Это!

Он отпустил пленника и сунул ему под нос свой кривой и маленький кулак. Оттопырил два огрызка пальцев, не сомневаясь, что Гайчук видит их уже четыре. Злобный хохот закипел у него в груди, лающий, хриплый, гадкий.

— Я очнулся под мостом. Под мостом, понимаешь?! Без денег, без документов, без памяти... И без

двух пальцев! Они были перевязаны, да. Но их попросту не было!

Егор глубоко дышал, попробовал сфокусировать взгляд. Только он свёл воедино картинку в глазах и увидел культы, как его вновь замутило.

— Я до сих пор не знаю, что со мной случилось тогда! Не знаю, где остались эти пальцы и как я оказался под тем мостом! Ты меня понял, сволочь?! Насколько надо быть дебилом, чтобы по пьяни потерять кусок руки и не знать, куда он делся? Это тебе не глаз подбить! После такого-то... уж точно задумаешься.

Манцев рванул Егора за шиворот — затрещала ткань рубашки, узник потерял равновесие и ткнулся разбитым, изрезанным сечками лицом в перепачканную землю. Его мучитель выкрутил ему руку за спину, крепко сжал ладонь.

Егор бился и мычал, задыхаясь в горькой рвоте, пока сидящий на нём Манцев вытаскивал из кармана садовый секатор.

— Должно сработать... — Он судорожно облизнул губы. — Сейчас поймёшь, братец... Это просто такой лёгкий способ... бросить...

Ни одна пожарная сирена не могла бы проверещать так надрывно и резко, как крик Гайчука, когда лезвия секатора сомкнулись. Манцев остался недоволен результатом. Мизинец повис на лоскутке кожи, замаявшемся между лезвиями. Пришлось перепиливать его об острую кромку. Второй палец он взял ближе к основанию, ручки сжимал двумя руками. Это было тяжелее — начавший трезветь от боли и шока Гайчук забился всем телом, прижимать его коленями к полу оказалось чертовски трудно.

Наконец, безымянный палец отделился от кисти. Егор снова заорал дурным голосом, молотя ногами по воздуху. Манцев отпрыгнул, изловчился и пнул его носком ботинка под дых. Егор засипел, истонно всасывая воздух отказавшей диафрагмой. Умиравший от боли, тошноты, интоксикации, он не мог даже кричать. В открытом глазу его, красном от лопнувших со-

судов, стояли слёзы. Второй был залеплен гноем и землёй.

— Воспалится же, братец, — сочувственно вздохнул Манцев, плеснув коньяком ему в лицо и выливая остатки на окровавленные огрызки вместо пальцев. — Теперь ты такой же, как я. Теперь ты тоже вернёшься к нормальной жизни. Это всё для твоего же блага.

Гайчук сгибался и разгибался, лёжа на земле, лягал ногами пустоту и с усилием проталкивал в лёгкие сырой холодный воздух. Едва ли его беспокоила стоявшая в подвале вонь, но Манцеву она уже стояла поперёк горла. Он наконец сделал то, что должен был. Остался последний штрих.

Манцев вышел, запер за собой дверь и выключил свет. Держа в руке отрезанные пальцы и бутылку (уже пустую, не оставлять же пленнику), он вприпрыжку зашагал по лестнице. Выйдя в гостиную, он бросил трофеи на диван и сладко прикурил.

Щекочущий ноздри дым перебил остатки подвального смрада, исходяемого «пациентом». Пустая бутылка полетела в мусорку, из холодильника на кухонный стол перекочевала ещё одна, почти полная.

— Что ж... Получилось, наконец, — с облегчением выдохнул Манцев. — Молодец, Витя. Справился.

Он глядел на бутылку отсутствующим взглядом, медленно затягиваясь и стряхивая пепел в пустую кружку, — пепельницы в этом доме не водилось. Солнце уже зашло — закат угасал за окнами, во дворе вырастали весенние сумерки, прекрасные в своей прозрачности и тишине.

Егор пришёл в себя от залившего подвал света. Происходящее напоминало дурной сон, не желающий кончаться. Кто-то не давал ему проснуться, заставляя переживать кошмар наяву снова и снова. Одна лишь мысль стучала в мозг.

«Я не хозяин своей жизни».

Сперва им управляла дурная слабость — сколько денег, времени и нервных клеток было потрачено на алкоголь? С каждой минутой размышлений правота Манцева проступала в мозгу всё отчётливее. Ужас и отвращение, снова отвращение и снова ужас плескались в голове Гайчука расплавленной смолой, выжигая рассудок.

Что-то липкое, густое текло из подбитого глаза — не то слёзы с гноем, не то гной со слезами — и таким же липким и густым был залепивший ему горло стыд.

«Я сам себя до этого довёл».

Отвратительные фотографии. Мерзкие воспоминания. Уродская заплывшая рожа. Эти пальцы... Человек, который знает про него больше, чем он сам. Человек, которого он как будто ни разу не видел, а на деле...

Медленно открылась дверь. Егор заскулил, вновь отползая. В расфокусе освещённого подвала прорезался смутный силуэт. Запахло чем-то съестным, тёплым. Желудок запрыгал от радости, не спровоцировав тошноту только потому, что тошнить было нечем. Егор с протёр здоровый глаз, осторожно приносясь. Похоже, яичница... С поджаренным хлебом и беконом.

В уголках рта закисло, потекла слюна. Есть хотелось до безумия. Егор сидел на коленях и дрожал всем телом, подняв глаза на Манцева, точно воспитанная собака, которой нельзя начать есть без команды. Перед ним возник маленький табурет, на который легла белоснежная тарелка с пылающей жёлтым глазуньей, кусочком хлеба и парой сосисок. Ну, пусть не бекон, но тоже что-то...

Напротив сел на корточки Виктор, пыхтя сигаретой. Глаза его, испещрённые красной сеткой сосудов, запавшие, уставились на Егора ненавидяще. Осмотрели, метнулись к искалеченной руке.

— Ага, перевязался, — буркнул он, лихорадочно кивая, когда увидел пропитанные кровью обрывки рубашки, намотанные на культю. — Это ты правильно, а то я и забыл совсем, веришь... Ну что ж, все мы не

святые, правда? В конце концов, ха-ха, это зелье не обратимо разрушает психику. Миллиарды сожжённых водкой нейронов... Или сколько их там... Не подлежат восстановлению. А я ведь тоже пил! Да. До того, как нашёл способ. Способ бросить. Так что я теперь тоже не тот, что раньше, ты уж не серчай. Забыл просто.

— Это мне?.. — робко прохрипел Егор, гипнотизируя взглядом тарелку.

— А я не сказал? — Манцев возбуждённо вскочил. Он казался нервным и каким-то несобранным, как студент перед экзаменом. — Да, конечно. На здоровье. Только это... Есть придётся руками. Не хватало ещё, чтоб ты меня вилкой заколол.

— Можно ложку дать...

— Ты ещё требовать что-то будешь?! — взвился Манцев, хватая пленника за волосы. — Ты, скотина неблагодарная, думаешь, что я буду перед тобой на задних лапках прыгать? Ты мне обязан всей жизнью! Я тебя сейчас спасаю! Вытягиваю из пучины ада, чтоб ты не сдох нахер в канаве как последний бомж, а ты ещё тут условия ставишь?!

Он залепил кулаком Егору в челюсть. Лязгнули зубы, срывая прикушенные лохмотья щёк, вязкая кровь стекла под язык. Егор поднял руки.

— П-прости... Прости, я не буду.

— То-то же. Ешь давай. И пока не съешь всё, отсюда не выйдешь. Потом поедем домой.

— Д-домой?

— Да. Уже темно на улице. Доедай всё, и сеанс закончен. Не доешь — останешься тут гнить, — Манцев встал, пошатнувшись, вышел за дверь. Свет оставил включенным.

Егор, сплюнув кровь, протянул грязные пальцы к тарелке, подхватил кусок яичницы и замер. Лежащие рядом сосиски были подозрительно согнуты в двух местах. Перевернув одну, он увидел почерневший от жарки ноготь. Appetit пропал. Горло безуспешно сократилось в спазмах, грудь сотрясла рыдания.

«Потом поедем домой».

Поедем домой. Всё это кончится. Никогда больше ни капли, никогда. Отмыться, пойти в больницу, в полицию... Он живёт в том же дворе, его найдут...

Или он найдёт меня раньше.

Плача и стараясь не вдыхать соблазнительный запах мяса, Гайчук поднёс ко рту ещё горячий зажаренный палец, зажмурился. Ужас и отвращение, наполнявшие его похмельным кошмарным утром, сгустились и достигли пика. Неистовая дрожь от страха, холода, интоксикации и нервного напряжения трясла его, он едва не опрокинул тарелку. Мысль о том, что он никогда не перестанет бояться своего жуткого терапевта, не перестанет видеть его тень за каждым углом, пронзила мозг.

Надо как-то его... задобрить? Делать всё, что он просит... Быть паинькой. Никогда больше не пить... Ведь это и правда лёгкий способ — кому после такого придёт в голову налить себе хотя бы рюмку?

Надо делать то, что он велит.

И Егор впился зубами в упругую прожаренную кожу, ещё сочившуюся маслом. Прожевать эту мерзкую плотную шкурку, чтобы добраться до мышц, которые нужно обглодать с костей...

В комнату ввалился Манцев, запнувшись о порог.

— Приятного аппетита, мой дорогой алкаш! Я понимаю, тебе сейчас нелегко это всё жрать. Н-на вот, держи, запить. Помогает.

Он запинаясь и проглатывал слоги. Голос его стал ниже, интонации плясали. На табурете возникла ещё одна бутылка коньяка. На сей раз наполовину пустая.

— Доедай быстрее, — он ткнул в тарелку изуродованной рукой. — Быстрее, понял?! У меня курево кончается... Чего смотришь?! Я сегодня человека от гибели спас, ага? Имею право на праздник! Или я алкаш какой-то?!

Манцев пнул Егора под рёбра. Тот взвыл, рухнув на бок, а когда отдышался, дрожащей рукой потянулся к бутылке. Хлопнула дверь.

Манцев ехал по ночному шоссе, докуривая последнюю сигарету, и высматривал впереди съезд под тот самый мост. Перемазанный в земле, крови и рвоте, избитый и опухший «пациент» сидел на пассажирском сиденье, положив голову на плечо и то ли дремал, то ли глядел стеклянными глазами куда-то в блеклый пьяный туман. В окровавленной кургузой лапе его была зажата бутылъ с остатками коньяка. Из уголка рта свисала на воротник ниточка слюны.

Довольный собой, Виктор выхватил у Гайчука бутылку и присосался к ней. Мимо пронеслась, ревя сигналом, машина, в которую он едва не перестроился. Манцев стукнул по сигналу донышком бутылки и зарорал:

— В жопу бибикни себе!

Встрепенулся Егор, осоловело мотнул головой, уставился заворуженно на мелькающие огни фонарей. Потянулся за выпивкой.

— Что, болит? — прикрикнул Виктор. — Держи, обезбопись! Ты же понимаешь, что это последняя? Больше не будет, братец, ты теперь свободен от этого яда, да! Всё, ты больше не захочешь... Стоит тебе очнуться под мостом! Проверенный способ! А пока — пей, допивай! Всё твоё!

Машина вильнула, он выровнял руль, слегка сбросил скорость. Уже скоро должен быть тот поворот. Эх, ему бы вчера это всё сделать... Не смог. Не поднялась рука взять секатор, не хватило воли...

Пришлось пойти на жертву, прибегнуть к старому средству — налить стопочку для храбрости. Забытое жжение в пищеводе, дубовые нотки и кружащая голову лёгкость... Это помогло завершить начатое — а за успех мероприятия Манцев наградил себя ещё одной порцией. В конце концов, не каждый день такое происходит... Сегодня отметим, проводим «пациента» в лучшую жизнь, а потом обратно — в трезвость.

— Это ты, брат, не сердись, что тебя подрихтовал. Зато память какая — надёжней, чем кодироваться. Мне самому знаешь, как тяжело это было? Так ведь смотришь, думаешь: пропащий же человек, его лечить надо!

Вырвал бутылку, глотнул, вернул обратно. Вытер рот рукавом, вздохнул сипловато.

— Это как хирурги, знаешь ли... Они тоже людей режут. Но всё во благо... Так вот и я тебе это. Ты мне, брат, ещё... спасибо скажешь... Оп-па!

Он съехал с шоссе на грунтовку, свернул в сторону моста, где раскинулся пляж, на котором иногда купались и загорали дачники. Как и на всяком цивилизованном пляже, стоял в стороне и мусорный контейнер — между туалетом и кабинкой для переодевания. Под этот-то самый контейнер Манцев и выгрузил размякшее тело своего «пациента».

— Бывай, — хохотнул он, втягивая носом ночной воздух. — Извини, что не до дома, но и я всё-таки не такси... Зато сработает мой способ, вот увидишь. Увидишь, друг, завтра тут, под мостом, проснётся другой человек!

Хохоча, он хлопнул дверцей. Взревел мотор. Машина рванулась с места, кое-как вырываясь обратно. Манцев матерился, дёргая рычаг коробки передач. Наконец, он выровнялся и по грунтовке, подскакивая на кочках, рванул обратно и вскоре выехал на шоссе. Световое пятно фар мягкой жёлтой дымкой устилало асфальт, раздваивалась под левым колесом и без того двойная сплошная, луна созерцала его с неба воспалённым оком, розовато-медным в эту душную, не смотря на холод, ночь.

Хотелось курить. Он похлопал себя по карманам, придерживая руль ногой, и вспомнил, что докуривал предпоследнюю, когда Гайчук ел свои пальцы. Надо отдать должное, фаланги он обглодал начисто. Манцев тогда даже залюбовался этими плоскими коротенькими косточками, сложенными аккуратной кучкой.

— Заеду за куревом. А завтра обратно в трезвую жизнь... — пробормотал он. — Разрядился и хватит. Надо другим помогать. От же скотство, как же устал...

Он зевнул и надавил сильнее на газ, хотя и без того летел под рокот и свист, не успевая замечать убегающие по сторонам деревья. Скоро посёлок, там на въезде магазин... Сейчас быстро добраться, покурить перед сном и лечь спать, забыв про все кошма...

Стена магазина вынырнула из тьмы посреди ничего. Растерявшийся Манцев рывком вывернул руль и вдавил педали — но, как следовало ожидать, не туда и не те. Машина на полном ходу вгрызлась в угол дома, раздирая ночную тишь рёвом и скрежетом. Полетела штукатурка, брызнуло стекло, металл и пластик разлетелись по шоссе.

«Тоже мне... Лёгкий способ бросить», — успел подумать Манцев в те несколько секунд, пока хрипел, пуская воздух через проколотые рёбрами лёгкие и заливая руль кровью из разбитой головы.

Утром Гайчук пришёл в себя от бешеной тряски. Тряслось всё тело — от холода и от тщетных попыток вывести из крови яд. От промёрзшей весенней земли ломило поясницу. В ноздри бил запах помойки, дерьма и спиртного. Над рекой занимался тусклый желтоватый рассвет. Небо было чистым — а больше ничего чистым не было.

Смутные картины, обрывки воспоминаний — то ли снился кошмар, то ли его пытали. Голова раскалывалась, во рту горело, сушило; саднили надкушенные щёки. Прогорклой массой застряла в пищеводе прожёванная накануне жареная кожа. Болела изуродованная рука. Всё было реально.

Егор медленно, осторожно привстал. Местность выглядела незнакомой. Он подтянул к себе бутылку, в которой ещё плескались остатки коньяка. Такой теперь стала его реальность. А настоящая жизнь с рабо-

той и домом — где-то по другую сторону отчаяния, там, где есть право на надежду.

Здесь же нет ничего. Только дрожь во всём теле, боль, тошнота и пьяная слабость. Терапевт-самоучка добился своего. Ничего не осталось от старого Егора Гайчука. Под мостом и правда проснулся другой человек. Ему уже не хотелось спасаться. Не хотелось ничего менять. Не хотелось жить. Хотелось только выпить.

И он, запрокинув голову, влил в себя остатки коньяка.

Виталий Аширов
ИНСТРУКЦИЯ К СМЕРТИ

1

В поезде Петр Степанович устроился на нижней полке и сразу погрузился в глубокую дрему под ритм железных колес, откуда был выковырнут через два часа — заселилась молодая пара с ребенком. Грозно шушукались, раскидывая матрас и раскладывая белье. Рывком поднялся и долго растирал глаза, виски, потом неловко здоровался, ему осторожно отвечали и косились на полицейскую форму. Младенец неподвижно лежал в распашонке. Рот и уши кишели червями, нижняя челюсть отсутствовала, и все равно он казался немного грустным, так что Петр Степанович сделал ему козу и соорудил смешную рожицу. Мать одобрительно улыбнулась, и объяснила, что Олежка сильно болел, и вот полностью поправился.

Петр Степанович произнес: любые болезни проходят.

Его охватило неприятное тревожное чувство, источник которого был смутен, и он решил, что стоит больше времени уделять сексу — лекарству от тревог — и сегодня же заехать к Насте, благо жила рядом со станцией метро. С бокового сидения на него скалился гнилой череп ветхого деда. Петр Степанович радушно кивнул и предложил сыграть в карты, дед проигнорировал, зато с живостью откликнулся долговязый отец ребенка, и до вечера они резались в подкидного.

За окном постепенно смерклось, луна выступила как свищ, набухший гноем, редкие красноватые облака были клочьями ваты, приложенными к пораженному месту. Поезд летел через редколесье. Петр Степано-

вич вглядывался в черноту. Переливались далекие цветные огни, источник которых был скрытым, словно танцуют искаженные земным зрением ангелы, и хотя полицейский не верил в бабские сказки про бога, воображение разыгралось.

Утром Петр Степанович потащился через город, щурясь от раннего солнца. Ночью пронесся ливень. Мокрая столица блестела как стриптизерша. Взад и вперед ходили горожане, поодиночке или с родственниками. Кто-то нес родню в пакете (сквозь полиэтилен скалились черепа), иной бережно поддерживал пожилую тетю или мать. В бледном тумане мелькали автомобили.

Показалось серенькое общежитие в пять этажей. Полицейский взбежал по ступенькам, лег на пружинистую койку в номере. Сосед работал допоздна, они редко пересекались. Это был хмурый, неразговорчивый киргиз, сложное имя которого (Адамарозбракалый...) Петр Степанович не запомнил за полгода совместного проживания, и звал его коротко — Адам.

В комнате царил беспорядок. На письменном столе валялся тапок. У батареи стояла швабра с ведром. Заготовил давеча, но руки так и не дошли.

В окно виднелась телевизионная вышка, перед ней — густые ряды лесопосадок.

Петр Степанович позвонил Насте. Она не отвечала. Решил подъехать, сделать сюрприз.

Но сначала нужно привести себя в нормальный вид, решил Петр Степанович, критически оценив небритость и сальность волос в настенное зеркало. Принял ванну и свеженьким тронулся в ближайшую забегаловку. Приглушенный свет, тихая музыка, сочное мясо.

Напротив села старушка с собакой. Пес был на длинном поводке, но уж очень частичен, так что осталась черепная коробка с фрагментом позвоночника. Милый песик, подумал Петр Степанович и улыбнулся собаке. Хозяйка заметила интерес, они разговорились. Полтора года назад Полкан попал в аварию. КАМАЗ

буквально разmozжил его. Врачи сделали все возможное, теперь больной чувствует себя замечательно.

— Хорошие у нас врачи, — сказал Петр Степанович, — иные бы рукой махнули, дескать, ничем не можем помочь.

— Да, помогают всегда. Всегда, — с нажимом произнесла старушка и так на него посмотрела, что сделалось неуютно.

Петр Степанович подумал: и в самом деле странно. Эта странность часто плавала на периферии сознания. Полицейский никак не мог ухватить суть, потому ли, что не привык размышлять, или оттого, что после сытного обеда его разморило.

2

Выкурив сигарету, он вошел в метро, где привычно пахло сладостью и гноем, несмотря на гулкий рев мощных вентиляторов, и погрузился в дрему в крайнем вагоне поезда, который через полчаса остановился на станции Шелковская, полной суетливых пионеров в сопровождении оплывшей женщины в толстых черных очках. Двух пионеров несли товарищи — те кишели червями. Что с ними не так? Ох уж эта природная ленца.

Петр Степанович отдал салют опухшим детям и быстро проследовал наверх. Над супермаркетом уже встало солнце, стеклянные грани сияли как разделочные ножи.

Настя жила в высотке, на девятом этаже, куда подниматься предпочитал по лестнице. Дряхлый лифт вызывал опасения у жильцов. Настя говорила — может рухнуть: в любом случае меня спасут, но лучше не рисковать.

Снова перед Петром Степановичем замаячил вопрос, мучивший с утра — почему всегда результат положительный? Насколько он мог знать из своего жизненного опыта, удача идет рука об руку с невезением. Вот кружка. Упала. Превратилась в черепки и в каче-

стве кружки недоступна. Так отчего же люди и животные в любом состоянии остаются валидными? Почему для них нет такого момента, когда все, баста, из этой кружки нельзя пить чай?

Доходя до какого-то особенно туманного места, Петр Степанович переставал размышлять и позволял реальности течь так, как привыкла она.

С Настей он два часа занимался бешеным сексом, девушка удивлялась — что с ним? — а парень всего лишь хотел заглушить тревогу. Потом они занялись не менее бешеным шопингом. С полными сумками одежды и с галлонами пива вернулись в уютную квартиру. Настя поддала.

Вышла на балкон и села на перила, закулив сигарету. Выпросталась бледная луна. Девушка махала ему, даже не звала, а просто махала, чтобы показать — вот я сижу и мне хорошо, а он только вяло улыбался, и когда Настя упала — сначала не заметил, продолжая смачно затягиваться. Потом долго звал ее, думая, что Настя отлучилась, и лишь спустя десять минут разглядел что-то размазанное по тротуару. С грохотом побежал, распахнул подъездную дверь.

Тут она и лежала, с переломанными ногами, так что кости торчали, и в голове была трещина, но он увидел, что она смотрит на него и дышит, взял за руку и забормотал: вот сейчас в больницу, все будет хорошо... Девушка закрыла глаза и как-то напряглась от боли, а потом Петр Степанович заметил странную вещь: на коротеньких ножках прибежала черная штуковина пирамидальной формы из неизвестного материала, размером с тумбу. Во фронтальной грани пирамидки было круглое отверстие диаметром не больше сантиметра. Оттуда высунулся длинный щуп и стремительно впился девушке в пупок. Настя мгновенно расслабилась и, сильно выдохнув, больше не дышала. Из нее как будто вышло что-то важное.

Пирамидка застыла. Петр Степанович обошел ее со всех сторон. На задней грани было выдавлено странное слово “смерть”, которое он, запнувшись, прочитал

впервые в жизни и подумал: набор букв, лишенный смысла. Смерть. Смерть. Щуп с большой скоростью влетел обратно в отверстие. В пирамидке зажужжало, защелкало, и она так быстро ретировалась, что Петр Степанович даже не мог сказать, в какой стороне скрылась.

Настя начала холодеть. С ней действительно что-то произошло. Точно после посещения пирамидки, она перестала быть Настей и сделалась совсем другой, немного даже чуждой этому свету, что, конечно, было нонсенсом, и Петр Степанович поругал свою мнительность.

Явление пирамидки выбило его из колеи. Впрочем, слово — или бессмысленный набор букв (к чему склонялся он) — “смерть” предполагало, что у пирамидки есть четкое человеческое значение. Розыгрыш или технологичный робот с алиэкспресс... Представился некий субъект, который через пульт управлял действиями пирамидки. Может быть медицинский работник производит забор крови для исследования...

Все это проносилось в сознании за считанные мгновения, пока он дрожащими пальцами набирал номер телефона скорой помощи. Приехала машина с желтой сигналкой. Настю увезли, пообещав в кратчайшие сроки вылечить, но Петр Степанович не находил покоя. Волновался за подругу и не знал, стоит ли кому-то рассказывать про пирамидку. Вполне могла привидеться спяну.

До конца отпуска оставалось меньше недели, а делать что-то было надо. Он страдал от скуки, ходил в бар и в диких танцах забывал про все, и когда через пару дней сообщили, что Настя вылечилась и находится в великолепном состоянии, сам поехал за ней в дальний микрорайон, утопающий в хвойных посадках. Он в нем почти не бывал, но знал, что там стоит главная достопримечательность города — пятиметровая гусеница, отлитая из меди и покрытая изречениями древних мудрецов. Проходя мимо этого чуда (“Символ счастья”, — гласила подпись), Петр Степанович сощу-

рился и прочитал на многолапом туловище: экзеги мурандум виро — тромендиум уратрум. Еще бы знать перевод.

3

В больнице он сразу нашел Настю. Ей стало значительно легче. Она лежала на каталке, накрытая простыней, сквозь которую проступали пятна крови. Ледяная и твердая на ощупь. Лицо опухло, было похоже на маску. Пока он подписывал бумажки, врачи хвастались победами — сколько выписали сегодня, сколько предполагают завтра. От удушающего запаха мутило, хотелось спрятаться, и, глядя на Настю, безвольной куклой распластанную в коридоре, он с неожиданным раздражением подумал, что теперь с ней не позаниматься сексом. Почему я больше не могу с ней делать простейшие вещи, даже разговаривать не получится, ничего. И это “ничего” тревожило Петра Степановича.

Он вызвал такси, вдвоем с кургузым водителем запихнули холодное и мокрое тело в багажник. Дома полицейский ее осмотрел уже тщательно. Доктора постарались на славу — везде швы и шурупы, переломы не видны, трещина залита клеем.

Глядя на Настю, он вспоминал, что девушка дышала и шевелилась, пока к ней не присосалась странная тварь. Только тогда подруга прекратила двигаться и окончательно ушла в себя.

С трепетом произнес: смерть. Слово раздвигалось, очерчивая фигуру смутного, но важного смысла. “Смерть” могла быть фамилией автора пирамидки, названием бренда (вернейший вариант!) или мудрым изречением, как на гусенице, и, конечно, он гуглил, натываясь на постоянное: *по Вашему запросу ничего не найдено*.

Смерть была похожа на труднопроизносимое имя его соседа по комнате, также отсутствовала в интернете, как “Адамарозбракалый” в памяти Петра Степановича, и он, осторожно задавая знакомым наводя-

щие вопросы, убедился, что никто пирамидку не встречал. В том, что он видел ее на самом деле, Петр Степанович не сомневался.

После явления пирамидки он не мог адекватно воспринимать выздоровевшую Настю, будто щуп из пупка забрал что-то настоящее, и теперь перед ним масса бесполезной плоти.

Полицейский стал думать над повторением ситуации. Если вернется, значит, он победитель.

4

Купил белую крысу, проколол вилкой и затаился в ожидании. Животное трепыхалось и слабело. Через пятнадцать минут в комнату, быстро перебирая толстенькими ножками, вошла пирамидка и внедрила гибкий щуп в брюхо крысы, после чего испытываемая перестала шевелиться.

Петр Степанович пристальнее разглядел пришелицу. Метровая четырехугольная фигура из матового черного материала, словно вышедшая из 3d-принтера. Квадратные черные ножки похожи на детали из конструктора для малышей. Вообще в ней было что-то умирительно детское, ненастоящее. Поработав несколько секунд с мышью, пирамидка ретировалась, и животное непоправимо изменилось.

Изменения носят негативный характер, пришло в голову Петру Степановичу.

Что негативного в этом — может быть то, что с новой Настей нельзя установить отношения (да ведь можно — вот она смотрит гнилыми глазницами, молчаливо принимает твои сетования на то и се). Может быть отвратительный запах — да все мы знаем, какой запах по утрам изо рта...

Чем больше Петр Степанович перебирал причины тревоги, тем сильнее чувствовал, что проблема исключительно в ней, в геометрической штучковине. Не может так быть, чтобы он первый ее заметил, наверняка о ней знают, как-нибудь она объясняется в научных

трудах, о ней пишутся статьи, академики обмениваются теориями. Или чей-то неумный, хотя и довольно изощренный, розыгрыш над ним. Надо проверять оба варианта.

Петр Степанович отправился к майору Брынцалову, которого уважал как старшего товарища. Услышав про пирамидку, тот покрутил пальцем возле виска и на предложение провести совместный опыт сказал, что Петр Степанович переутомился. Дал рекомендацию посетить психиатра.

Еще пара хороших знакомых встретили его идеи в штыки, и он понял, что если и пытаться доказать кому-то свою правоту, то нужно использовать хитрость, например, напоить товарища.

По характеру он был простой и прямолинейный, предпочитал действовать наверняка. Вместо того чтобы замысловатым путем доказывать всем собственную правоту, решил изловить пирамидку и принести в качестве неопровержимой улики, а еще лучше самому изучить механизм внедрения щупа.

Он написал несколько электронных писем профессорам различных наук. Его игнорировали, в лучшем случае сообщали, что данное явление не зафиксировано официальными инстанциями.

Он воображал, как все удивятся, когда никому неизвестный и очень скромный страж порядка произведет переполох в мировой науке, ведь непонятно, что из себя представляет пирамидка — животное? минерал?

Будучи опытным служакой, он не отваживался напасть на пирамидку. В конечном счете и он мог стать тунейдцем, как Настя или белая крыса. Примеривание на себя чужой участи еще сильнее пробуждало тревогу, главным триггером которой был мерзкий запах. Неужели и я тоже, иногда ошарашенно размышлял, и я тоже — на грязной простыне, твердый как полено, в червях... Разве достойное существование? Почему никто не возмущается?

Он проделал еще несколько опытов.

С каждой встречей подходил к ней все ближе, чтобы и она привыкла к нему и самому не испытывать страх. Даже осмелился потрогать выдавленные буквы с м е р т ь. Пирамидка не реагировала на прикосновение. В другой раз погладил боковые грани, коснулся круглой ножки, она пугливо вдвинулась в ячеистую нижнюю грань, попробовал приподнять. Весила килограмм двадцать, в ней что-то щелкало.

Петр Степанович понял, что пирамидки нечего бояться, можно приступать к захвату. Но сперва обзавелся переносной клеткой для больших птиц — на всякий случай. Зарядил пистолет, чтобы не было неожиданностей, закрыл окна с помощью жалюзи, отсекая твари пути к отступлению.

Понедельник 29-го августа, последний день лета и отпуска.

В тот день почти не разговаривал с Настей, подруга раздражала вялостью, покорностью, из нее ушла красота, и это тоже давило.

Мечтал из пирамидки выковырять то, что она вышла из Насти, и вернуть обратно...

5

Захват провел безупречно. Пока пирамидка трудилась над туловищем раздавленного червяка, медленно накрыл клеткой, захлопнул замок. Она металлически щелкнула, дернулась, издала низкочастотный гул и застыла, не предпринимая попыток выбраться. Прошло больше часа. Пирамидка тихо гудела в клетке.

Он не знал, есть ли в пирамидке специальная защелка или кнопка, открывающая боковую дверцу, поэтому приготовил фонарик, отвертку, пилу, на крайний вариант — топор, и уволок пленницу в ванную, чтобы в случае чего не смогла сбежать.

Достал из клетки. Она моментально зашевелила ножками, как заводная игрушка, собираясь убежать, однако агрессии или какой-нибудь супер-силы в ней не было, он легко поймал ее и приподнял, прислуши-

ваясь к металлическому щелканью внутри корпуса, и положил набор.

Ножки, как рога улитки, ушли внутрь сетчатой нижней поверхности. Швов Петр Степанович не заметил, и кнопок тоже, и, сколько ни светил в отверстия, ничего понятного (провода, микросхемы) не увидел, лишь ряды плотно сложенных металлических брусков, похожих на молоточки в пианино. Корпус был “пластиковый”, но такого материала Петр Степанович никогда не встречал — шершавый, на ощупь — фетровая шляпа фокусника. Опасаясь удара током, не стал вставлять отвертку — применил пилу с мелкими зубчиками. На удивление быстро грань поддалась, распавшись твердой крошкой.

Петр Степанович раздвинул руками длинный прорез вдоль корпуса.

Пластиковая крышка отошла полностью.

Пахло как будто смолой хвойного дерева. Стальной механизм блеснул.

В детстве Петр Степанович любил разбирать игрушки, особенно подвижные, в них заключалась некая тайна. Разбирая шестеренки и схемы, он будто проникал в них, а ведь по сути просто разламывал устройства, и те переставали работать. К пятому классу в особом кулечке скопилась масса интересных деталей, и однажды, наигравшись досыта, избавился от нее. Как тогда он не понимал, для чего служат шпиндели и рычажки, и мог только вообразить их взаимодействие, так и сейчас гауповато смотрел в нутро пирамидки, пытаясь убедить себя, что это не очередная игрушка. Пленница отличалась от того, что он видел прежде.

Устройство на первый взгляд элементарное. Два плотных ряда квадратных стальных пластин, в середине металлический валик. Микросхем не заметил, хотя должны быть — “игрушка” отличалась высокой сложностью.

Наверняка плата и прочие причиндалы лежали под слоями железа.

Принялся осторожно поддевать их кончиком отвертки — не поддавались. Верхняя часть валика была испещрена крошечными отверстиями, Петр Степанович провел пальцем по их гладким краям, гадая, с какой целью они сделаны, и понял, что несильный гул исходит именно оттуда, будто под ними спрятался хор мальчиков-с-пальчик, и нерешительно замер, гадая, получится ли распилить конструкцию.

Взгляд упал на полиэтиленовый пакет, прикрепленный на скотч к внутренней стороне крышки. В нем находилась брошюра размером с ладонь, озаглавленная “Инструкция к смерти” (на обложке самолетный хвост) и тонкая металлическая трубочка, похожая на стерженок от ручки.

Петр Степанович растянулся на диване, надеясь прочитать брошюру и понять назначение диковинной пирамидки, однако книжица, в отличие от нормальных инструкций, начиналась не с четких формулировок — с поэтической белиберды. Длинным верлибром шло описание старинного мистического обряда.

6

Люди в черных одеждах шествуют за черным продолговатым ящиком (тащат носильщики), где неподвижно лежит, видимо, известный им человек. Зачем его засунули в нелепый, пафосно разукрашенный ящик, Петр Степанович не понимал. Дальше происходили еще более странные события. Добрались до места, где из земли торчали палочки, напоминавшие хвосты самолета. Вырыли яму, опустили туда ящик.

Бессмыслица, подумал Петр Степанович. Его поразило то, что, опуская ящик, они плакали, колотили себя в грудь и всячески выражали печаль, восклицая: “куда же ты от нас уходишь во цвете лет, товарищ Киров!” Сами опускают, сами и ревут, морщился полицейский, сияясь понять логику персонажей.

Дальнейшее было и того безумней. Человека закопали, насыпав землю так, что образовался бутор.

Сверху водрузили деревянную имитацию самолетного хвоста. Принялись пить водку, петь тоскливые песни. Петр Степанович представлял, что чувствует под землей несчастный человек, и готов был тотчас заключить под стражу безумцев — хорошо, что это вымышленные существа. Скорей всего, размышлял он, в типографский процесс вкралась ошибка, бредни какого-нибудь шизофреника из когорты фантастов напечатали вместо инструкции.

Следовало описание застолья (было вымышленное блюдо под названием “кутья”), и поход к церкви, где выяснилось, что место, куда якобы “ушел” закопанный, связано с христианской мифологией, и теперь он, дескать, “наслаждается в чудесном оазисе”, хотя всего пару страниц назад описывалось, что лежит в земле. Не мог же гражданин вырыться и убежать в цветущие заморские края.

Да и церковь изображалась очень уж фантастично. Конечно, она имеет прямое касательство к нашему народу, в частности, к больным, и тем, кто несколько апатичен. Назначение церкви в том, чтобы внушить печальному бодрость духа. В главной христианской книге Жиблии (от англ. jible — ритм) говорится о некоем очень старом человеке, который настолько разуверился во всем, что постепенно отказался от разных благ цивилизации, пока не превратился в мельчайшие частицы пыли, собранные в мешочек его домохозяйкой. Мешочек двести лет стоял на книжной полке и вдруг начал танцевать. Оказалось, соседская девочка пришла поиграть с кошкой и принесла с собой попыт, куда весело тыкала, вызывая сотрясения воздуха, от чего и трялся мешочек. Девочку звали Мария. Вялого господина величали Коф. Они подружились и много лет провели в играх и плясках, и до сих пор мешочки с пылью М. и К. трясутся в великом ватиканском храме, когда мальчишки прыгают на огромном священном попыте. С тех пор попытки (а не самолетные хвосты!) — символ церкви, знак того что и вялый способен рас-

шевелиться, нужно лишь подобрать ключик к его чертовому сердцу, то бишь специальный ритм.

Это редко работало, редко вселяло надежду. Мало кто славился умением утешить страждущий дух. Инертные оставались инертны, сколько перед ними ни тыкай в попыт. И все-таки народ понимал, что церковь — не панацея, а форма театрализованного представления, и не требовал от попыт слишком многого. А еще манила эстетика — пръкрасны разноцвътные попыт на вършинахъ золотыхъ куполовъ!

В брошюре говорилось об иной церкви, которая служит медиатором между людьми и другим миром, куда оные попадают после так называемой “смерти”. Автор писал, что смерть — трагическое событие, в результате коего некто полностью перестает быть (как такое возможно, полицейский не понимал), а его близкие испытывают так называемую “скорбь”.

Неужели Насти нет? — с ужасом мыслил он. — Ведь лежит тихонько, занимается своими делами. Брошюра лжет.

Тем не менее, именно это имел в виду безымянный автор. Да, тело есть, говорил он, но человека уже нет, он попросту растворился, до него не достучаться, — что, конечно, не вязалось с мировоззрением Петра Степановича, и все же отчасти он понимал, о чем хочет сказать брошюра, у него не было слов (точнее — нужного слова), чтобы описать свои недавние переживания в связи с выздоровлением Насти, и вот нашлось — “смерть”. Он еще раз попробовал его языком, отмечая зловещий змеинный присвист.

Люди смертны, вещал священник, век наш скоротечен, покойничков мы провожаем в последний путь в чинном благолепии. Сегодня ты бригадир на заводе, завтра тебя не существует! — кричал священник, распаяясь.

Петр Степанович в сильном волнении подошел к Насте и пробовал заговорить, но не смог, слезы навернулись на глаза. Значит, умерла? Насти больше нет? Однако смотрел в упор на нее, трогал дряблое холод-

ное тело. Вот же она... У меня больше нет Насти. Насти нет совсем. Насти нет нигде. Она была здесь, и ее не было нигде.

7

Ослепительная ясность пронзила его мозг. Петр Степанович понял все. Мир, где он прожил двадцать четыре года, показался ему отвратительным местом, наполненным глупыми людьми, не способными уяснить простейшие вещи. Если, конечно, брошюра не солгала. Проверять и перепроверять, вот что нужно.

Далее речь шла о трупах (эти мерзкие сущности остаются после того, как живое умирает, и не имеют к нему прямого касательства, хотя внешнее сходство поначалу разительно). В мире брошюры относились к ним брезгливо, старались сразу избавиться от “мертвяков”, чтобы не дышать “трупным зловонием” (вот как называется сладковатый запах в метро, подумал Петр Степанович). Для чего создавались “кладбища”, специальные места почитания идеализированных образов усопших и одновременно сокрытия ядовитых останков.

Самое интересное заключалось в описании механизма формирования кладбищ. Главным действующим лицом выступала известная Петру Степановичу пирамидка. Автор сообщал, что она и есть смерть. Не воплощение, не отвлеченный символ, а то, что переводит человека в неживое состояние (что такое “живое”, полицейский тоже не знал, однако здесь оно жестко противопоставлялось трупам, так что можно было приблизительно понять).

Зародилась она в природе после появления первого организма, сорок миллионов лет назад. Поскольку в организмах нет опции, позволяющей снять с себя бремя жизни, к ним приходит смерть и милостиво помогает, прокалывая запупочный пузырек (лат. *impendingum beulosis*), где и содержится жизнь как таковая. Пузырек плотно запаян. Для прокола требуется

смерто-щуп (под него и создана органическая оболочка). Индивид теряет любые признаки витальности и официально признается мертвым. Часть “светлого духа” из пузырьков пирамидка всасывает, затем использует для создания “крестовых матриц” (на нечеткой фотографии Петр Степанович увидел самолетный хвост и подумал, что именно его автор называет крестом).

И тут видимо, все-таки начиналась инструкция, потому что шли снимки разобранной смерти. Была она удивительно похожа на кладбище в миниатюре. Оператор дул в прилагаемую трубочку, вставленную в перфорацию на валике (требовался определенный порядок), стальные диски разворачивались и оказывались множеством крестов и холмиков, объединенных в плотные структуры.

Петр Степанович оторвался от чтения, проделал нужные манипуляции. Раскрылось потайное нутро. Кресты и могики блестели, точно отлитые из благородного серебра. Они были так близко пригнаны друг к другу, чем меж ними не прошел бы и волос. Гул, похожий на хоровое пение, доносился из форм. “Светлый дух” всегда поет, пояснял автор, чем и отличается от обычного воздуха. Произведя “вынимание” духа, смерть устремляется в безлюдную зону и застывает. В течение нескольких часов в ней происходит наращивание свежего кладбищенского слоя.

Нарастив большое количество слоев, смерть становится тяжелой, неповоротливой. Тут и требуются священнослужители. Для того чтобы она правильно функционировала, ее необходимо опорожнять — точно так же как, например, доят коров. Попы знают пункты дислокации смерти. Приходят со специальным ключом (та самая трубочка, догадался Петр Степанович), разбирают смерть и снимают свежий слой кладбища. Облегченная пирамидка опять приступает к своим обязанностям. Микрокладбища попы уносят с собой и устанавливают на обычных кладбищах в уже заранее выкопанных траншеях и надувают ключом-трубкой.

Органическая сталь, полная духа, в считанные минуты вырастает до размеров стандартных крестов и надгробий, поэтому на кладбищах наравне с простыми могилами присутствуют (как правило через ряд) пустотные, охраняемые государством. В них поет светлый дух. Мальчики из музыкальных школ приходят к этим могилкам поучиться брать высокие ноты. Влюбленные пары идут туда, чтобы пережить “незабываемые романтические мгновения”. Странствующие рыцари осенью медитируют в тех заповедных местах.

8

Петр Степанович оборвал чтение и бросился искать могилку Насти, которая таилась среди сотен подобных объектов, выросших на стальных блинах рядами легко гнущихся структур. На крестах (если использовать лупу) отчетливо просматривались имя и фамилия, кое-где даже проступили овальные черно-белые фотографии, и полицейский долго щурился, пытаясь обнаружить ее. Сантиметровых крестиков было много. Чем дальше продвигался, тем читать имена становилось сложнее, за верхним рядом просматривались нижние, и он подумал, что придется разобрать пирамидку и снова обратился к инструкции, однако пролистывал второпях, раздраженно пропуская многословные главы в надежде наткнуться на подробную схему разбора.

Не найдя ничего полезного, Петр Степанович решил действовать на собственный страх и риск и тщательно изучил пленницу на предмет болтов или каких-нибудь скрепок... Новых комбинаций в инструкции не было. Тогда начал покачивать блины из стороны в сторону и заметил боковые желобки, по которым они скользили, и так, покачивая и разворачивая, смог сперва достать один, потом второй, достал уже с полсотни и аккуратно разложил на диване, чтобы впоследствии приступить к именам, но сперва развернул

и второй ряд, и третий, и четвертый, пока не увидел, что достиг дна.

Там находилось нечто похожее на материнскую плату — тонкая серо-зеленая плита, покрытая крошечными серебристыми цилиндрами (с полустершейся гравировкой — r7, r512 и т.п.) и дорожками застывшего припоя. Как природа могла создать такое чудо? — поразился Петр Степанович. Следов процессора он, впрочем, не увидел, слотов оперативной памяти тоже, да и сами дорожки были нанесены хаотично и в одном месте даже поднимались и утолщались, становясь подобием океанской волны с маленькими червячками-ручками. Чем больше полицейский глядел на эту микроинсталляцию, тем сильнее его охватывала тревога. Он закрыл крышку. Убедившись, что снял все надгробия, приступил к их осмотру. Пришлось изучить тысячу объектов, прежде чем мелькнуло знакомое имя: Настя Самохина (2002 — 2023) и строгий портрет в черной рамке, видимо, недавно выращенный, потому что таких фотографий у подруги Петр Степанович не встречал.

Он аккуратно выпилил могилку и поднес к уху. Она пела. У каждой могилки была своя песня и вместе они соединялись в гармоничный хор. Настина пела: ой-оооой-ооооооой-аааа-ааааааа. Высокий и чистый голос, будто ветер. Вот сейчас, лихорадочно думал Петр Степанович, верну светлый дух в Настю и она станет прежней. Дрожащими руками поднес могилку к девушке, крестиком потыкал в область пупка, надеясь, что дух просто перелетит обратно, и внезапно осознал, что *impendium beulosis* у нее поврежден и нужно его как-нибудь склеить или сшить. Погрузил палец в гниющую плоть живота и принялсяковыряться в поисках ошметков пузырька. Безуспешно.

Светлый дух пел. Настя лежала перед ним. Соединить их не получалось. Петр Степанович прикинул: а если просто выдавить в нее дух, и он там как-нибудь закрепится, может быть новый пузырек образует. Как кончик шприца, погрузил крест в кровавые лохмотья

пупка и принялся давить. Надгробье действительно лопнуло, и светлый дух, издав нежное и мелодичное “ааааааааааах”, вошел под кожу. Петр Степанович прислонил ухо и сперва услышал далекий отголосок недавнего пения, а потом стихло. Дух больше не пел. Он исчез. Полицейский не знал об его свойствах и кosterил себя, что не удосужился справиться в брошюре.

Настя по-прежнему лежала мертвая, и не было надежды на воскрешение. Это не Настя, Насти нет, и он только что уничтожил последнюю возможность вернуть ее к жизни.

В веселом отчаянии ребенка-идиота стал давить другие могилки, они лопались как пупырки на пакете, отдавая голос, каждый — свою ноту. На мгновение комната наполнилась пронзительным и совершенно нечеловеческим пением, затем все стихло. Стоял сильный хвойный запах, там и сям метались последние тени звука, пока окончательно не рассеялись. В смятении Петр Степанович стал быстро затапливать блины обратно в пирамидку, случайно обронил один на “плату”, и, поднимая, увидел, что “волна с червяками” раскололась под его весом. Возможно, сломался важный элемент, но было поздно, тем более, он уже разрушил МОГИЛЫ.

Кое-как пытался сложить пирамидку в исходное состояние. Блины падали, не вставлялись в пазы, гнулись и крошились (будто это был творог, а не сталь), и он не понимал, каким образом изначально удалось ее разобрать. Приложив недюжинную силу, вырвал с корнем два паза, принялся истерично швырять блины в стены и в само устройство, так что они с глухим треском разламывались, затем, решив идти до конца в охватившей его разрушительной злости, яростно выпилил валик. Внутри оказалась полость, наполненная серым порошком. Высыпал в унитаз и смыл.

Он все еще трясся.

Плату Петр Степанович выдрал клещами и через колено перегнул, пока не разорвалась на несколько крупных осколков.

В ушах звенело. Комната наполнилась пылью. Исковерканная смерть лежала на боку. В ней не осталось ничего интересного. Он в два подхода разнес ее куски по мусорным бакам и лишь теперь позволил себе усесться на кухне спиной к батарее и закурить.

9

По сути, все сделал правильно, может быть отчасти интуитивно, но правильно. Да, пропал малейший шанс на спасение Насти, но и смерти больше нет, он уничтожил ее. Народ не будет пропадать навсегда, все станет так, как было прежде.

Настю необходимо похоронить. Обряд, описанный в брошюре, и вправду подходит к мрачному статусу мертвых. Зарыть. Скорей всего, думал Петр Степанович, автор описывал быт какой-нибудь Японии, отсюда и странности.

Полицейский никогда не был за границей и тамошний мир плохо представлял, так отчего бы в провинции Синдзю и не быть трепетному отношению к смерти...

Возможно, он сделал что-то удивительное. Напишут: спаситель человечества. В одиночку победил тварь, которая мучила мир миллионы лет. Это было не просто удивительно — было в этом что-то безумное. Он ходил по комнате, воображая: вот ворвутся папарацци.

Затем свалил тело Насти на тележку и поволок через весь город (в глухой лесок). У подъезда с ним поздоровалась соседка и тут же заговорила с Настей, рассказывая о своем житье-бытье. Петру Степановичу было теперь дико слушать беседу с трупом, он порывался сообщить, что Насти нет, хотя и не понимал, что ответить на резонный вопрос: да вот же она.

И так он бежал дальше, отмахиваясь от случайных знакомых, и с неприязнью замечая вокруг множество мертвых, но не похороненных людей и животных. Они портили зловонием воздух и неприглядным видом —

пейзаж, и все вокруг делали вид, что они живые. Петр Степанович видел в этом крайнее лицемерие, хотя и осознавал, что недавно и сам был таким же, и уже сочинял способ распахнуть им глаза — выступить что ли на симпозиуме, сделать открытие: есть живое и мертвое. То-то удивятся. Настя мертвая, а я живой. Но ведь японцы наверняка сами расскажут. Он верил, что за пирамидкой стоят некие ученые и члены правительства.

Вероятно, есть и другие пирамидки, синтезированные в лабораториях. Петр Степанович не мог понять, почему в Японии так (зачем-то он заиклился на этой выдуманной Японии), а у них по-другому.

Он дал себе слово съездить во время большого летнего отпуска в заморскую страну и разведать. Но пока нужно копать могилу.

В лесу нашел полянку и рубил лопаткой мерзлый наст для Насти. Ему было весело, потому что он понимал только умственно, что девушка умерла, подсознательно Настя казалась живой, так и подмывало обратиться к ней с каким-нибудь вопросом.

Порядком измучившись, полицейский выкопал яму в полтора метра глубиной и сбросил Настю, перед этим поцеловав край ее нарядного платья. Полагалось заплакать, а слезы не шли, и он притворно зарыдал, переходя на тихое хихиканье. Когда плелся к остановке, чудилось — подруга под землей шуршит и его зовет.

И вот Насти нет окончательно. Все для всех есть. А для меня нет Насти. Для меня, единственного в городе, в государстве, не стало человека.

Вечером был у Брынцалова. По обыкновению сильно напились. Петр Степанович заплетающимся языком рассказывал про пирамидку, а товарищ то громко смеялся, то крутил пальцем возле виска. Полицейский отмахивался и бормотал: сами узнаете.

Он стоял на балконе, и мир вокруг него раскручивался с невероятной скоростью, звезды и слои подкрашенных бледной желтизной облаков сливались в мельтешение пятен. Брынцалов не понимал, что люди умирают, что есть смерть, что может его, Ускова, не быть, и самого Брынцалова — тоже. Петр Степанович кричал в теплую ночную пустоту, расплескивая свое тайное знание кому попало — случайным прохожим, бродячим псам, больному голубю на автомойке, пока нетрезвый майор вяло тянул за плечо, приглашая лечь спать.

Утром болела голова и навертывались рвотные позывы, отчего Петр Степанович старался как можно дольше не открывать глаза, и когда терпеть стало невыносимо, на ощупь потащился в туалет, где, сделав свои дела, остался сидеть. Брынцалову пришлось чуть ли не силой вытаскивать его, зато дальше наступили приятные события.

Распили приготовленное заранее пиво, закусили ошметками вяленой рыбы. Мутный морок постепенно покинул голову Петра Степановича, который вспоминал, что успел наговорить вчера. Майор периодически подкалывал его, намекая на пирамидку и зеленых чертей, и он пристыжено молчал, потому что простых аргументов в свою защиту не было. За обедом не произнес ни слова, но уходить не спешил. Товарищ не торопился.

Майор смотрел футбольный матч. Петр Степанович тоже пытался смотреть. В уме шевелились недавние события, делалось тревожно, и еще он не мог избавиться от жуткого чувства, что зарыл Настю “живой”.

Утром полез в карман за спичками и нашел инструкцию к смерти, сам не помнил, как положил туда. Опять вытаскивал, разгладил и от скуки открыл последнюю главу, пропущенную давеча. Мелким шрифтом

сообщалось об экспериментах Чон Сю Гука, профессора корейского университета, который много лет потратил на изучение свойств пирамидки и пришел к выводу, что она имеет немало странностей, не поддающихся обыденной логике. В частности, Чон обнаружил, что смерть не только прокалывает запупочные пузырьки, но и в целом влияет на посмертный организм. На фотографии хорошо различался орлиный профиль ученого (он был скорее похож на грузина, чем на корейца), и щипчики в его руках что-то небольшое сжимали. Надпись гласила: Чон Сю Гук изучает атом мертвого человека.

Атомы, утверждал автор, имеют около двух миллиметров в диаметре и в обычном состоянии обладают шарообразной формой. Открытие корейца заключалось в следующем: опытным путем он установил, что атомы трупа исподволь приобретают пирамидообразную форму, и на снимке демонстрировал научному совету атом-пирамидку. Каждый мог вытащить любой атом из тела и убедиться в том, что открытие Чон Сю Гука подлинно. Окружающие тело предметы, говорил профессор, состоят из атомов-шариков, а мертвая плоть — из атомов-пирамидок, то есть первичных атомов, искаженных неким полем смерти, недоступным пока для наших приборов. Он назвал это поле — Ро́луа, в честь своей русской ассистентки Полины. Смысл столь поразительного воздействия смерти на плоть нам предстоит еще разгадать! — утверждал Чон Сю Гук.

Далее следовал скачок во времени — сразу в двадцатый век, где танатальными (от “Tanata”, греч. — пирамида) исследованиями занимался другой корейский светила Ир Хон Дук. Он опроверг теорию Ро́луа как бездоказательную и начал исследования “антропотанатного сцепления”, а именно глубины нашего родства со смертью, и пришел к выводу, что она каким-то образом связана с появлением жизни на Земле, только не через ро́луа, а более сложно устроенную систему, названную им “Канатная дорога”.

Все живое, писал Ир Хон Дук, перманентно связано с пирамидкой миллионами незримых канатиков. Технологический уровень познания нашей цивилизации не позволяет нам раскрыть свойства внутренних сообщений, однако можем провести опыт радикального разрыва, временно отключив пирамидку. Он выяснил, что за ее функционирование отвечает волнообразная структура на “управляющем элементе” и достаточно воздействовать на нее электрическим током, чтобы смерть отключилась на несколько минут.

Ир Хон Дук собрался публично продемонстрировать свое открытие на форуме австралийских антропологов (по дороге скоростно скончался от сердечного приступа, его место занял ассистент Хо Шир Ин, все равно у них были похожие лица).

Был аншлаг. На именитого профессора собралась поглядеть местная просвещенная публика. То, что они увидели, не забудут никогда. Пирамидка выполнила работу по высасыванию светлого духа, затем ее экстренно демонтировали и воздействовали электродами на управляющую плату, отчего смерть пришла в негодность и прекратила издавать звуки. Тогда внимание собравшихся переключилось на мертвого человека. Ждать пришлось долго.

Через три часа — первое изменение. Хо достал пинцетом пирамидальный атом и заявил, что теперь он виден невооруженным глазом. Публика пораженно рассматривала маленькую пирамидку, не более шести миллиметров в диаметре. Через десять минут трупные атомы увеличились до пятнадцати миллиметров и продолжали расти. Тело, соответственно, разбухало, становилось бугристым и через полчаса было похожим на гору слепленных друг с другом пирамидок. Через час мини-пирамидки отделились и принялись расплзаться. Демонстрация происходила в герметичной комнате, помощники Хо направили на них электроизлучатели. Пирамидки остановились.

Пучком антитока профессор вернул функционирование изначальной пирамидке и произнес перед со-

бравшимися краткую пояснительную речь. Суть сводилась к следующему: после уничтожения смерти, включается природный алгоритм ее самосохранения. Каждый трансформированный атом стремится стать полноценной пирамидкой, и поскольку атомов в организме человека двадцать пять миллиардов, то и смертей расплодится огромное количество и дальнейшее их поведение наука в ее нынешнем состоянии не сможет спрогнозировать.

Хо пообещал довести опыт до логического завершения (дать пирамидкам полностью отделиться и провести наблюдение за ними), однако требовалось более мощное оборудование. Он попросил у инвесторов сорок миллионов долларов и, получив желаемое, пропал навсегда, сетовал автор, добавляя, что сейчас Хо наверняка жирует на карельских островах, и что пирамидками он не интересовался, и что иные исследователи не пошли дальше компьютерных симуляций, опасаясь неожиданных эффектов расползания пирамидок, и ныне занимаются тем, что беспрестанно спорят по поводу тех или не тех характеристик смерти. Таким образом, заканчивалась глава, современное состояние проблемы...

Петр Степанович не выдержал и, закрывшись в туалете, сжег проклятую брошюру. Его накрыло волной тошноты. Он представлял, что из Насти, как мерзкие клещи, лезут пирамидки и расползаются по городу. Взял электрическую зажигалку и, ничего не сказав Брынцалову, который как замороженный продолжал смотреть футбол, поехал в лес — исправить то, что накуролесил.

Могилу нашел быстро. Земля вокруг была взрыхлена на десятки метров, и он понял, что опоздал, однако все же попытался раскопать, и не обнаружил Насти. На дне вяло копошились несколько пирамидок. Петр Степанович ожесточенно тыкал в них зажигалкой, и

они, щелкнув, застывали. Ток действовал. Да что теперь толку...

Из организма Анастасии Самохиной вылупилось 15 864 456 577 пирамидок. В них включилась генетическая программа, заложенная природой. Если живое агрессивно по отношению к смерти, его должно смертью и заменить. Пирамидки, щелкая, издавая гул, бегали по городу и высасывали запупочные пузырьки у всех подряд. Проникали в квартиры, залезали в водосточные люки, врывались в торговые центры и переводили ничего не подозревающих людей в неживое состояние.

Не было предпринято попыток остановить этих странных, в чем-то и гротескных, существ, потому что люди не знали, что мертвые отличаются от живых, и продолжали точно так же непринужденно общаться с “неподвижными” и “ленивыми” личностями. Не было попыток затормозить нашествие пирамидок и со стороны якобы проницательной Японии (или Кореи), ведь инструкция, прочитанная Петром Степановичем, зародилась внутри смерти естественным природным путем, а не была отпечатана в типографии какой-либо страны.

В городе продолжалась типичная жизнь, только ленивых становилось все больше, но так как они не имели специального статуса, то власти не предпринимали никаких мер по спасению населения, а вскоре их и не получилось бы принять — большая часть народа умерла, и смерть методично добивала оставшихся.

Петр Степанович с ужасом смотрел на то, что творится вокруг, и если он дважды улепетнул от дружелюбно гудящей пирамидки, то на третий раз (например, во сне) мог и не ускользнуть, так что принял странное, но единственно оправданное в его положении решение. Он притворился пирамидкой.

Поймал одну, разворошил и обложился гранями, держа на всякий случай электрическую зажигалку в кармане. Он сумел обмануть смерть. Его считали своим, тем более, он издавал гудящие звуки и щелкал

ножницами внутри неудобного корпуса. Его не идентифицировали как живое существо. Остальных же, включая дождевых червей, черепах, крыс, голубей, ворон, куниц, белок, фазанов, собак, котов, уток, амёб, лягушек, ящериц, кротов, тигров, зубров, щук, окуней, акул, ложноножек, медуз и т.п., пирамидки лишили запупочных пузырьков.

В Москве, в Канаде, в Стамбуле, в Огайо было одно и то же. Мир гнил. Пирамидки хозяйничали. Теперь они стали человечеством. Но не вели разумную жизнь, подобно людям, а, как и подобает объектам, держались обособленно. Застывали в темных, теневых местах, тяжелые, неповоротливые. Могилки набухали, требовалось срезать зрелые слои, но некому было это сделать. В них начался необратимый процесс.

В живых остались два человека. Петр Степанович передвигался в образе пирамидки и чувствовал постоянную тревогу, что его могут раскрыть. Большую часть суток тайлся в квартирах мертвых людей, пользуясь продуктами из холодильников. Ночью совершал короткие перебежки из одного дома в другой.

Выжил и сосед полицейского по общежитию, Адамарозбракалый. Труднопроизносимое имя было значительно укорочено соседом. Прокалывая запупочный пузырек, пирамидка считывает информацию о человеке, в частности, имя. Оно, как генетическая цепь, входит в состав светлого духа, и оный нельзя вынуть, не прочитав имени, однако полное имя соседа звучало так длинно, что не помещалось в маленькой оперативной памяти пирамидки:

Адамарозбракалыйтрасокупрезыбруаолдейк
одапрозыбулкуажетрусеприозуайтрасозыбр
утрусеприозуажетрусажетрусыйтрасокупрезыб
руаолдейкодапрозыбулкуажетрусеприозуайт
расозыбрутрусеприозуажетрусажелыйтрасокуп
резыбруаолдейкодапрозыбулкуажетрусеприоз
уайтрасозыбрутрусеприозуажетрусажелыйтра
сокупрезыбруаолдейкодапрозыбулкуажетрусе
приозуайтрасозыбрутрусеприозуажетрусажел

ыйтрасокупрезыбруаолдейкодапрозыбулуклауж
етрусеприозуаыйтрасозыбрутрусеприозуажетут
русеприозуажетрусажельйтрасокупрезыбруаол
дейкодапрозыбулуклаужетрусеприозуаыйтрасоз
ыбрутрусеприозуажетрусажельйтрасокупрезыб
руаолдейкодапрозыбулуклаужетрусеприозуаыйт
расозыбрутрусеприозуажетрусажельйтрасокуп
резыбруаолдейкодапрозыбулуклаужетрусеприоз
уаыйтрасозыбрутрусеприозуажетрусажельйтрасо
сокупрезыбруаолдейкодапрозыбулуклаужетрусеп
приозуаыйтрасозыбрутрусеприозуажетрусажель
ыйтрусажельйтрасокупрезыбруаолдейкодапроз
ыбулуклаужетрусеприозуаыйтрасозыбрутрусепр
иозуажетрусажельйтрасокупрезыбруаолдейкод
апрозыбулуклаужетрусеприозуаыйтрасозыбрут
усеприозуажетрусажельйтрасокупрезыбруаолд
ейкодапрозыбулуклаужетрусеприозуаыйтрасоз
ыбрутрусеприозуажетрусажельйтрасокупрезыб
руаолдейкодапрозыбулуклаужетрусеприозуаыйт
расозыбрутрусеприозуажетрусажельйтрасокуп
резыбруаолдейкодапрозыбулуклаужетрусеприоз
уаыйтрасозыбрутрусеприозуажетрусаже...

(привожу фрагмент).

Так что высосать дух не получилось. И все-таки прокол был совершен, и дух сам день за днем капля за каплей просачивался и растворялся. Сосед ощущал необыкновенную легкость, иногда казалось, внутри него что-то поет. И он начал подпевать. Жизнь, мнилось ему, текла та же, что и всегда. Он пел, ходил на работу, и снова пел, активно общаясь со своими знакомыми? и не замечал, что улицы и магазины кишат червями, что пахнет гнилью. Он пел все лучше, наслаждаясь легкостью, поселившейся в его теле, пока однажды не взял такую высокую ноту, что перестал двигаться и разговаривать (так вышли остатки духа).

Петр Степанович прожил на два месяца дольше, пытаясь осмыслить то, что произошло, и почему японцы не спешат на помощь. К тому времени пирамидки перестали шевелиться, и под ними отвисли набрякшие

полосы надгробий. Светлый дух тянулся на волю, концентрировался в тесных отсеках. Пирамидки стали даже слегка приподниматься в воздух, настолько велик был объем духа.

В день X Петр Степанович, грязный и злой, смотрел в окно. Ветер гнал пирамидки, словно перелетные листья. Они неслись и кружились. И пение внутри усиливалось. Сверхпрочная оболочка могилки лопнула. Свободный дух заскользил наверх. Полицейский впервые увидел его. Он был светлее воздуха и пел, громче и громче. Отдельные частицы духа объединялись. Было их бесчисленное количество. В кратчайшие сроки совокупный дух покрыл землю белесым маревом и пел, пел так прекрасно, что у Петра Степановича лопнуло сердце от невыносимой красоты.

И продолжал петь, уже не умея остановиться.

Земля раскололась от глубоких вибраций. Ничем не стесненный, дух полетел к звездам (они ведь есть ничто иное как скопления светлого духа), потому что подобное всегда тянется к подобному, говорила моя учительница по геометрии, Анна Васильевна Моргенштерн.

м е р т в ы й

т е к с т

Генри Глассфорд Белл МЕРТВАЯ ДОЧЬ¹

*Что это значит?
Так жутко потрясает естество
Мечтой, для наших душ недостижимой?*
ШЕКСПИР «Гамлет»

118

Поместье, в котором обитал Адольфус Вальдштейн, выглядело брошенным и в некоторой степени даже мрачным и пугающим. Его поселенец вовсе не был преступником, но из-за холодного темперамента особой популярностью не пользовался. С тех пор, как он переехал в эти места, где почти не было ни одной живой души, он не обзавелся ни одним другом, ни одним знакомым. Казалось, ему нравится бродить среди гор и жить на отшибе, на отдаленной дикой долине у подножия Ретийских Альп, где они пересекаются с Богемским массивом.

Адольфус был обручен, и в прежние времена его жена была красавицей. До сих пор она сохраняла кое-какие померкнувшие, почти исчезнувшие следы былой стати. Его жена выглядела как дама высокого происхождения — ее походка и черты лица отличались особой аристократичностью. Говорила она мало, однако, даже если вы ее никогда не знали, то ни за что бы не подумали, что ее молчание вызвано недостатком умных мыслей.

¹ Перевод с английского Essential Liberty.

В их семье был только один ребенок — бледная, но достаточно интересная девочка — Полина. Она была совсем маленькой, но без естественной детской беззаботности. Создавалось ощущение, что тень хандры, окутывающая ее родителей, оставила свой отпечаток и на ней — будто она ощущала всю тяжесть их несчастья задолго до того, как вообще могла понять, в чем заключалось их горе. Иногда Полина улыбалась, очень слабо но, тем не менее, ее прекрасная улыбка, словно теплый солнечный луч, могла убрать с лица тень ее безмерной печали. Девочка не отличалась выносливостью — в теле ее не было ни капли здоровья. Ей не было дела до прогулок по холму — она выбиралась на улицу только чтобы нарвать полевых цветов, которые принесет домой и разложит на коленях матери, чтобы сплести хилые венки.

Родители обожали свою дочь. На всем белом свете они любили только старого слугу и большую венгерскую овчарку. Однако было ясно, что Полине долго жить не суждено. По крайней мере, ее жизнь казалась наполненной неясностью бездыханных надежд и страха. Она была не по годам высокой, но при этом хрупкой, словно стебель белой лилии. Во многом она походила на мать, пусть даже время от времени на ее лоб падала тень, отдаленно напоминающая мрачное выражение отцовского лица. Поговаривали, что, когда он брал с собой ружье и на целый день уходил высоко в горы охотиться на благородных оленей, он забывал о своей изначальной цели на часы. Сидя на каком-нибудь альпийском выступе, Вальдштейн взирает на долину, на свой одинокий домик внизу. Когда солнце заходило на грозовой восточной стороне, вечер медленно опускался на горные вершины, и начинал мерцать одинокий огонек в одном из окон его поместья, Адольфус утирал горячую слезу, собирал вещи и направлялся домой.

Однажды ночью, до наступления крошечной темноты, когда ветра протяжно завывали, он вернулся домой. В гостиной, почти не обставленной мебелью, он

увидел жену, сидящую напротив лампы и занятую вышивкой, а поодаль — бледный лик дочери, освещенный леденящим душу мерцанием угасающего огня в камине. Он застыл на пороге и нагнулся над своим ружьем. Мать и дочь знали это его настроение, а потому просто сохраняли молчание. Его глаза застыли на лице Полины. Никто не смог бы отвести от нее взгляда — черты ее лица были не такими, как у других. Не в том смысле, что какую-то отдельную черту можно выделить за уникальность, а в том смысле, что стоило однажды увидеть ее образ — и он навсегда поселится у тебя в голове. Может, все дело было в ее темных глазах — темнее черного? В ее волосах — точно смоль, которые выделялись на фоне мертвенной бледности щек, напоминавших белые розы? Глаза, словно смотрящие в душу и глубоко утопленные в печали, смотрели исподлобья. Но излишне строить догадки: никто не знал, отчего у нее было такое лицо, — в нем скрывалась тайна.

120

У нее были длинные тонкие руки, испещренные синими венами, и тонкие пальцы. Ее прикосновение было настолько холодным, что леденило душу, но временами такое же касание ее пальцев оставляло на коже жар, как при лихорадке. Ее мать рожала много раз, но все дети умирали в младенчестве. Самым заветным желанием отца было увидеть сына, взрослеющего рядом с ним, и мужчина еще не отчаялся осуществить свое желание. Поговаривали, что его предсмертные указы заставили б сына похлопотать.

Полине исполнилось тринадцать. Внутри ее пожирала болезнь, и даже мать поняла, что смерть отнимет у нее дочь. Это был суровый приговор. Единственный ребенок ее сердца, — ее раздумья и мечты, единственный печальный солнечный луч, чей рассеянный и неуверенный свет озарил их одиночество. Полина была единственной, кого за тринадцать лет бессонная материнская забота смогла оградить от той напасти. Но зло преследовало их как рок, и этот рок еще не свершился.

Она умерла осенним вечером. Девочка слабела с каждым днем, и родители видели это, но молчали. И она молчала. Казалось, ей больно говорить. Когда же девочка сказала о смерти, ее низкий мягкий тон был почти неслышимым для всех, кроме любящих родителей. Однако разум ее был занят беспорядочной, практически лихорадочной мечтательностью. Странно шли ее дни — сны, жизнь и далекий мир чаще мелькали перед ее глазами, чем яркость действительности. Часто все угасало. Хотя глаза ее были открыты, она уже была окутана тьмой. Девушка жила среди тайн и нематериальных форм какого-то призрачного царства. Страшно было бы узнать все то, что происходило в глубине души одинокой девушки. Это был осенний вечер — солнечный, но некрасивый, тихий, но не безмятежный.

Она подошла к ручью, спускавшемуся с гор. Ручеек образовал лужу и целый журчащий каскад в двух шагах от двери. Быть может, она внезапно потеряла рассудок, потому что мать, стоявшая у окна, видела, как ее Полина торопливо шла через поле. Она пошла ей навстречу и вот осталось только протянуть руку, как дочь издала слабый стон и, упав вперед, обвила холодными руками шею матери и в агонии посмотрела ей в глаза. Это длилось всего мгновение. Темные глаза застыли — они поблекли от смерти. Мать отнесла тело в опустевший дом. Если ее отец и плакал, то по ночам, скрываясь от чьих-либо глаз. Овчарка выла над трупом своей молодой хозяйки, а старая домработница сидела у не зажженного очага и горевала, словно о своем первенце. Адольфус зарядил ружье и ушел в горы.

Пришли и священники, и несколько простых крестьян, стоял и гроб. Ее вынесли из комнаты, и Вальдштейн последовал за мертвой дочерью. Процессия двинулась по долине. Печальный звон святого колокола смешивался с похоронным пением. Наконец процессия скрылась из виду, ибо кладбище находилось среди холмов, в нескольких милях от поместья. Мать

осталась одна. Она упала на колени, подняла глаза и сложенные руки к Богу и молилась — горячо молилась от всей души, — чтобы Он не проклял ее и следующего ребенка. Молитва была почти нечестивой, но женщина была в отчаянии. *Как смеем мы ее судить?*

Прошел год. Уединенный дом, не покинутый своими жильцами, все так же стоял в Богемской долине. Жена Вальдштейна родила ему еще одного ребенка. Надежда теплилась в его груди, когда он с отцовской гордостью спросил, не родился ли вдруг мальчик. Но вновь родилась дочь, и его надежды не оправдались. Окрестили малышку Полиной. Много долгих дней и тоскливых ночей мать склонялась над колыбелью, проливая горькие слезы в мыслях о дочери, похороненной на церковном дворе среди холмов. Девочка же росла, но цветущих жизненных сил в ней не наблюдалось. Редко она страдала от острой боли, а ее плач, словно неестественный для столь юного существа, напоминал стоны подавленного горя. Прошло много времени, прежде чем она встала на ножки и пошла. Когда же девочка наконец сделала свой первый шаг, то сделала его без каких-либо предварительных усилий.

Время шло, но ничего не менялось. Полине исполнилось десять. Филиппа часто с материнской нежностью указывала мужу на сходство, которое, на ее взгляд, существовало между их живой дочерью и той, которую они схоронили. Вальдштейн, слушая жену, устремлял проницательный взгляд своих темных глаз на дочь и ничего не говорил. Сходство действительно было поразительным, почти сверхъестественным. Она была такой же высокой, такой же бледной девушкой с черными, глубоко посаженными глазами и длинными, темными, как черная смородина, волосами.

Ее руки были один в один руки первой Полины. В их прикосновении чувствовалась та же будоражащая холодность. Ее манеры, ее нрав, ее голос, ее движения, ее привычки и, прежде всего, выражение лица — это особенное, неопишемое выражение — были такими же. Мать любила подмечать это сходство, но отец, хотя

и пристально смотрел на нее, все же время от времени вздрагивал и быстрыми шагами измерял комнату. Иногда, бывало, он выбегал в ночную темноту, точно человек, одолеваемый дикими идеями и страшными мыслями.

В Богемской долине у них было мало удобств и совсем не было роскоши, присущей жизни. Филиппа бережно хранила всю одежду, которая принадлежала ее усопшей дочери. Теперь, когда девочка достигла возраста предшественницы и так походила на старшую дочь, Филиппа любила иногда одевать ее в платье сестры. Бледное дитя носило платье с удовольствием и говорило об умершей Полине, почти как ее хорошая знакомая.

Однажды ночью мать сидела с иголкой у лампы, а чуть поодаль, около угасающего пламени камина, пристроилась о чем-то задумавшись дочь в простом белом платье, которое когда-то принадлежало ее покойной сестре. Надвигалась гроза, и вскоре пошел сильный дождь. В комнату вошел Вальдштейн. Его взгляд остановился на дочери, и в тот же миг он в ужасе вскрикнул, но вскоре овладел собой и с дрожащими губами сел в дальнем углу комнаты, где с ним была его овчарка. Казалось, пес уловил направление взгляда своего хозяина. Его взгляд устремился на Полину, и животное зарычало. Станным было то, что собака, казалось, никогда не любила этого ребенка. В тот момент девочка так погрузилась в свои собственные мысли, что, вероятно, не заметила, как вошел отец. Атмосфера в комнате была наполнена мистической загадочностью, и голубое мерцающее пламя падало на лицо Полины, освещая ее слабую улыбку

— О боже! Это!.. Это!.. — закричал Вальдштейн и упал без сознания на пол. Жена и дочь поспешили на помощь. Он очнулся, указал на Полину и четко произнес:

— Филиппа! Отправь ее в кровать!

Тихим шагом дочь пересекла комнату. У двери она хотела поцеловать мать, но Вальдштейн издал громогласное:

— Не смей! — И, поднявшись, захлопнул дверь со страшной силой. Филиппа часто видела, как дичал ее муж, но редко его поведение было таким странным и возбужденным. Если бы она знала, что пришло в его голову, она бы совсем не удивилась.

Он наблюдал слишком долго и пристально, и сейчас он больше не мог продолжать скрывать страшную правду. Дело было не в одной лишь бледной красоте, которой она напоминала свою сестру, не только во внешнем ее виде — он знал, он чувствовал, что вторая Полина, родившаяся после смерти ее сестры, была та же Полина, которую он похоронил. От этой мысли его охватывал ужас, которому Адольфус не мог противостоять. Но даже сейчас он не поделился своими мыслями с женой, и они молча ушли в спальню. Секрет его души, который, однако, он днем и наяву не рассказал бы, Филиппа почерпнула из его бессознательного бормотания в глухие ночные часы. Тяжелым свинцом легла на ее сердце возникнувшая из ниоткуда догадка. Ее материнский инстинкт боролся с ней и с тысячами доказательств, заполняющими ее память и лишь подкрепляющими догадку. Эта борьба едва не лишила ее рассудка.

Полине, которой двенадцать лет назад мать отдала свое сердце, часто снились сны с таинственным значением, которые она пересказывала матери, когда никого не было рядом. Через несколько дней после этого вечера, дитя, пришедшее на место мертвеца, рассказало Филиппе о своем сне. Девочка пересказала его, и Филиппа содрогнулась, услышав точное повторение сна, который она так хорошо запомнила с давних времен и хранила у себя в сердце. Даже во сне, казалось, что по какой-то ужасной случайности, Полина вновь жила.

Время по-прежнему шло, и бледное дитя превратилось в девушку. Ей исполнилось тринадцать. Незнако-

мец мог бы подумать, что она еще старше. Было ясно, что она тоже умирает (У отца было мрачное сомнение, жила ли она вообще). Дочь никогда не говорила о покойной сестре. Она в целом редко говорила. Но когда ее спрашивали, все ли в порядке, она мотала головой и указывала рукой в сторону церковного кладбища.

На это церковное кладбище одной светлой лунной ночью пришел ее отец. Идея была той еще дикостью... Он решил вскрыть могилу дочери и посмотреть еще раз на ее гниющие останки. Его любопытство имело причину, в которой он боялся признаться даже сам себе. Адольфус рассказал церковному сторожу о своем намерении, и, хотя старик не догадался об истинной цели, он взял лопату, кирку и быстро приступил к выполнению. Погода ночью была переменчивой: ветер то налетал порывами, то затихал в пугающей тишине. Тусклый лунный свет падал на белые надгробия, и тени проплывающих облаков скользили по ним, словно привидения. Сторож работал усердно и уже достаточно глубоко раскопал могилу. Вальдштейн стоял возле него.

— Я до сих пор не докопал до гроба, — произнес старик тоном, граничащим с изумлением, — но могу с завязанными глазами указать на это самое место, куда опустил его своими руками тринадцать лет назад.

— Продолжай копать, ради всего святого! — сказал Вальдштейн, и сердце его начало громко стучать в груди. Наступила короткая тишина.

— Копать бесполезно, — заключил пономарь, — я раскопал все вокруг того места, куда положил гроб, и да хранит меня Пресвятая Дева, там не осталось ни следа ни от него, ни от тела.

Вальдштейн судорожно застонал и прыгнул в могилу, но напрасно: пономарь не соврал. Только он снова вышел на лунный свет, как на его плечо легла холодная рука. Он вздрогнул и, обернувшись, увидел, что рядом с ним стоит его дочь.

— Полина! Боже мой! Почему ты ушла так далеко от дома? Да еще ночью, когда ты и так слаба. Это погубит тебя.

Она не обратила внимания на его вопрос, и, устремив спокойный взгляд на могилу, сказала:

— Отец, я скоро буду лежать там.

Была тринадцатая годовщина со дня смерти Полины. Полноводный ручей хрипло журчал в горах, ведь бурную осень уже предвосхищала зима. Ставни окон верхней комнаты были закрыты. Филиппа сидела у постели своего единственного оставшегося больного ребенка. Страдалица подняла бледное и измученное лицо. Ее темные глаза, казалось, блуждали в бреду лихорадки, она с трудом произнесла:

— Матушка, должно быть, это странное видение, но мне кажется, что я уже жила раньше и что мои мысли были счастливее и радостнее, чем теперь.

Филиппа вздрогнула и почти с ужасом посмотрела на свое дитя.

— Это сон, Полина, один из тех снов, которые снятся, когда устаешь. Успокойся, милая, час сна поможет тебе.

Как она и сказала, Полина уснула, но эта дремота мало чем помогла.

Все ее тело судорожно вздрагивало, грудь вздымалась от неестественных ударов сердца, руки попеременно хватались за покрывало, словно желая разорвать его в клочья, и поднимались вверх к голове, где пальцы путались в локонах ее угольных волос. Губы беспрестанно шевелились, зубы стучали, дыхание было коротким и густым, словно оно должно было стать ощутимым для органов чувств. Зазвучал ужасный предсмертный бред, и бедная мать поняла, что близится момент расставания. В одно мгновение все стихло. Хватка руки ослабла. Грудь более не вздымалась с каждым вздохом, а биение сердца прекратилось. Губы раскрылись, но дыхание жизни, обычно струящееся между ними, исполнило свое предназначение и навсегда исчезло. На лбу выступила влажная испарина —

последний признак агонии, который давала угасающая жизнь.

Той ночью Вальдштейну снился сон. Полина, вернутая в простыню, стояла напротив его кровати. Лицо ее было бледно и прекрасно, как при жизни, но под складками савана он видел отвратительную фигуру скелета. В глазах будто двоилось: могила раскрылась сама по себе, а другая Полина разорвала на себе погребальные одежды и мертвым взглядом глядела на отца. Адольфус вздрогнул и проснулся. Под дверью его покоев мелькнул странный свет. Кто там бродит в поздний час? Он откинул занавески. Луна еще не взошла. Необъяснимое побудило его броситься в комнату, где лежало тело дочери. Он прошел по коридору. Дверь в комнату была открыта: овчарка лежала мертвая у порога, а **труп исчез.**

с ц е н а

Ролан Топор
ИНТИМНОЕ СРАЖЕНИЕ²

Женщина, одетая в светлое платье, залитое кровью. Её лицо и руки тоже в крови.

Молодая женщина. Ну, вот, я предпочитаю сказать все здесь, чем в полиции... Потом мне станет легче. Было слишком много крови. Сначала было ничего. Было немного, конечно, но в пределах допустимого. А потом начала бить ключом. Невозможно остановить. Била во все стороны, на стены, окна, на вещи... Все простыни залиты кровью, пол... Я не очень люблю кровь. Она у меня скорее вызывает отвращение. Я нанесла первый удар в горло. Это было не смертельно, сонная артерия не была задета. В конце концов он был здорово отделан. Он начал булькать и его начало рвать, он издавал хрипы... «ург!.. ург!» вот так. Я ещё раз ударила, и лезвие воткнулось в глаз. Я слышала, как оно заскрежетало по костям. Я сделала это не специально. Случайно. Он начал вопить, чтобы все сбежались. Я его умоляла замолчать. Я даже хотела его обтереть, поухаживать за ним... Я прижала его к себе... чтобы соседи не слышали, эта история в конце концов только нас касалась. Но он барахтался и отбивался кулаками. Нужно было что-то делать. Я не могла всё-таки его так оставить. Я продолжала наносить ему удары. По рукам, по ногам, в живот. В конце концов он успокоился. Он больше совсем не двигался. Потом надо было обязательно его расчленить. Но я не очень

² Перевод с французского Нины Севестр.

способна на такие вещи... Я никогда не могла разрезать ни курицу, ни баранью ногу. Я не могу разрезать на равные куски. Я всё порчу. Впрочем, он не переставал мне об этом говорить. Когда мне удалось отрезать голову, она как будто бы внутри была пустая. Как у куклы, у куклы, наполненной кровью. Я вытерла, чтобы не потекло к соседям, эта история касается только нас, в конце концов. Я вылила шесть тазов в раковину и, всё-таки оставалось ещё много на полу. Я шлёпала прямо по ней, она приклеивалась. Я знаю, что это может показаться ужасным, но встаньте на моё место. Мне надоело, что он всё время внутри. Всё время диктует свои приказания, потому что это он всегда командовал. В постели и в других местах. Даже мои сны были его. Он заставлял меня по утрам бриться, я должна была курить сигареты и мочиться стоя. Кстати, однажды он заставил меня подписать письмо в газету в рубрику «личные проблемы» именем Альберт. Когда мы ходили в кино, он всегда заставлял меня садиться около девушки, чтобы я к ней прикасалась, у него это вызывало всякие штучки, его это возбуждало... но что мне мешало больше всего, он мне запрещал иметь месячные, а в конце он всё время так делал. Даже в одной квартире тяжело жить с мужчиной, а вдвоем в одном теле, это становится мучительно невыносимо. Я не такая высокая, не такая толстая. Нет места для двоих. Мы всегда один внутри другого. Налетаешь друг на друга.... Жизнь становится невыносимой... А всё потому, что однажды я позволила ему войти. Им дашь вот столько *(Она показывает мизинец.)*, а они берут всё. Он полностью завладел мною, скорее совсем вытяснил меня, я была выгнана из моей кожи, выброшена. Выставлена... из меня... я ни чуточки не жалею, что выпустила ему кровь. Это самооборона. Но эта кровь... вся эта кровь. Я бы заслужила другого исхода. Более мягкого. Мы всё-таки не дикари. Ну, вот, я всё высказала, мне так лучше. Пусть меня бранят, мне наплевать. По крайней мере, я теперь снова стала женщиной, как другие, настоящей жен-

щиной. Я смогу вести нормальную жизнь, встретить мужчину. Но в этот раз я буду начеку...

Темно.

Владимир Мироненко
(Товарищ У)
ПРЕПОДЫ

Экзистенциально-философская алхимическая пьеса в восьми действиях с элементами эротики, насилия и неполиткорректных высказываний.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Первый препод
Второй препод
Свирепая тетка
Голушкина
Пьяный Саша
Случайный прохожий
Проводница
Жена первого препода

131

*Вас назовут истребителями морали;
но вы лишь открыватели самих себя.*

Фридрих Ницше

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. ВСТРЕЧА

Вокзал, зал ожидания. **Первый препод**, сидя на скамье, кушает припасенный бутерброд. Покушав, вытирает пальцы о без того промасленную бумагу, в которую бутерброд был завернут. Комкает ее в руках, затем встает в поисках мусорного ведра, осматривательно прижимая к бедру кожаную сумку. Отыскав урну, метко бросает в нее комок, зевает, поднимает очи к табло с часами, едва заметно качает головой и выходит из зала. У выхода сталкивается со **вторым**

преподом. Он чуть младше первого, тоже с сумкой, смотрит на табло.

Первый препод. Э-э-э, Александр Викторович...

Второй препод. М-м-м, Виктор Александрович...

Здороваются настолько оживленно, насколько могут.

Первый препод (геморроидально). Прек-расно.

Второй препод. Вы тоже на поезд?

Первый препод. Да, Блюев — Старокопытск, э-э-э... четвертый вагон... место номер... номер...

Второй препод. Это и неважно. Отправление, м-м-м... 01.55... Мой на двадцать минут раньше...

Скучная пауза.

Первый препод. Видимо, тоже с командировочными у вас такая ситуация, раз приходится ехать так поздно.

Второй препод. Да-да, просто безобразие. Еле подписал бумаги. Больше чем на три дня рассчитывать не приходится. А это же (*подчеркивая слово*) научная конференция, как на таком можно вузу экономить? Ну так на нас ведь теперь экономят во всем.

Первый препод (геморроидально). Безоб-разие.

Скучная пауза.

Первый препод. Ну, зато здесь у них явно средства есть. Вчера банкет, конечно, был очень даже, э-э-э...

Наблюдательный зритель здесь может заметить по некоторой несвойственной классу наших героев лихорадочности, что обоих преподав мучит похмельный недуг, в просторечии известный как бодун. В ча-

стности, под влиянием посталкогольной жажды они часто сглатывают и характерно причмокивают.

Второй препод. Да, банкет... (*Выражает видом и интонацией уважение знающего человека.*) Бандюк вообще молодец, не скупится... С тех пор как перевели его в столицу... Очень помогает. Мне Новохруст рассказывал, что здесь у них в университете... м-м-м... на его помощи очень многое сейчас держится. Не забывает, помогает...

Первый препод (*геморроидально*). Прек-расно.

Пауза.

Первый препод. А э-э-э... Новохруст... Как там у него дела? Выходит уже на доктора?

Второй препод (*понижая голос*). Вы знаете, там с его докторской все не так просто. Говорят, что на самом верху... м-м-м... есть противники. Три человека, и Бандюк тоже.

Первый препод (*благоговейно и геморроидально*). Э-то серь-езно.

Второй препод. Он, конечно, сам виноват. Потому что вы знаете, характер.

Первый препод. Ха-рактер.

Пауза.

Второй препод. С докладом о ковариантных функторах — это же ваш аспирант выступал? Очень подготовленный. И доклад очень интересный.

Первый препод. Да, Дима Каканевич. Он вообще молодец, э-э-э... Очень серьезный парень. Кончил три года назад, и уже четырнадцать тезисов, шесть статей опубликованных, еще одна лежит в «Вестнике ЗасрГУ».

Второй препод (*бодрячком*). Ну, значит, можно уже защищаться!

Первый препод. Поста-раемся. Слышал, у вас, Александр Викторович, э-э-э... Лена Тонкошесова уже защитилась...

Свирепая тетка (злобно толкаясь). Нашли место. Стали тут на проходе. А людям не пройти.

Преподы опасливо пятятся наружу.

Второй препод (провожая взглядом свирепую тетку). М-м-м-да... м-м-м... Виктор Александрович, а что если нам пойти перекусить? Я знаю здесь рядом одну кафешку, там недорого... Стоит на берегу реки, кругом парк, очень красивое место, не то что этот шумный и пыльный вокзал.

Первый препод (геморроидально). Прек-расно.

Выходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. КАФЕ

Кафешка, где недорого, скорее даже ресторан, довольно обширная, но почти безлюдная, как часто бывает в провинции. Игрет музыка, некоторые пары танцуют. Преподы за столиком; посреди него графин с изрядно отпитой водкой. Закуска весьма скромна. Первый препод значительно покраснел, что не следует приписывать исключительно геморрою, и приобрел трагическое, горестное выражение лица. Второй препод, напротив, имеет выражение веселое и даже несколько блаженное.

За соседним столиком сидят **Голушкина** и **пьяный Саша**. Голушкина — развязная девица, толстогубая, задастая и грудастая, с очевидным интересом прислушивается к преподам. Саша сильно пьян, она серьезно навеселе. Саша острижен под машинку, как любят стричься простые парни; однако, хотя во взгляде его мало интеллекта, и это обусловлено не только нынешним его состоянием, — он явно непрост.

Саша не по-простому худ и имеет не по-простому нервный вид; даже носом над столом он клует нервно.

Второй препод. ...Это, конечно, позор. Когда кандидат наук, доцент, получает в два раза меньше полицейского. Или вот, м-м-м... на даче ставил новую дверь — и рабочий запрашивает за это треть моей зарплаты. Но люди как-то устраиваются.

Первый препод. Устраиваются.

Зевает, заражая зевотой второго препода.

Второй препод. Но вообще, конечно, тяжело.

Первый препод. Тяже-ло (*мрачнеет*).

Саша окончательно погрузился в сон, упав головой на стол. Голушкина встает и подходит к столику преподав, вилля задом не только из соображений эротизма, но и по причине алкогольного опьянения.

Голушкина (*второму преподу*). Здравсте, Виктор Александрович!

Второй препод. М-м-м, девушка, Виктор Александрович вот сидит, я Александр Викторович.

Голушкина долго и заливисто смеется, искренне веселясь и тряся бюстом. Преподы несколько фраппированы и чувствуют себя неловко.

Голушкина (*отсмеявшись и с трудом переводя дух*). Ну конечно — Александр Викторович! Надо же, сколько училась — все время путала, и вот настоящий Виктор Александрович объявился! Александр Викторович, а вы меня узнаете?

Второй препод (*удивленно, с неловкостью в голосе*). Голышкина?

Голушкина. Вы меня вспомнили!

Снова продолжительно хохочет.

Второй препод. М-м-м, конечно, конечно. Много времени прошло, да. Где вы теперь работаете? Это, наверное *(кивает головой в сторону пьяного Саши)*, ваш муж?

Голушкина *(подсаживаясь за столик; первому преподу, не обращая внимания на вопрос второго).* Александр Викторович был мой любимый преподаватель! *(Прыскает.)*

Первый препод *(геморроидально).* Прек-расно.

Голушкина. Мы, студенты, его очень любили! А он меня обижал. Тройку поставил на экзамене.

Первый препод улыбается кисло и сочувственно, второй — с некоторой долей застенчивости.

Второй препод. Наверное, вы тогда недоучили...

Голушкина. А может, вы просто тогда не любили красивых девушек? *(Заливается смехом.)* А сейчас вы их любите? *(Смеется еще самозабвенней.)*

Второй препод. Ну почему же, как же, м-м-м...

Голушкина. Значит, я некрасивая! *(Гогочет так, что, кажется, вот-вот упадет со стула. Снова обращается к первому преподу.)* Как вы считаете, красивая или некрасивая?

Первый препод. Э-э-э... почему же, э-э-э... красивая, э-э-э...

Голушкина. Красивая Э! *(Помирает со смеху.)* Вы меня извините, но я у вас ненадолго украду Вик... ик! *(Нимало не смущаясь.)* Александра Викторовича. Александр Викторович, белый танец — дамы выбирают кавалеров! И никаких но!

Вытаскивает второго препода на танцплощадку. Исполняют медленный танец. Первый препод задумчиво наблюдает за ними.

Голушкина. Ой, я уже и не помню, как назывался ваш предмет!

Второй препод (по возможности изгибно, но более напряженно). Ай-ай-ай, что это вы так.

Голушкина. Зря вы тогда тройку мне поставили, да? Надо было вообще кол! (*Прыскает, утыкаясь второму преподу в плечо.*) Ваш предмет... (*Томно, прижимаясь ко второму преподу.*) Ваш предмет... Ваш предмет, Александр Викторович! (*Хохочет.*)

Второй препод. Вы в каком году кончали? В пятнадцатом? Я тогда читал...

Голушкина (как бы даже философски). В каком году я кончала? Вы на что-то намекаете, Александр Викторович?

Второй препод (честно). Что вы, Голушкина, я просто... м-м-м... пытаюсь вспомнить, что я тогда читал.

Голушкина. А я вот помню, что специально садилась на ваших лекциях за первую парту. Вы мне действительно очень нравились! А сейчас вы мне еще больше нравитесь, Александр Викторович: вы стали тако-ой толстый! Я все время сидела за первой партой, помните, и смотрела на вас! А после седьмой лекции вы попросили меня остаться и сделали мне замечание! Вы сказали, что у меня слишком, м-м-м, фривольная одежда. Но ведь на самом деле одежда как одежда, просто у меня была слишком большая грудь. Она и сейчас большая, да? Большая? Она вам нравится?

Второй препод (озадаченно). М-м-м...

Голушкина (заливаясь смехом). И сейчас не нравится! Что же мне с вами делать, Александр Викторович? А можно называть вас просто Саша?

Второй препод (пытаясь ввести разговор в более традиционное русло). Расскажите о себе. Чем вы сейчас... м-м-м... занимаетесь?

Голушкина (прижимаясь к преподу на грани танцевальных приличий). Ой, да какая разница, Саша! Ого! Кажется, я поняла, как мог называться ваш предмет. Он мог называться... (*Понижая голос.*) физика твердого тела! Значит, все-таки нравится, да, Саша? Хотите потрогать? Ведь хотите же?

Второй препод в возбуждении и смущении выкидывает немыслимое танцевальное па и на-тыкается на пьяного Сашу.

Пьяный Саша (*Голушкиной, мрачно*). Иди за стол.

Голушкина (*грубо*). Тебя не спросила, придурок. Испортил такой танец. Ну ладно, Саша, видите, другой Саша, мой личный Саша, нервничает. Было очень приятно! Спасибо.

Пьяный Саша меряет второго препода тяжелым, ненавидящим взглядом. Отходит, пошатываясь, вдвоем с Голушкиной, они садятся за стол, пьяный Саша тут же роняет на него голову и засыпает. Второй препод боком возвращается к первому, оправляя пиджак.

Первый препод (*как бы даже повеселев*). Интересная какая у вас студентка. Парень, конечно, у нее никакой, а вот сама она, э-э-э, очень даже...

Второй препод (*вытирая пот, озираясь*). М-м-м, молодежь, да... В пятнадцатом году кончала... Ну что, пойдёмте, наверное, потихоньку?

Первый препод. Ну, не торопитесь вы так, Александр Викторович! Да и куда нам торопиться? Я тут, пока вы танцевали, пиво заказал. Водка без пива — деньги на ветер! Так покойный академик Дупа говорил. Он и меня этому научил. Умел пить человек! И, э-э-э, как он пил! Четыре инфаркта, цирроз, левая рука отсохла, полуслепой, а вот, помнится, как зайду к нему по делам своим аспирантским, так он меня уже в коридоре спрашивает: «вы, Витя, э-э-э, беленькую с темным пивом будете или со светлым?» (*Подливает.*) Действительно, здесь все очень недорого, очень приличное место. (*Геморроидально.*) Прекрасно. В девяносто шестом году, тоже на конференции, в Дремове, коллега из Украины, профессор Пидсышок, привез вот такую бутылку спирта. Канистру! Чистейшего, как слеза.

Градусов, э-э-э, семьдесят, не меньше. И мы, помнится, прямо у него в номере, третий был Пуклер, под пиво ее уговорили. Закуски совсем никакой, время тяжеловатое было... Правда, назавтра, на секции, Пуклера не было. Весь день его рвало. Слабые они, евреи, хотя и живучие. Но мы-то с Пидсышком (*выпрямляется гордо*) славяне, мы и бровью не повели! Давайте за нас, славян!

Чокаются, выпивают.

Первый препод. А эта ваша э-э-э... студентка. Действительно очень такая из себя видная. Славянская такая женщина. Я вообще славянофил. Грудь и так далее... Как там у Пушкина? «Есть женщины в нашей деревне, в горящую избу войдут...» Коня на лугу остановят, что-то в этом роде. Покойный академик Дупа, когда еще в университете работал, он, знаете, по этим делам, э-э-э... Но один раз, рассказывали, был скандал: что-то он там такое принуждал вроде бы даже одну девицу, а она возьми да окажись племянницей секретаря райкома. Может, ему и говорили раньше об этом, а он по рассеянности забыл... Но насилу, конечно, все это замяли. Их поколение, фронтовиков, жить умело... мы с вами, откровенно говоря, живем скучно, очень скучно.

Все осторожность наша. Вот я вам честно скажу, Александр Викторович, — брал бы взятки, при такой зарплате грех не брать, но — боюсь! Посадить же могут! Дупа — тот не боялся, тот прямо говорил, чего и сколько! Я, говорит, старый партизан, заслуживаю, и — кто заслуживает, если не я? Дачу свою полностью отстроил, э-э-э... на взносы. У него тогда еще сын директора зоопарка учился! А уж академические какие были взносы!

И даже немножко упрекал меня, когда выпьет. Выпьет и упрекнет. Нальет, снова выпьет и еще раз упрекнет. Витя, говорит, э-э-э, не умеешь ты жить с размахом, и никогда не научишься. И правда что, не

научился. *(Опрокидывает залпом рюмку.)* Двухкомнатная квартира, жена, сын, внуки вот, может, скоро пойдут — а размаха нет! И уже не будет.

Второй препод *(приходя в себя, понимаяюще)*. М-м-мда. Но вы зря так грустно, Виктор Александрович. Все еще может измениться — в самый неожиданный момент...

Первый препод. Но мы-то сами, Саша, самое главное, мы, — мы-то, уже, пожалуй, не изменимся. Поздновато уже нам меняться, да и непонятно, куда, в какую сторону?

Второй препод поддается грусти первого. Продолжительное время сидят молча, затем он невнятно извиняется и выходит в уборную.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. УБОРНАЯ

Уборная. Второй препод уже сделал свое дело. Сейчас он стоит перед зеркалом возле умывальника, пустив воду, и пристально и умоляюще всматривается в свое отражение, как часто делают чувствительные люди в подпитии. В уборную заходит еще кто-то. Второй препод поворачивается к нему и вздрагивает: перед ним стоит Голушкина.

Голушкина *(вываливая на второго препода грудь)*. Ну, трогайте же. Вы же хотели.

Второй препод несколько мгновений стоит молча, затем тискает Голушкину так, что та взвизгивает.

Голушкина. Ой, больно так! Идем в кабинку, Саша.

Увлекает второго препода в самую дальнюю кабинку. Дверь закрывается, слышен звук защелки, приглушенное звучание и возня.

Голос второго препода (из-за двери, приглушенно). М-м-м.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. ПОСЛЕ УБОРНОЙ

Первый препода за столиком, красный, подливает себе водку в пиво. За соседним наконец просыпается пьяный Саша; угрюмо озирается по сторонам, встает и, пошатываясь, подходит к первому преподау.

Пьяный Саша (мрачно). Куда они пошли?

Первый препода (привычным строгим тоном, так, как если бы пьяный Саша стоял перед ним у доски). Что значит, э-э-э, они? Куда вышла ваша, э-э-э, подруга, я не знаю, а Александр Викторович вышел, э-э-э, покурить. Но это, молодой человек, вас никак не касается. Садитесь на место.

Пьяный Саша съеживается и послушно садится на свое место, роняет голову на стол и немедленно засыпает. На свое место наконец возвращается из уборной и второй препода. Он еще более красен, чем первый, но явно в приподнятом, вплоть до осовелости, состоянии духа.

Первый препода (сочувственно). Что-то долговато, э-э-э, вас не было. Не дай бог, как тогда с Пуклером... У вас евреев в роду не было?

Второй препода (с веселостью). Да вроде бы нет, Виктор Александрович, не случилось как-то... Зато прадедушка мой по маме, Ференц Карлович Раммштайн, немец. Очень справный хозяин был! Никого не боялся, ни начальства местного, ни односельчан, никого. Имел мельницу! А на мельнице имел, м-м-м... устраивал такие празднества, что поддеревни перепортил! Три буханки на завтрак съедал, м-м-м... Такой вот европейский был у него склад характера, цивилизованный, м-м-м, независимый. Тяжело, конечно, такому человеку здесь жить, в нашем-то болоте. Я сам на

прадедущку мало похож, я человек тихий, спокойный, действительно без размаха... но женщины, убеждаюсь, на меня тоже так живо реагируют.

Первый препод (*о своем*). Не знаю, что там насчет европейского характера, вы как хотите, но я славяно-фил. Академика Шафаревича читали? Белорус, кстати. Это, знаете, опасные вещи, все это масонство...

Второй препод. А давайте я еще пива закажу?

Первый препод (*оживляясь*). Вот это по-нашему, по-славянски!..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. БЕСЕДА

Пьяные преподы. Первый обнимает второго. Пьяный Саша с Голушкиной ушли.

Первый препод (*заплетающимся языком*). Вот теперь я вижу, м-м-м, что вы не масон!

Второй препод (*заплетающимся языком*). Вик — ик! Саньч, да какой я, э-э-э, масон, куда мне...

Синхронно встрепетываются, уставляясь друг на друга.

Первый препод (*неуверенно*). М-м-м...

Второй препод (*неуверенно*). Э-э-э...

Отрицательно качают головами.

Первый препод (*уверенней*). Э-э-э...

Второй препод (*уверенней*). М-м-м...

Первый препод (*геморроидально*). Прек-расно.

Утвердительно кивая, успокаиваются; но странный горячий огонь тлеет в их глазах.

Второй препод. А я, Викрльсанч, знаете, м-м-м... скоро уеду.

Первый препод. Куд-куда?

Второй препода (*капризно*). В Германию! Вот в Германию возьму и уеду. Один! К родственникам по м-м-м... материнской линии. К Раммштайнам. Они, правда, все здесь жили, тоже мне немцы, паньмашь. Нашли где... Но ведь не может быть, чтобы в Германии никого не осталось. Я сам по радио недавно слышал — выступали их немецкие однофамильцы. Может быть, даже родственники, очень дальние... Кстати, очень серьезная музыка. В Германии, Викрльсанч, не то что здесь, там мозги ценятся! Куплю мельницу, и буду, как прадедушка, водить девок. У них там тоже такие, знаете... огого!

Первый препода. Как у этой вашей, э-э-э...

Второй препода. Во-во! М-м-м... (*Озираясь.*) Ушла! Жалко. Вот таких, да. Надо будет пригласить на мельницу... Не забыть!

Первый препода. Мне кажется, Лсандрвктрч, с вашей, э-э-э... широкой, славянской душой — не приживетесь вы там! Мы — славяне, наше место здесь. Пуклер и тот уехал в Израиль — а через год вернулся. Не могу, говорит: кругом одни жидаы.

Второй препода (*горестно*). Какая уж тут широкая душа, Викрльсанч! Вы же сами сказали: нет размаха! Нет!

Первый препода. Нет раз-маха.

Второй препода. Никому не говорил об этом, Викрльсанч! И сам сегодня в первый раз задумался — вот, скажем, пятница: лекция, деканат, совет факультета, собрание кураторов, потом еще заседание у проректора по воспитательной части, а размах? Где размах? Нету же его!

Первый препода (*торжественно*). А знаете что я вам, Лсандрвктрч, скажу? Размаха-то действительно нету, но его же *нету* не где, а у кого? Нету у вас, нету у меня, понимаете? От такого, дорогой вы мой человек, в Германию не убежишь! От *отсутствия*, знаете ли! Вот ваш этот дедушка, э-э-э... вольный каменщик... Вы же сами говорите, жил здесь, и мельницу здесь построил... Или даже академик Дупа. Между на-

ми, порядочная был скотина, грязный, как свинья, и тупой как колода, да и в моментах Маркова вообще ни хрена ни петрил: все за него писали, что там, я сам писал — а вот был же размах? Нет, здесь не бежать надо!..

Второй препод (*вытаращив глаза, шепотом; открыв для себя величайшую тайну*). Надо не бежать, если нету, надо... *взять!*

Первый препод (*торжественно и геморроидально, как бы ставя за ответ высокую оценку*). Прекрасно.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. В ЛУННОМ СВЕТЕ

Полная луна. Преподы выходят из кафе и в ее свете кажутся безумными. Проходят в молчании несколько шагов.

Первый препод. Э-э-э, Александр Викторович, как-то не подумал я: надо... э-э-э... отлить.

Второй препод. М-м-м... можем вернуться? Там есть (*с нотками романтики в голосе*) туалет; да! туалет...

Первый препод. Э-э-э, не стоит, я сейчас побыстрому, в кустики... Вы только, э-э-э, сумку подержите.

Отдает второму преподу свою сумку и исчезает в кустах. Второй препод стоит на дорожке в лунном свете с двумя сумками в руках, мечтательно. Внезапно с боковой дорожки выскакивает пьяный Саша; в руке его сверкает острый нож.

Пьяный Саша (*мрачно*). Что, гад, не ждал?

Второй препод. М-м-м... молодой человек...

Пьяный Саша. Все, загашен. Ты не на то позарился, ясно тебе? Становись на колени и молись, гамон тебе.

Делает угрожающий жест ножом. Однако из кустов столь же внезапно, как появился на сцене сам Саша, на него набрасывается первый препод. Схватка в несколько секунд — и Саша, находясь под воздействием алкогольных паров и массы первого препода, случайно закалывает сам себя в живот.

Второй препод (становясь на колени перед распростертым телом Саши). Господи!

Препода безмолвно смотрят друг на друга с первым преподам в свете полной луны, и что-то неумолимо меняется в их обликах.

Первый препод (застегивая ширинку; глухо). Надо убраться... э-э-э... с дороги... Увидят...

Второй препод наклоняется ближе к Саше.

Пьяный Саша (стремительно трезвея). Су-ка...

Второй препод. Умер!

Первый препод (глухо). Александр Викторович, надо убраться... э-э-э... тело. Могут увидеть.

Суется, возьмется с телом. Из глубины парка, снова-таки внезапно, появляется Голушкина.

Голушкина. А, вот он где! Уже валяется. Полчаса, наверное, ищу его по всему парку. (Кокетливо.) Александр Викторович! Этот пьяница вас обижал?

Смотрит на рукоять ножа, торчащего из трупа пьяного Саши. Внезапно (в этом действии уже в четвертый раз внезапно!) все понимает и с ужасом переводит взгляд на преподав.

Голушкина (визжит).

Второй препод. Тише, тише! (Затыкает Голушкиной рот; та отбивается.) Голушкина, тише! Я кому

сказал — тише! (*Разъярившись, сворачивает Голушкиной шею, и та мгновенно затихает.*) О господи!

Первый препод (*глухо*). Александр Викторович, э-э-э... это тоже надо убрать, как можно быстрее...

Второй препод (*потрясенно*). Но я не хотел...

Первый препод (*глухо и злобно*). Александр Викторович, помогите мне!

Кое-как затаскивают тела в кусты и сами скрываются в кустах.

Второй препод. Но их нельзя... м-м-м... здесь оставлять?

Первый препод. Вы говорили, здесь, э-э-э... река?

Второй препод. Да, совсем недалеко.

Первый препод (*геморроидально*). Прек-расно.

Вновь безмолвно смотрят друг на друга. Свет полной луны еле пробивается сквозь кусты, но глаза преподав сами по себе светятся внутренним недобрым огнем.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. К РЕКЕ

Укромный уголок парка; преподавы, крихтя, волокут тела своих жертв.

Второй препод. А вы, м-м-м... уверены, что патруль уже прошел?

Первый препод. Уверен.

Второй препод. Сумки наши, м-м-м... в кустах... Как-то ненадежно мы их припрятали. В этом городе очень неблагоприятная криминогенная ситуация. Как бы не украли их.

Первый препод. Не украдут.

Второй препод (*отдуваясь*). Устал немного.

Первый препод. Тяжело-вато.

На дорожку в парке выходит случайный прохожий, неопрятного вида хромой старик. Повернувшись в сторону преподав, с удивлением наблюдает за ними.

Второй препод. Увидел!

Первый препод. Давайте я, наверное, возьму, э-э-э, этот нож, а вы заходите с той стороны. На раз-два-три: раз, два, три!

Бросая тела, бегут к старику. Слышен слабый его вскрик.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ. ПРОЩАНИЕ

Вокзал. Преподаы прощаются, очень душевно.

Первый препод. Ну, Александр Викторович, э-э-э... очень рад, очень рад был...

Второй препод. Очень приятно, м-м-м, было поговорить с вами, нечасто, знаете, с таким собеседником...

Первый препод. Очень приятно, действительно очень приятно, э-э-э, и мне тоже...

Трясут друг другу руки; подумав, даже лобызаются.

Второй препод. Как хорошо вы сказали: надо *взять*! Очень верно вы заметили: надо *взять*. Так, чтобы самому себе быть хозяином, безо всяких оглядок. Хозяином своей жизни.

Первый препод. Тут уж и не только своей; если взял, так взял, сколько взял, столько и взял. Тут, э-э-э, видите, в общем-то, очень просто...

Второй препод. Пора! Пора, Виктор Александрович, отходит уже мой поезд.

Первый препод. До встречи на следующей конференции!

Второй препод. Думаю, и раньше... м-м-м... увидимся. Очень многое мы с вами не договорили.

Первый препод (геморроидально). Прек-расно.

Второй препод заскакивает в поезд.

Действия седьмое и восьмое представляют собой альтернативный и необязательный вариант концовки.

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ. ПОЕЗД

Вагон. Второй препод заходит в свое купе. На его месте сидит свирепая тетка из первого действия с большой сумкой и огромным задом.

Второй препод (вежливо). Здравствуйте.

Свирепая тетка (не отвечая на приветствие). Вы, мужчина, конечно, уступите мне нижнюю полку.

148

Поезд трогается.

Второй препод. Да-да; м-м-м, то есть нет... То есть рядом ведь полка свободна. Мы же с вами вдвоем в купе.

Свирепая тетка (злобно). Ну да, среди ночи кто-нибудь зайдет на остановке и станет гонять пожилую женщину. Вот вы тогда туда и ложитесь.

Второй препод (решительно и сердито). У меня по билету вот это место. Пересядьте, пожалуйста!

Свирепая тетка (пересаживаясь и перетаскивая огромный чемодан). Мужчины! Сильный пол. Пфу!

*Второй препод подчеркнуто отстраненно смотрит в окно. В купе заходит **проводница**, проверяет билеты, приносит постель и уходит.*

Свирепая тетка (не унимаясь). Воспитанные! «Здравствуйте», «До свидания». А как пожилой женщи-

не уступить место, так хамить. Вон, посадил свою задницу. Сам-то — руки белые, морда красная, кровь с молоком...

На слове «кровь» второй препод поворачивается к тетке.

Свиная тетка (злобно). Что палишься? Стыдно было бы в глаза смотреть. Выкормили таких на свою голову...

Второй препод вскакивает и что есть силы ударяет свиную тетку в лицо. Та без сознания сваливается на пол. Второй препод пытается свернуть ей шею, так, как он это сделал с Голушкиной, но шея слишком толстая, и у него это не получается. Тогда он вынимает из брюк ремень, удушает им тетку и запихивает труп к себе под полку, долго трамбуя его. Вставляет ремень назад в брюки, открывает окно, затем тетку сумку, и задумчиво пускает один за другим по ветру содержащиеся там предметы, включая упаковку сырков, хлеб с котлетами и фланелевый халат. Затем аккуратно расстилает постель, ложится на нее и засыпает.

ДЕЙСТВИЕ ВОСЬМОЕ. ДОМА

Дом первого препода. В дверь звонят. Жена первого препода, шаркая тапками, идет открывать дверь. На пороге стоит собственно первый препод со своим багажом.

Жена первого препода (зевая). А-а, привет. Ну как съездил?

Первый препод (геморроидально). Прекрасно.

Жена первого препода. Ну и хорошо. Пошли на кухню. (Проходят.) Значит так: вот тут борщ, его надо подогреть (зажигает огонь под борщом на плите),

здесь мясо с гречневой кашей, еще теплые. (*Ставит на стол.*) Ладно, ты ешь, у меня тут сериал.

Уходит, шаркая тапками. Первый препод некоторое время сидит за столом, задумчиво глядя на полуостывшее блюдо. Затем подходит к своей сумке, достает оттуда нож пьяного Саши и решительно направляется в зал.

Крик жены первого препода (*из зала*). А-А-А-А-А-А-А-А!

Занавес. Оркестр играет Вагнера.

Нелли Цымбаленко
**ПОХОРОНЫ КОЗЛА,
ИЛИ КАК ТЕБЕ
МОИ КОЖАНЫЕ РЕЙТУЗЫ**

Действующие лица

Свирид
Режиссер
Актеры
Бутафор
Козел Свирида
Санитары

Действие 1

151

За несколько дней до премьеры.

Свирид сидит спиной к зрителям. Перед ним небольшой шкафчик, на котором стоит маленький бюстик Афродиты, а рядом — иконка с Христом.

На первый взгляд, Свирид кажется вполне разумным. У него выражение лица, которое бывает, когда необходимо освоить очень важную новость.

В левом углу сцены, освещенном теплым светом, в небольшом загоне, огороженном миниатюрным зубчатым заборчиком, стоит козел Свирида.

Козел выглядит послушным. Каждый день он наблюдает за человеческими фигурами, совершающими перед ним множество механических действий, а затем растворяющихся в пространстве для того, чтобы на смену им пришли фигуры новые.

Смакующий новость Свирид понимает, что без подвоха в ней не обошлось. Это тотчас же проступает на его лице.

Между тем подготовка к постановке идет своим чередом. У сцены режиссер и несколько актеров.

Режиссер (окруженный актерами, улыбаясь). В 17-ом году у меня был приятель. Он рассказал о своем воронежском друге, который сошел с ума. Посреди ночи этот прекрасный друг побежал к наглухо заколоченной церкви. Стучался, просил впустить его. Бежал через поле, все ноги были изодраны, штаны изорваны.

Не обретший благословения друг явился к моему приятелю посреди ночи, рухнул в его сени. С ухмылкой указал на свои изодранные ноги и спросил: Как тебе мои кожаные рейтузы?

Все смеются. У режиссера громкий залиvistый смех.

152

Свирид стоит у шкафа, пристально всматриваясь в Афродиту. Козел жуёт сено и смотрит на него. Свирид открывает шкаф и достает из него сборник русских народных сказов, садится на корточках у загончика, посмотрев содержание, открывает нужную страницу, немного пролистывает и начинает читать.

Свирид. “Вот через некоторое время козел захворал и издох. Стал старик советоваться со старухой, что делать:

— Коли выбросить козла собакам, так нам за это будет богом и людьми грешно, потому что все счастье наше мы через козла получили. А лучше пойду я к попу и попрошу похоронить козла по-христиански, как и других покойников хоронят.

Собрался старик, пришел к попу и кланяется:

— Здравствуй, батюшка!

— Здорово, свет! Что скажешь?

— А вот, батюшка, пришел к твоей милости с просьбою, у меня на дому случилось большое несчастье: козел помер. Пришел звать тебя на похороны.

Как услышал поп такие речи, крепко рассердился, схватил старика за бороду и ну таскать по избе.

— Ах ты, окаянной, что выдумал — вонючего козла хоронить!

— Да ведь этот козел, батюшка, был совсем-таки православной; он отказал тебе двести рублей.

— Послушай, старый хрен! — сказал поп. — Я тебя не за то бью, что зовешь козла хоронить, а зачем ты по сю пору не дал мне знать о его кончине: может, он у тебя уже давно помер.

Взял поп с мужика двести рублей и говорит:

— Ну, ступай же скорее к отцу дьякону, скажи, чтобы приготовился, сейчас пойдем козла хоронить”.

Свирид смеется.

У Свирида глухой едкий смех, который прерывает бутафор, с грохотом расставляя декорации, Свирид с улыбкой переводит взгляд на него. Возле шкафа устанавливают часы, которые оказываются слишком массивными. Часы здорово задевают шкаф, иконка и Афродита пошатываются, меняя свое расположение относительно друг друга.

Козел, испугавшись грохота, поднимается на задние ноги, громко опускаясь на передние.

Режиссер. Что там? Идиот! Не туда часы ставишь! Давай разнеси мне всю сцену!

Свирид (рассматривая Афродиту, задумчиво к зрителю). В дортуаре, перед сном, мы читали вместе молитвы. Воспитательница, со страстью свиноматки, собирала нас на эти немые хоры. Мы не смели смотреть на нее, пока она произносила чарующие неопытное сознание строки; лишенные хорошего воображения, мы сильно во все верили. Мне всегда хотелось читать вместе с ней, произнося в унисон каждое слово.

Но стоило мне попытаться так сделать, как я был жестоко наказан. Говорить могла только эта свинья.

Я где-то слышал, что оргазм свиньи длится восемь часов. Если учесть плодовитость этой твари, она пребывает в блаженстве всю жизнь. У такой нет нужды молиться.

У козла Свирида на холке встает дыбом шерсть. Свирид заботливо гладит его.

Режиссер (актерам). Все сидели за столом. Я не помню, какой у него был диагноз, что-то вроде биполярного расстройства. Самое важное здесь то, что в карты с ним играл эпилептик. Ну и другие, тоже пациенты. И каждый раз, когда моему приятелю везло, у эпилептика случался приступ, и все карты сметало со стола. Так было каждый раз, да.

Смеются.

154

Свирид subtilen, на нем черные водолазка и брюки. Он не то чтобы красив, но однозначно выразителен.

У бутафора же настолько непримечательные, невыразительные черты, что их словно и нет на лице, которое, при беглом взгляде, кажется сплошным белым пятном. Больше ничего не видно.

Свирид (обращаясь к бутафору). Ты откуда здесь взялся?

Бутафор. Я из Кыштыма.

Свирид (прищурив глаза). Отгадаешь, что это такое? (Протягивает бутафору фотографию.)

Бутафор. Я не знаю...

Свирид (спокойно, но недовольно). Это мое ухо.

Бутафор. Может, и ухо.

Свирид. Да, именно, ухо. (Взглянув на фотографию еще раз.) Просто необычное. И что там в Ишиме?

Режиссер (*услышав разговор, подходит*). Ну что — разжег любопытство? И как теперь намерен продолжать?

Свирид (*не слушая, бутафору*). И что там в Иши-ме?

Бутафор. Кыштыме. Это ближе.

Свирид. Ну надо же. И что же там — где ближе?

Бутафор. Там икотки.

Свирид. Икотки?

Бутафор. Это такие маленькие существа, которые вселяются в других, чтобы говорить.

Свирид. Занимательно. И как удобно. Костюм-невидимка. Потрясающий цинизм. Кажется, я восхищен.

Режиссер (*посмотрев на фотографию в руках Свирида*). Думаешь, только у тебя такое нелепое ухо?

Свирид. А что — у вас тоже такое?

Режиссер (*с ухмылкой*). Нет.

Свирид. Хотите сказать, что мы с вами совсем не похожи?

155

В этот момент Бутафор берет кресло и пытается пристроить его у шкафа, снова поднимается грохот.

Режиссер (*подбегая к нему, машет руками*). Что ты творишь?

Свирид. У него же лица нет. Не видите? Как он может расставлять мебель? Вот (*показывая на бутафора*) — сплошное белое пятно.

Режиссер (*разглядывая, но невнимательно*). Это ужасно. Ужасно...

За сценой слышен глухой стук в двери, разговор и мерные шаги. Через сцену проходят санитары с носилками, на которых лежит что-то очевидно тяжелое, прикрытое белыми покрывалами. Слышно глухое хрипление. Санитары идут неспешно, замедленно, пе-

ред ними пробегает вперед человек, указывающий на выход. «Вот туда, туда проходите», — говорит он.

Режиссер. Что там?

Бутафор приподнимает одно покрывало, но ничего не говорит.

Режиссер. Это люди? (*Подбегает к бутафору и заглядывает под покрывало.*) Это омерзительно.

Из-под покрывал слышно сопение и тяжелое дыхание.

Дверь за санитарями закрывает звавший их человек, и сам исчезает за ней. Пока дверь закрывалась, за сценой был слышен гудок поезда и крики: Пошли! Пошли!

Занавес

школа трупов

Александр Бренер **УМЕР ДЖОРДЖ СОРОС**

Тёмной ночью в своём загородном поместье под Нью-Йорком скончался знаменитый трейдер, финансист, филантроп, инвестор и создатель сети организаций, известных как „Фонд Сороса“, Джордж Сорос (наречённый при рождении Дьёрдем Шварцем). А всего-то годик назад (так, во всяком случае, кажется) он родился. Это произошло несмотря на часто высказываемые сомнения относительно целесообразности сохранения на Земле нации, снискавшей покровительство Господа Бога и неудовольствие человеческого рода: лёжа на покрытой алым шёлком постели, под балдахином с габсбургскими орлами, сжимая в руках толстые, потускневшие золотые нити покрывала, Эржебет Суц — жительница Будапешта тридцати пяти лет от роду, чудной прелести и воинской мощи — дала жизнь своему младшему сыну, еврею.

В такт автомобильным гудкам и лошадиному цоканью, раздававшимся снизу, с достоинством генерала, салютующего флагу, Эржебет вытолкнула из себя орущего младенца, откинулась на подушку и забылась в тревожном кошмаре. Ей снилось, что она родила не мальчика, а рыхлого старца с седыми волнистыми волосами и тяжёлыми мешками под глазами — миллиардера и денди, никогда не появлявшегося на людях без ленточки неопределённого ордена и ранга, красовавшейся в петлице, обшитой тонкой нитью. Маленький и пухлый, застенчиво-надменный, с небольшим, но кру-

тым животиком, образующим центр его фигуры и подчёркивающим выпуклость пуговиц на его белоснежной рубашке — таким представился будущий Сорос своей измождённой матери в день своего рождения. У него было не брюхо, а какой-то сверхъестественный выгиб, покруче треснувшего от непомерной полноты астраханского арбуза — следствие невероятных амбиций, мясного пирога, бургонского и сбитых сливок.

Как и все люди, Джордж оказался странным. Осень, как никакое другое время года, навлекала на него воспоминания племенного свойства: «сезон тоски и ужаса» — так он именовал эту погоду. В это время его видели несущимся по проспекту Андраши не иначе, как со стиснутыми кулаками, из которых торчали два носовых платка чёрно-жёлтой окраски, вопиющие об указе 1468 года, выпущенном в Риме неким Пьетро Барбо и требующем, чтобы племя Джорджа бежало по Корсо с витыми верёвками на шее на потеху христианскому люду, а благородные матроны со спинами слишком одеревенелыми, чтобы расслабиться хоть на минуту, вставали на цыпочки и, вместе с облачёнными в багрец кардиналами и чернорубашечниками Муссолини, хлопали в ладоши с холодным и одновременно истерическим самозабвением, свойственным только счастливым, благородным и несправедливым, а сам Римский Папа низвергался из своих небесных владений с хохотом человека, отвергнувшего серафимов, дабы совокупиться с Вавилонской Блаудницей. Это воспоминание пробуждало в Джордже (так некоторые цветы пробуждают в себе экстаз аромата не раньше, чем увянут) полную гамму того, что именуется „евреем“. Он шёл — раскалённый, опрометчивый и окаянный, с набрякшими веками, трепещущими над шарообразными глазами, почерневший от боли, вызванной участием в этом кошмаре, который и четыре века спустя превращал его в отщепенца, ощущая в своём горле эхо вопля, пронёсшегося тогда над Piazza Mon-

tanara: „ROBA VECCHIA!“ — унижение, благодаря которому его народ выжил.

В шестьдесят два года, когда он обрушил английскую валюту и стал всемирно известным аферистом, Джордж из собственной плоти вырезал сердце своего проекта: кровоточащее, обнажённое, мясистое сердце, поглощённое лишь самим собой и тем безоглядным стремлением к богатству, которое заставляет падать на колени любое тело, сражённое видением Золотого Тельца, словно великим жаром Сахары. Это больное, несчастное и жгучее сердце-обличитель сделало маленького Дьёрдя отягчённым непозволительной ношей: обустройством всех — больших и малых — гешефтов на этой планете.

Джордж жил, как живут все евреи, случаем или выбором отрезанные от Иерусалима: окружённый чужаками, создавая в своём воображение несуществующее племя. Когда еврей умирает на христианском ложе, он умирает пронзённым. Домочадцы Джорджа, забыв собственные жизненные муки, рыдали над отверженным миллиардером. Но тело его уже превратилось в преграду для всех живущих, и малыш Дьёрдь покоился за этой посмертной Стеной Плача — одинокий и смятенный. В жизни он делал всё, чтобы преодолеть невозможную пропасть: его самой печальной и безнадежной идеей была претензия на мировое господство. Он разорял страны и народы; он говорил, что происходит из древнего, потерянного Израилева колена; он приводил причудливые и малоубедительные доказательства своей избранности: двенадцать родинок в форме восьмёрки — прямо под левым соском, всегда набухшим.

Он пытался следовать капиталистическому вращению этой планеты, подражая её гусиному ходу в космическом пространстве, хотя в его исполнении эта поступь становилась неловкой и смехотворной. Ему хотелось вознаградить Землю за своё появление на ней — вознаградить ответной любовью, но чуя в любви нечто кощунственное и чужое, он с благодарностью прини-

мал удары ненавидевших его масс и их боссов. Сорос верил всему, что о нём говорили, даже тому, что он завтракает пупками христианских младенцев, а ужинает их пятками в сметане. Не раз задаваясь вопросом: „Что же всё-таки со мной происходит?“ — он упорно не находил ответа.

Он принуждал себя славословить малых сего мира (художников, учёных и беллетристов), выдавливая из горла комплименты подобно струе фонтана, прижатой пальцем. С показной сердечностью хохотал он в присутствии этих униженных и оскорбленных, желая убедить их в своём расположении и понимании их творческих притязаний. Сталкиваясь с самым страшным на свете — с гэдзушником-евреем в скрипящей коже, с дыханием, пропитанным вином и луком, Джордж трясся мелкой незримой дрожью. Он сознавал, что ему никогда не удастся иметь такую же наглую осанку, такую же цепкость рук, такую же подлую хватку, в которой мировое злодейство редуцировалось до кукольного театра. И, разумеется, он боялся госпожу Терешкову, ибо она была женщиной безупречной, первозданной, пышногрудой и высокомерной. Глядя на эту пару — гэдэшника и космонавтку — Джордж не знал, от кого он получит наибольшую взбучку за свои финансовые выкрутасы — от бабы или её мужлана.

Он был влюблён в прошедшую гиюр Мадонну. Когда она пела и плясала, сильно на взводе, эстрадная сцена превращалась в поле для воинского манёвра: её каблучки стучали бойко и искусно; её плечи волновались, словно на них красовались золотые эполеты; поворот её головы напоминал часового, узревшего опасность. Да, Мадонна, в отличие от Джорджа, всегда была наготове. Если на свете существовал истинный шик, то она его воплощала, хотя внутри неё бушевала пустота и тревога. Сама того не сознавая, она всей душой желала, чтобы Сорос оказался польским или шведским аристократом. Она верила в это, как солдат верит в приказ командира. Но её сердце, которое она слишком мало ценила, подсказывало совсем иное.

Будапешт времён Дьёрдя Шварца предоставлял евреям не слишком много ремёсел, но он наловчился приторговывать домашней утварью, инкунабулами и пряностями из Самарканда, а при случае и обменом валюты. Дом Соросов — большой, громоздкий и мрачный — стал фантастическим музеем его карьерных галлюцинаций. Длинные рококошные залы были легкомысленно обставлены плюшем с позолотой и заполнены римскими обломками, белыми и лишёнными всякой связи: вот нога древнего бегуна, вот холодный бюст поражённой насмерть вакханки, вот слепые впадины старческих глаз (зрачки возникали и пропадали в зависимости от проникавшего в окна света). Громоздкая гостиная — вся из ореха. Над камином — впечатляющая копия щита Давида, рядом — австрийская двуглавая птица. Три массивных рояля громоздились на доставленных из Хорезма толстых коврах цвета драконьей крови. В кабинете помещались два стола из драгоценной багровой древесины (Сорос любил парные вещи и тройчатки). Столы украшали вбитые в их углы серебрянные штыри с головками льва, медведя, голубя и барана, а посреди столешниц — два штыря, изображавших пылающие солнца. Дизайн был задуман и осуществлён под наблюдением матери Джорджа и символизировал мощь рода Шварцев. Двери-окна (жест в сторону вольной Франции, по мысли Дьёрдя) выходили в парк и были задрапированы драгоценными тканями из Туниса, а венецианские ставни давали красноватую тень, столь ценимую знатоками восточного эротизма. На дубовых панелях над столами висели два больших, в полных рост, портрета: предполагаемые бабка и дед Джорджа. Изображённая леди была дородной самкой с яркими плутоватыми глазами и приоткрытым ртом-ракушкой. Пышные плечи её платья вздымались до ушных украшений, а голову покрывала кружевная косынка. Её одяние ниспадало прихотливыми складками на покрытую лютиками землю. Позади неё топорщились аравийские пальмы, а сама она словно ожидала явления Саваофа. Джентль-

мен (дед) сидел на коне военного вида. Он не то чтобы оседлал зверя, а скорее обнимал его своими толстыми бёдрами и циклопическим задом. Конь смахивал на гору мяса, но имел совсем тонкие ноги.

Вот это всё и формировало Джорджа со дня его рождения до девяноста годочков: предметы, превращённые в идеи. Поступь Вечного Жида — в каждом еврейском мальчишке. Еврей способен обнять всё и быть всюду, придя ниоткуда. Каждый раз, когда имя Сороса произносилось в радио-эфире или печаталось в газете, тысячи людей (журналистов, конспирологов, политиков, артистов) могли поклясться, что видели его час назад в ста разных странах одновременно. Но никто не пожал его руку.

Как и все его предки, Джордж считал себя мало-пригодным для жизни. Как он жил — на какие деньги — этого великий финансист не знал, как пёс иногда не знает свою породу. Ну а как он выучил семь языков и свободно владел ими — это никого на касалось. Многие помнили его лицо и фигуру, и почти у всех он вызывал недовольство. Сорос был крайне непопулярен, но его репутация опасного спекулянта обеспечила ему особый невольный кивок тех, кто, не желая видеть в своих ближних равных себе тварей, тем не менее кивают головой при встрече (как бы предчувствуя неминуемую смерть и полагая, что за её порогом может случиться повторное свиданье, от которого следует ждать любого подвоха). Такой поклон общепринят среди смертных.

Сорос был бледнее своего предка Адама, и ниже ростом. Его подбородок был свободен от волосяного покрова. Мясистый овал его лица свидетельствовал о меланхолии — неизлечимом недуге. Лишь одна деталь напоминала о его страстной праматери Еве: губы — чувственные, хотя и лишённые её пыла, придавленные к зубам — острым и костистым. Остальные черты были тяжеловаты: щёки, уши, веки; в одной глазной впадине помещалось искусно сделанное стеклянное око, тщетно ловившее солнце.

Обычно его видели без провожатых — на прогулке или в машине, в костюме как бы для банкета: чтобы соответствовать любому случаю в жизни, он одевался частично в вечерние, частично в дневные наряды.

Разнокалиберные страсти, обуревавшие его в жизни, змеиная кровь, бегущая в его жилах, пересечение тысячи немыслимых ситуаций — всё это сделало Сороса одиноким, напряжённым и оторопелым.

В конце концов эта оторопелость приняла форму старческой чокнутости на том, что именовалось им „старая добрая Европа“: аристократия, знать, дворянство, королевские семьи. Он называл имена, сопровождая их титулами, расставляя внушительные паузы и акценты. Его многословие по этому поводу было обременительным и бесплодным. С бешенством фанатика-лицемера он отслеживал провалы в собственной эрудиции и дотошно перебирал давно позабытые кости разных принцев и монархов (те, о ком часто вспоминают, тоже могут называться забытыми, конечно), прислушиваясь к шёпоту историков и прочих экспертов, которые могли бы выявить в нём шарлатана. Ему мнилось, что великое прошлое измельчавшей Европы может возродиться во всём своём блеске, если он склонится перед ним достаточно низко.

Восходы и закаты Солнца впечатляли Сороса так же, как маркиза де Сада волновали анусы матрон и мальчишек: апатично. Он воспитывал в себе бесчувственность многие годы, видя в ней высшую дворянскую добродетель. Но когда ему довелось узреть труп английской королевы (Дьёрдя пропустили в морг по особому распоряжению наследного принца Чарльза), то упал на колени, шепча „Ave Maria“. И с тех пор не произнёс больше ни слова.

Однако под самый конец покойный понял, что он вовсе не добрый англичанин, не европеец, не американец, не еврей, не империалист и не махинатор. И даже не Дьёрдь Шварц, не Джордж Сорос. Ему вдруг открылось, что он с самого рождения всей своей плотью и духом принадлежал к одному из кочевых племён

туарегов. Ну, конечно! Он просто перепутал потоки долларов с потоками песка и ветра. Он ошибочно принял лихорадочный экспорт-импорт капитала за ритмичное, сообразное со звёздами, передвижение вольных номадов. И тогда — в последнюю минуту — он захотел совершить переход из одного (обезвоженного) оазиса в другой (цветущий), чтобы дать передышку себе, своим козам и верблюдам. Он прикрыл лицо чёрно-жёлтым тагельмустом и поклялся, что больше его никто никогда не увидит. Он хотел встать и перекрасить тагельмуст из чёрно-жёлтого цвета в синий — цвет ночного неба над Азавадом. Ему показалось, что после этого он наконец полностью ощутит себя Абдусаттаром. В этот самый момент он ясно услышал стуки барабана в Томбукту.

Михаил Токарев
ПАПА, РОЛАН БАРТ ОПЯТЬ УМЕР

Социальная значимость темы, а именно, светлость вечеров осенних со всей прилагающейся таинственной прелестью, неясна для меня в полной мере. Если говорить точнее, точнее не менее, однако пока что не более, желательно, чтоб в самый раз. Меня попросили написать текст к юбилею Федора Ивановича Тютчева. Переутомленный тоскою желаний, я с интересом прочел статьи коллег своих на тему вышеозначенную. Коллеги, не подумавшие смолчать, коллеги, не подумавшие скрываться, были до крайности правы в своих суждениях. На мгновение я было собрался, пребывая в этом тихом свете гаснущего дня, присесть за свой письменный стол. Впрочем, окончательно еще не решил, вправе ли рассуждать о Федоре Ивановиче, о котором и так высказались в достаточной степени. Право слово, гениальные коллеги литераторы поведали о дальнем родстве поэта со Львом Толстым, о слабом здоровье, о знании немецкого, латыни, французского, о прочем, о прочем поведали. И недостойный их современник, иными словами, я, пожалуй, все же дерзнет написать сочиненье о Тютчеве, пожалуй, дерзнет. Автобиографична ли вещь твоя будет, то есть, сколь долго еще ты будешь рассуждать и хлопотать, ведь безумство, как ты помнишь, ищет, а глупость судит. О, не задавай мне никчемных вопросов, сиди себе там, на склоне лет, нежный какой выискался, люби, кого вздумается, суеверный идиот. Могу сказать кратко, данная вещичка автобиографична, словно Маугли Редьярда Киплинга, вскормленного волками Британ-

ского империализма, как некогда заметил обворожительный классик.

Начну так, великий русский писатель, но, позвоьте, неминуемо последует вопрос, в чем же великий. В таком случае я скажу, а великий он потому, что. И довольно об этом. Поводов может не быть вовсе. Поводы, по которым наши сограждане вынуждены становиться великими возникают, как правило, от недостатка любви в детстве. Как говаривал Ричард Рамирез: серийный убийца является результатом обстоятельств, и возникает он, как по рецепту: нищета, наркотики, насилие. Кто знает, быть может, мир не досчитался бы советской писательницы Этель Войнич, не голодай она в детстве, и не живя потом с дядюшкой, помешанным на укрощении пороков. Или, например, Максим Горький, которого нещадно пороли в отрочестве, написал бы он потом, если бы его нещадно не пороли в отрочестве, Детство, кто знает. Мне видится любопытной в этой связи рецензия Дарьи Ледневой, опубликованной в октябрьском номере журнала Знамя, в ней гражданка обсуждает мой роман «Плохие мальчики попадают в Сибирь», в частности, очаровательная барышня с длинными волнистыми волосами до самой попы утверждает, далее, конечно же, цитата ученой дамы. «Стрижка получилась не особенно выдающейся, до выдающегося, к примеру, филолога Владимира Проппа ей было далековато», — безусловно, оригинальное сравнение, и относящиеся к разным категориям «стрижка» и «Пропп» едва ли еще где-то окажутся столь тесно сплетены. Но это эксперимент на грани». Да будет вам, Дарья, известно, если бы не литература, я бы просидел во чреве матери своей не законные десять месяцев, что я там просидел, а все тринадцать. Лишь появилась возможность родиться и возвестить своим поэтическим первым словом на радость читателям, да здравствует свободное искусство, тут же ею воспользовался. Граней, а также границ в литературе, видится мне, нет вовсе. Для граней, а также границ существует конституционный, уголовный, любой другой кодекс.

Кто знает, быть может, не будь безграничной литературы я б сделался Александром Спесивцевым. Или же, столь похожим на покойного отца своего Михаилом Попковым из города детства Ангарск. Скажите, Дарья Леднева, хотелось бы вам, повстречаться с Александром Спесивцевым, думаю, нет. Пожалуй, начнем иным образом, поделикатней что ли, потоньше о Тютчеве.

Федор Иванович родился в Брянском уезде Орловской губернии в тысяча восемьсот третьем году. Мать его была племянницей полководца Римского-Корсакова, отец служил в Кремлевской экспедиции, ведал строительными и ремонтными работами в Кремле, сестра была игуменьей в монастыре. То есть семья не ютилась в малосемейке, что, безусловно, пошло не пользу будущему поэту, а также внештатному атташе Российской дипломатической миссии. Иначе говоря, Федору Ивановичу не приходилось докуривать за кем-то хабарики, к тому же, в обучении в фазанке, хабзайке, проще говоря, в ПТУ замечен поэт не был. Однако был замечен на словесном отделении в императорском университете. А, например, кухаркиных детей даже в гимназии в те времена не пущали. Мы видим, мы отчетливо видим, Федор Иванович, некогда почувствовавший в душном воздухе молчанье, как предчувствие грозы, имел приличное образование. И не сдавал он бутылки, и не торговал трусами в минус пятнадцать на шанхайке. А жизнь его складывалась весьма удачным образом. Впрочем, ложить с прибором хотели мои современники на разного рода университеты. Ведь не имели же высшего образования такие выдающиеся писатели: Эрнест Хемингуэй, Рэй Брэдбери, Иван Бунин, Джек Лондон, Астрид Линдгрен. И ведь это не помешало им стать инженерами человеческих уш, ни в коей мере не помешало.

Мое филологическое усилие, столь необходимое для статьи о Федоре Ивановиче Тютчеве объемом в семь тысяч знаков, было, если можно так выразиться, вяленьким. Я возжелал фенибут, столь нужный мне в

случаях, когда пишу о наших с вами великих поэтах. В прихожей, в своей леопардовой шубе, из внутреннего кармана, вытащил кошелек. В нем были, к примеру, рецепт на рисперидон четырех миллиграммовый, на сто миллиграммовый клозапин, и на фенибут нашелся рецепт, даже не сомневайтесь. Помимо прочего там наличествовал, в моем кошельке, сложенный вчетверо листик, некий ответ от неких редакторов, распечатанный на принтере, сохраненный по причине глубоко личной. Приведший на рассвете октября меня, можно сказать, в восторг, демонстрирую его вам целиком, без цензуры. «Дорогой Михаил, простите, что на Ваши две подборки — августа и сентября — отвечаем только сейчас: безусловно, наша вина, что так затянули. Благодарим за такое долгое ожидание и за присланные материалы. Вы знаете, ситуация, наверно, та же, что и в прошлый раз: стихи несомненно хорошие, узнаваемые, с очень интересными местами, на которых останавливаешься при чтении, замечаете их — но пока, наверно, не совсем «наши» все равно, не по качеству, а именно по эстетической направленности. Всегда жалко неоднократно отказывать хорошему автору по таким причинам — но, наверно, тут у каждого журнала есть своя неизбежная «вкусовщина», поэтому у нас и много журналов, что безусловно хорошо. Но мы не против и дальше Вас читать — а кто знает, может быть, в какой-то момент мы эстетически и сойдемся? Поэтому если Вам будет хотеться присылать — присылайте и дальше, как мы и договаривались, а с нас в любом случае внимательное прочтение».

Вертавшись к письменному столу своему, со смущением взглянул на получившееся. Бог ты мой, я совершенно не умещаюсь в семь тысяч знаков, обозначенных Новым миром, надо бы резаться, надо бы худеть. Но прежде, не сходить ли в аптеку, конечно, сходи, проветришься, дружок.

Сцена, декорации аптеки. Рьяный конь, морской конь с бледно-зеленой гривой на вывеске, однако, если

прищуриться, то станет ясно, это все-таки зеленая чаща Гигиен со змеей. Притихшая аптека, своей надменной силой привлекала гениальных жителей района. Вот и сейчас в ней двое, бабушка Аделаида, да Миша Токарев.

Бабушка, у ней на носу родимое пятнышко-чернослив, из которого торчит ровно два волоска, она почти кричит в окошко: Что значит, феназепам по спецрецепту, я призываю вас расшифровать!

Фармацевт, мужчина средних лет, в круглых очках в черепаховой оправе, чеховская борода клинышком: Согласно постановлению номер тысяча четыреста девяносто пять, а также постановлению номер девятьсот шестьдесят четыре...

Бабушка вкрадчиво фармацевту: А ведь мой суицид признают самообороной, а вас, знаете, кем признают, вас признаю агрессором!

Фармацевт сардонически смеется, говорить с ним, что говорить с югославской стенкой, он лишь инструмент, на котором играют обстоятельства.

Бабушка, обращаясь к Токареву: Что-то происходит.

Токарев, глядя на пожилую женщину в зеленой куртке на рыбьем меху: Я могу седуksenчиком поделиться с вами, для дамы мне не жалко многих вещей, ведь, как говорят, говорят разное, впрочем, конкретно в этом случае имеют в виду, как правило, что-то конкретное, то есть в связи с членистоногостью, перепончатокрылостью говорят: жалко у пчелки.

Бабушка одобрительно: Какой вы совестливый молодой человек.

Токарев доверительно: А как же без этого, ведь я человек советский.

Бабушка с удивлением: В каком же вы месте советский, позвольте спросить, вам же лет двадцать семь.

Токарев, пожимая плечами, бабушке: Вы, как никогда правы, Аделаида, у меня еще лишний рецепт на атаракс имеется, будете?

Бабушка, как бы с презрением: Атаракс это великий обман, пустышка, кошка Шрёдингера, право слово.

Фармацевт, высунув голову из окошка: Аделаида Ивановна, будьте проще, позитивный настрой наше все.

Бабушка фармацевту с насмешкой: Ой, не вам говорить о моем, столь обсуждаемом нынче в обществе, позитивизме, моя симптоматика весьма позитивна, галлюцинации, бред, беспорядочно-половые мысли, знаете ли.

Токарев фармацевту интеллигентно: Будьте любезны, уважаемый, фенибут Усолье-Сибирский, минеральную водичку номер семнадцать.

Фармацевт выдает положенное, степенно принимает оплату.

Токарев стремглав употребляет, запивая минералкой. О том, употребляет ли он целиком так называемый матрас, или же не целиком, благоразумно умолчим.

Возвратившись за письменный стол, с выражением принялся перечитывать случившуюся статью о Федоре Ивановиче Тютчеве. Внезапно, как это порою бывает у натур взбалмошных, поводя умом своим, решил. А что если, поддавшись душевному Борею, рассказать глубоко интеллигентным читателям о моем, не случившемся некогда сыне, по случайности носящем имя Федор, удивительный мальчик у меня тогда не получился, Пушкин, а не мальчик, образно выражаясь. Трепетные абоненты, надо полагать, осведомлены, Федор Иванович ценил Александра Сергеевича. О, я бы не стал слепо верить поэту, и ты, дева, читающая ныне сей текст, не верь, не верь поэту, своим его ты не зови, а также пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви, однако моему не состоявшемуся сыну

поверить очень даже можно, он был не рожден, чтобы ему верили. Я решил рассказать о сыне своем Федоре. И рассказал.

Папа, Ролан Барт опять умер

Велеречивый говорун,
Споткнувшийся о русский мат
В детском дошкольном
Учреждении,
Мысленно поблагодарил
Создателя
За свое присутствие
В житейской кутерьме,
И что не депутат он,
И не издатель,
И не сидит еще в тюрьме.
Возроптавшая воспиталка,
Отвела меня к шкафчикам.
Что автор хотел этим сказать,
Спрашивает воспиталка,
Кивая на моего сына,
Вы знаете, говорю ей,
Мое маленькое
Литературное небытие,
Честно работающее на бытие,
Киваю на своего сына,
Способно само за себя ответить,
Вы знаете, смерть автора
И разные прочие обстоятельства
Дают мне право
Решительно промолчать.
И что же, взвизгнула,
Получается, мне с ним делать,
Получается, говорю,
Внимайте и внемлите,
Верно, наша жизнь не напрасна
В тени моего сына.
Но позвольте, может быть,

Он у вас либерал,
 Нет, говорю, вы ошибаетесь,
 Консервативен,
 Словно шрифт Times new roman,
 Просто он гениален.
 Вы, например, знаете
 Предложение, где содержатся
 Все буквы русского алфавита,
 Это-то здесь причем,
 Спрашивает воспиталка.
 Федя, говорю,
 Покажи ей данное предложение,
 И он талантливо отвечает:
 Съешь же ещё этих мягких
 Французских булок,
 Да выпей чаю.

Благопристойные дамы любят этот верлибр

Не совсем уверен,
 Или можно даже сказать,
 Уверен вполсилы,
 Иными словами,
 То есть по сути вопроса,
 Не касаясь, конечно,
 Обстоятельств,
 Приведших
 Карла фон Дреза
 С его социально значимым,
 Впрочем, концептуально
 Безликим, хотя и достойным
 Изобретением
 Так называемой лошади
 Для разных вот денди,
 Что изъясняются
 С присущей им тонкостью,
 С оттопыренным пальчиком,
 Конкретно мизинцем,
 На французском, а, впрочем,

Много ли нам языков
Пригодных для обитания
Оставили предки,
Чей характер созвучен
Кружевному белью
На подурневших телах
Таких-то домохозяек,
Ужель прочая речь,
Речь, скажем, армян,
Полудикая кошка,
Что царапает уши,
Ужель не достойна она
Восхищения,
Конечно, достойна,
К тому же, ритм,
Простите, организация речи,
Зачастую она лишена
Магической составляющей,
Вы помните, в библии
Говорят, поминать всуе,
А я говорю, все поэты,
И даже тот немец,
Чье творение, в общем,
В определенном значении
Благо.
Папа, твою мать, ты купишь мне
Велосипед, или не купишь?
Орет истошно мой сын,
В его возрасте я так же орал,
Боясь помереть в тишине.
Ну, конечно, куплю,
Мой миленький лилипут.

Товарищи, кто-нибудь поднимите этого уroda

Ах, если бы только
Колыхался во рту моем
Чудесный язык Юрия Казакова,
Язык большого писателя,
Чтоб обратившись к сыночку
Со всей, значит, нежностью
И сантиментами,
Доложить о потерях,
Чувстве вины, былых травмах,
Чтоб гуляя по лесу,
Вспомнилось и рассказалось
О прощании с арестованным папой,
И сынок мой, талантливый мальчик,
Проснувшись в минуты
Полуденного сна
От собственных слезок,
Был успокоен гласом отца своего,
Психически нестабильного,
Можно сказать, пограничника,
Что блюдет, нет, защищает
От чудищ, рожденных
Сном разума.
И сейчас, оступившись
В комнате ванной,
Сухарь сухарем внешне,
Но внутри,
Размоченный в молоке
Хлеб душистый,
Я лежу там, что пададь,
Воспетая когда-то Бодлером,
Среди рыжих пятен
Геля для душа,
Перебравший с диазепамом,
Лежу кверху пузом.
И сынок мой,
Средневековый романтик
По складу сознания,

По строению тела
Худой бегемотик,
Протянул свои руки ко мне,
Словно на птичьем он рынке,
Протянул свои руки
К последнему, должно быть,
Котенку,
Что у дедушки,
Смолящего вонючую Приму,
В теплой шапке ушанке
Лежит такой рыжий, голодный.
И я, конечно, встаю,
Не встать совершенно нечестно,
И еще умудряюсь подумать
Чьей-то цитатой:
Какой бы они были
Красивой парой,
Не случись войны.

Речь моего сына созвучна термоядерной бомбе

175

В горле моем дикий шиповник,
Ранящий сад мироздания,
Пророс,
В горле моем Дмитрий,
Играющий ножиком
В приступе эпилепсии,
Немножечко умер.
Чванливой походкой
Выхожу в коридор,
Озаренный шепотом мальчика,
Он спит и во сне бормочет,
В книгах, ночью закрытых,
Перепутались буквы,
Холодильника стук,
На лестничной клетке
Старуха с пакетами,
В них тоже стучат
Замерзшие кости,

Глаза нашей кошки,
Не к месту почившей,
Их красота так созвучна
Красоте некой Раав,
Блуднице Иерихонской,
Стучает форточка,
На улице громко везут
Ракеты на Кубу,
Вам ли не знать о теории струн,
И о пиликанье полуночном
За стенкой,
Ночью особая жизнь,
Спит мой сынок,
И во сне он лопочет,
Может ли он
Во сне так складно беседовать,
Кому-то рассказывать.
Ночесь нявгало,
Как будто бы кошка,
А то бы и кошка,
Чего же нам тоснуть,
Вовсюду тепериче
Неспокойно,
Побисёдовать не с кем,
В садик нельзя,
Там карантин,
Бывает, грустина навалится,
Когда капает дождь,
Сиверко гуляет,
Бывает, не навалится,
Ништо страшного,
Нонь осень,
Осенью пей витамины,
Зубрепной мой зуб
Позавчера выпал,
Велосипед подарил папочка,
Сказал, на долгую память.

*Произведение на свет
Александра Сергеевича Пушкина*

Предельно допустимая
Концентрация совершенства
На кубический сантиметр
Детского тела
Не означена вовсе,
Яркий пример тому
Мой ребенок.
Оранжевая, словно фанга,
Акушерка Любовь
По фамилии Зла,
Достававшая сына
В год прибавления Крыма,
В год перехода
На постоянное зимнее время,
В годину знакомства
Меня с кетamiном,
Воскликнула: надо же,
Какая прелесть
У вас получилась!
Отперев глаза свои
Редющей ночью,
Мой сын сообщает:
Действительность
Прошедшего времени,
Восстановленная воображением,
Несколько интересней
Протоколно засушенной
Моей пуповины,
Или пряди первых волос,
Сохраненных тобой, мой отец,
Вместе с биркой;
Кесарево сечение,
Федор, пятьдесят сантиметров,
Три тысячи грамм.
Он для меня вспоминает,
Как Любовь Зла

Поразилась:
До чего поэтично
Звучит ваш ребенок,
Только послушайте,
Это же натуральный Пушкин,
Семнадцать, тридцать,
Сорок восемь,
Сто сорок, десять,
Ноль один,
Сто двадцать шесть,
Сто тридцать восемь,
Сто сорок, три,
Пятьсот один!

Вадим Климов
НЕКРОЛОГИ

«Зачем оскорблять мертвецов, ведь им не больно?» — задавался вопросом Анри де Монтерлан. Мертвецов нельзя оскорбить — для этого они слишком мертвы. Однако нам постоянно твердят одни и те же банальности, отводящие любую критику от покойников. Как будто смерть отбирает не только жизнь, но и чужую память. Напрасно. Мы не настолько сентиментальны, чтобы сопровождать смерть других собственной амнезией. В том числе и о мертвых мы будем говорить все, что посчитаем нужным, даже если это кого-нибудь оскорбляет. «Кого-нибудь»... но не покойного — его уже ничто не в силах оскорбить. И все равно каждый раз находятся благожелатели, которые оскорбляются, когда оскорбляют покойного. Переживания подобных персон настолько грандиозны, что они готовы и сами лечь в могилу, дабы разделить унижение с трупом. Но ведь боль это атрибут исключительно живого, мертвецы ее не чувствуют. Им можно надавать пощечин, и это ничего для них не изменит. Вместо мертвых пощечины ощущают живые моралисты. Они затыкают любую критику тем самым покойником, которого с таким азартом охраняют. Его кусками замуровывают рот непочтительным хулителям, пользуясь тем, что покойники не чувствуют боли. Лишь затем, чтобы не дать воспользоваться их бесчувственностью своим недругам. Так кто, в таком случае, оскорбляет мертвецов?

1. Вторая жизнь Коли Герасимова

В промежутке между Третьяковской и Новокузнецкой, в одном из самых алкогольных уголков Москвы, меня всегда привлекал один персонаж, невероятно похожий на повзрослевшего Колю Герасимова, героя упоительного советского минисериала «Гостя из будущего».

В 1984 году отважный школьник Коля вступил в схватку с космическими пиратами, а тридцать лет спустя жалким умственно отсталым калекой побирается в Климентовском переулке, привязанный к местной церкви. Он всегда улыбается, но в этой улыбке нет ничего, кроме судороги.

Яркая и насыщенная, полная приключений жизнь в ретро-фантастической вселенной со звездолетами и машиной времени завершилась в пошлой современности — между Макдоналдсом и Шоколадницей. Унылый нищий настолько заворожил меня своим сходством с киногероем, что я решил узнать, как сложилась судьба его прототипа.

После «Гостя из будущего» Алексей Фомкин продолжил сниматься в кино, из-за чего школу окончил «со справкой». После армии устроился на стройку маляром, но ненадолго: отвлекли проблемы с алкоголем и наркотиками. Потом Алексей переехал во Владимирскую область, работал мельником, женился. Вместе с супругой прожил три года. Увлёкся эзотерикой и писал стихи. А 23 февраля 1996 года после празднования Дня защитника Отечества уснул в квартире, в которой случился пожар.

Вероятно, «Коля» из Климентовского переулката это и есть 26-летний Алексей Фомин, который не сгорел 23 февраля, а чудесным образом, доступным лишь эзотерическим поэтам, перенёсся в Москву и нестареющим симулякром собирает теперь милостыню.

Бедная, повредившаяся умом копия утраченного оригинала, заброшенная в совсем иное будущее.

2. Последний выдох Европы

*Наших кассиров грабят на дорогах;
У стариков средь бела дня
Вырывают сумки со сбережениями;
Наших молочно-белых дочерей бесчестят.
Куда ты идешь, Родина моя?
О Нидерланды, проснитесь!
Выкиньте это черное отребье:
Наша страна — для нас!
Вперед, к Белой Власти!³*

Это расистское стихотворение, озаглавленное «Для нашего наследия», как нельзя лучше вскрывает главную проблему европейского либерализма. Его автор — голландский алкоголик, гомосексуалист и фанатичный католик Герард Реве — собрал самые расхожие штампы антимигрантской риторики и объединил их в лаконичный манифест в девяти строчках.

Самое интересное в фигуре Реве — эклектика. Гомосексуализм и расизм. Как отчетливо различимо здесь магистральное направление современного либерализма, а именно защита меньшинств, распространяющаяся главным образом на сексуальных первертов и цветных иммигрантов.

Похоже, до сих пор никого не смущало то обстоятельство, что по мере разрастания двух этих групп они непременно перейдут к конфронтации. Исламский фундаменталист, ратующий за ношение паранджи, вряд ли нейтрально воспримет гей-парады. Это всем очевидно.

Европейский левый либерализм взрастил после Второй мировой войны две мощных общности, которых раньше не существовало: агрессивных иммигрантов и не менее агрессивных сексуальных первертов.

³ Перепечатано из книги Герарда Реве «Письма Симону К.» (Kolonna Publications, 2014). Перевод с нидерландского Ольги Гришиной.

Обе эти общности можно назвать детьми либерализма. Детьми, которым суждено стать смертельными врагами.

Когда они наконец вцепятся друг в друга, а это произойдет совсем скоро, гораздо раньше, чем вы можете вообразить, ни о каком либерализме больше не вспомнят. Некому будет вспоминать. Да и незачем.

Европу захватит новая война, по которой все так соскучились. Увлекательное противостояние двух человеческих версий, диаметрально противоположных, как бог и зверь.

Герард Реве предвосхитил грядущее сражение и заранее выбрал сторону, на которой будет воевать. Не столь важно, какую сторону он выбрал, гораздо важнее, что Реве нарушил пакт о ненападении между детьми либерализма.

Он — голландец, консерватор, католик и расист, но одновременно с этим он еще гомосексуалист, алкоголик и нарушитель общественного спокойствия, смутьян.

Юлиус Эвола, пройдя насыщенный жизненный цикл, пришел в конце концов к позиции аполитеи, правого анархизма. Герард Реве, судя по всему, забрался еще дальше. Сложно подобрать точную формулировку для обозначения его позиции.

Может быть, *правый авангардист?*..

— Вперед, к Белой Власти! — восклицает милый Герард, пряча в карман пиджака бутылку красного.

Европа... Словно в клаустрофобической картине Ларса фон Триера, мы погружаемся в ее гниющие язвы. Мы уже ощущаем приближение чего-то масштабного, грандиозного, что начнется без всяких объявлений и перевернет нашу жизнь с ног на голову.

Европа исчезнет. Но пока она еще здесь, с нами. Бум... бум... бум... бьется сердце Европы, напоминающее седую брюссельскую капусту. Бум... бум... бум... Цените момент. Кто знает, сколько это бум-бум продлится. Memento mori. Думайте о смерти Европы.

3. На смерть городской топологии

Московская общественность скорбит по разрушенной топологии. За ночь город лишился 97 архитектурных памятников. Варварски уничтожены торговые точки мелкого и среднего бизнеса. Без работы оставлены сотни, если не тысячи людей.

Москвичи так радовались, когда возводили все эти 97 торговых площадок. В подземных переходах, у станций метро и в прочих скоплениях культурного населения. Так пламенно рассуждали о том, сколько удобства таится в этих объектах и как они украшают нашу незатейливую столицу.

Но ликование москвичей скоропостижно скончалось во сне. Рыночное волшебство обратилось развалинами, оставив на сердце города глубокий незаживающий шрам.

Печально на душе, но нужно жить дальше. Даже без вереницы киосков в узкой подземной кишке. Без загроможденных площадей у метро. Без всего этого скопления красоты и удобства.

Что еще мы проглотим, сдерживая слезы? Они уже украли у нас рекламу со зданий в центре столицы. Уничтожили десятки тысяч великолепных киосков с продуктами первой необходимости. Закрыли на проверку несколько Макдоналдсов, этого транснационального символа добра и либерального питания. Ограничили нашу свободу покупать алкоголь по ночам.

Сложно даже представить, что готовит нам будущее. Пока лишь проступающее тревожной дымкой над задыхающейся родиной.

А вдруг эти гады распустят тюрьмы? От них всего можно ожидать. Сколько пенитенциарных заведений в России? Ах! Миллион вертухаев лишится работы. Их семьи будут обречены. А заключенные? Политзаключенные? Наконец нашедшие смысл и место жизни в спокойных казематах? Они всего этого лишатся под возмущенное клокотание столичной интеллигенции.

Допустим ли мы и это? Как допустили предшествующее насилие над нашей свободой? Мы уже отдали им рекламу, ларьки, ночной алкоголь и Макдональдс. Отдадим ли тюрьмы? Наши тюрьмы?

Или восстанем и начнем собирать интернет-подписи под заявлением на имя генерального прокурора Юрия Яковлевича Чайки? Прошу прекратить лишать меня конституционной свободы, дарованной мне в тюрьме статьями #p, #a, #б...

4. Постодномерный человек: живой мертвец

Смотрю с умеренным интересом «Черное зеркало», от которого все в таком восторге. Общих чувств не разделяю, но местами любопытно. Актуальные проблемы, пропущенные через фантастический фильтр, поданы в предельно доступной форме. Так, что поймет даже женщина или собака.

Однако фантастика затрагивает исключительно технологическую сторону, все остальное — и прежде всего сами персонажи — остаются прежними. Как будто человек это такой инвариант истории — все течет, все меняется, кроме него.

Что, разумеется, не так. Огромное влияние на человека оказывает окружение, те условия, в которых происходит его становление, и те отношения, в которых он оказывается во взрослом состоянии. Есть даже мнение, что нет никакого человека самого по себе, есть лишь клубок социальных диспозиций, которые и формируют ситуативную личность.

Дифференциация людей видна даже географически. Представители разных народов обладают разной ментальностью. Конечно, авангард западной цивилизации пытается сварганить универсального офисного гомункула, запрограммированного на «общечеловеческие» ценности в виде комфорта, счастья и безопасности, но успех этого проекта покрыл еще не всю планету.

«Черное зеркало» — это социальная фантастика, вскрывающая проблемы таких вот универсальных го-мункулов, не меняющихся со временем, всегда равных самим себе. Подозреваю, что именно этим обстоятельством сериал и снискал расположение публики. Которая, несмотря на все тренды, остается все такой же замшелой ксенофобкой: публика или боится всего отличного от нее (фобия), или безразлична (толерантность).

Проблемы, которые масса может воспринять, имеют исключительное к ней отношение. Все остальное размывается, расстраивается и выбрасывается за горизонт. Самим индивидом или с посторонней помощью того же психотерапевта.

Популярность «Черного зеркала» в России и вовсе очаровывает. Туземный «креативный класс» все еще одной ногой в национальной культуре (он в ней вырос), а другой — в пластиковой бутафории Европы. У русской матрешки разъезжаются ноги, она садится на шпагат и грезит окончательным превращением в европейца.

Подобная идиотия кажется мне искрометно прекрасной. Как если бы маленького мальчика спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. И он, вытирая руки о штанину, радостно признался, что хочет стать целлофановым пакетом. Вежливым и улыбчивым пакетом, живущим комфортной и безопасной счастливой жизнью.

Напоследок у него бы уточнили: с ручками или без?

5. Русский разрыв Стаса Курашева

В начале 2016-го года умер Станислав Курашев, автор первых 11 номеров «Опустошителя» за вычетом 10-го. Курашев входил в первое поколение опустошителей.

Опустим подробности смерти на больничной койке — они интересуют одних старух. Больница — не самое лучшее место для смерти поэта, хотя Станислав и при-

способил ее для жизни и, что еще более поразительно, для творчества. В #3 опубликован его больничный дневник, местами весьма забавный.

Со Станиславом я познакомился задолго до появления «Опустошителя» и очень ценил его, как писателя, нередко натываясь на недоумение со стороны окружения. В Курашеве в наиболее полной мере реализовался излюбленный русский разрыв между талантом и признанием. Буквально самый недооцененный литературный талант наших дней, проживший в полной провинциальной безвестности.

Я всегда крайне терпимо относился к критике со стороны Стаса, но под конец нашего общения она приобрела характер самоизъятия. Что-то в моей деятельности его круто не устраивало, и Стас пытался вычленил себя из неудобного контекста. После того, как я (с объяснением причин) не взял его рассказ в #12, Станислав прислал мне такое письмо:

186

“Привет.

Просто наши пути кардинально разошлись даже не пути — мировоззрения.

Я остался честным нищим поэтом, ты же из неплохого парня и не такого уж плохого писателя превратился черт знает во что — издателя плохих книг и автора идиотских перформансов совершенно убогих по своему смыслу.

К тому же твое ЧСВ повысилось до предела.

Во всем, что ты делаешь, нет ничего живого, настоящего, все выходит мертворожденным из твоих рук.

Может, мой рассказ и плох, но поверь, он будет лучше всего напечатанного в журнале.

Как и рецензия на Вяткина лучше всех вместе взятых рецензий на этого графомана.

Ты сознательно уничтожал все живое в журнале, чтобы подогнать его под твое новое

мировоззрение; сначала пришла очередь Кривченко, теперь уже не будет и меня, и ты остаешься один — ты и легион графоманов.

«Опустошитель» мне не был нужен, сейчас же выяснилось, что «Опустошителю» не нужен я.

На этом можно поставить точку”.

После этого мы действительно прекратили общение. А жаль: в планах значилось даже издание его романа отдельной книгой. Правда, все права были давно проданы одному странному московскому издательству, но когда нас это останавливало.

В моей библиотеке присутствуют три книги Стаса, любовно им подписанные. Насколько я знаю, больше у Курашева ничего не выходило.

В отзыве на #11, посвященный смерти, поэт писал: «Хочу умереть в порту, под дождем. Играет саксофон, и на мое убийство выезжает детектив в плаще и шляпе, он устал и слишком стар для всего этого дерьма».

Увы, все вышло совсем не так.

6. Чудесное воскрешение Louis Vuitton: некролог без мертвеца

Скончался Патрик-Луи Виттон, руководитель дома моды Louis Vuitton. Новости в наши края доходят с опозданием. Я как раз отправился в собачью парикмахерскую подровнять своих лохматых чау-чау. Заходим — в зале ни одной собаки. Только странный пожилой мужчина на четвереньках, которого... стригут.

Я снимаю куртку, вешаю рядом с чьим-то пальто, замечая, что это не просто пальто, а Louis Vuitton. Затем прохожу с собаками в конец зала и объясняю парикмахеру особенности стрижки. Чау-чау внимательно рассматривают незнакомца на четвереньках.

Я тоже смотрю на него. Точнее, сначала на пальто рядом с моей курткой, а потом на его владельца. Louis Vuitton... Нечасто встретишь такую роскошь. Мы ведь

в эконо-парикмахерской для собак пенсионеров и студентов, а тут такое...

И наконец все сходится: мужчина на четвереньках, стригущийся в неподходящем месте, никто иной, как Патрик-Луи Виттон, уставший от дел, инициировавший собственную смерть, чтобы сбежать из Франции. Удобнее всего затеряться в России.

Вот он и затерялся где-то в Измайлово. Лишь бы подальше от надоедливой французской прессы и скучных парижских тряпичниц. Осточертело так, что готов был опуститься на четвереньки и завывать на луну. К счастью, в таком положении Патрика еще и стригут.

После знакомства он объяснил, что собирался прибарахлиться уже на месте, но не успел, решил сначала подстричься. Если бы не пальто на вешалке, его бы до сих пор никто не узнал. Ни одна собака. Чау-чау, кстати, тоже немедленно поняли, кто перед ними. Учужали модную марку класса люкс.

Добро пожаловать в Москву, Патрик-Луи. Уже без усов.

7. Преступления и наказание Анатолия Рясова

Вляпался Анатолий Рясов в одну историю...

Презентацию «С закрытым ртом», сборника хитроумных истязаний, наш разносторонний автор и увлеченный театрал обогрил самым настоящим убийством. Казнь прошла в молчаливом симбиозе нарочитой грубости и утонченного цинизма.

Пострадали невинный столик и очаровательный стульчик. С непоколебимым спокойствием на лице Рясов глумился и измывался, пока от деревянной пары не остались одни щепки, которые после бессовестно вынесли на помойку.

Прокуратура Московского зоопарка, на территории которого случилось непристойное действие, завело уголовное дело по статье «Расчленение по предварительному сговору». Редакция «Опустошителя» будет следить

за ходом следствия и информировать вас о его последних достижениях.

Даже преступление «с закрытым ртом» найдет свое наказание. И своего палача.

8. Прощай, Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар, родоначальник и ключевая фигура французской Новой волны 60-х, предтеча и главная жертва студенческой революции 68-го, кумир эстетствующих философов и завсегдатаев Музея кино, в этом году снял новый фильм, в котором прощается с языком.

Годар последовательно вытравливал из кино все элементы, кроме речи. Его первые работы имели более-менее связный сюжет, пронизывающий фильм целиком. Затем картины стали распадаться на фрагменты. Забавные ситуации, меткие наблюдения... но, чем дальше мэтр отдалялся от золотых 60-х, тем он ближе оказывался к философической болтовне.

Новый фильм, «Прощай, речь» (Adieu au langage, 2014), не исключение. На этот раз в 3D. Кадры старых картин перемежаются роликами с YouTube, перемежающимися дерганным видео постановочных сцен, перемежающимися стандартной киносъемкой этих же сцен.

Сюжет упрятан под сотней одеял. В описании фильма он эксплицитно выражен следующим образом:

«Он и она — два мира, утративших связь друг с другом. Их единственный проводник — собака. Без слов животное транслирует любовь в оба конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит ли ее, чтобы разжечь былые чувства?»

В одном психологическом эксперименте сумасшедшим предложили следующий тест. Нужно было выбрать пару понятий, между которыми возможна

связь. Один пациент связал курицу и коньки. Психологу он пояснил свой выбор так: коньками мы будем резать курицу. Или наоборот.

Сюжет «Adieu au langage» в интерпретации прокатчиков выглядит схожим образом: собакой разжигают бывшие чувства. Вполне в духе фильма об отмирании коммуникации, стилизованного под учебную работу по монтажу. Школярская эстетика трясущихся видеороликов, замедленных и укрупненных до невразумительности.

Невразумительность — главная черта позднего творчества Жан-Люка Годара. На протяжении всего фильма зритель следит за похождениями собаки, которой пытаются разжечь бывшие чувства героев, как бы случайно оказывающихся в кадре со своими коммуникационными проблемами. Все это разбавлено цитатами из Фрейда, Дерриды, Фолкнера, Кокто, Бланшо, Арагона, Пруста, Аполлинера, Флобера, Беккета, Сартра, Беньямина и пр.

Кустарная мешанина образов, кадров, мелодий, звуков... Больше всего это напоминает угасание сознания. Приближаясь к финалу, сознание транслирует непонятые в течение жизни сентенции, пытаюсь в последнее мгновение увязать их друг с другом, постичь квантовым образом, мгновенно и все вместе.

70 минут неперевариваемой французской болтовни обо всем на свете, которая так нравится эстетствующим философам.

Любой иностранец знает, как добиться бурной реакции аудитории. Нужно просто пошутить на своем языке. Аборигены, испуганные тем, что кто-то может заподозрить их в незнании чужого языка, будут смеяться, словно дети над самой банальной остротой.

Возможно, под конец жизни Жан-Люк Годар наконец нашел свое призвание. Он иностранец, дурачащийся перед начитанными гуманитариями.

9. Мертвец Юрия Мамлеева

После многолетней эмиграции сначала в США, а потом во Францию Юрий Мамлеев вернулся в Москву. По этому случаю собрались его товарищи по Южинскому кружку.

Был уже вечер. Мамлеев с супругой вошли в квартиру, где их ждали. Пред начинающими и уже опытными метафизиками предстал импозантный мужчина в очках, одетый как иностранец. На нем был роскошный желтый спортивный костюм с крупным логотипом Lonsdale, поверх которого писатель надел свой неизменный советский пиджак, в котором когда-то покинул отчизну.

От замершей толпы встречающих отделился Евгений Головин. В застиранной майке-алкашке и растянутых тренировочных штанах он босиком приблизился к Мамлееву и, схватив его за лацканы, глухо произнес: «Да ты же мертвец!»

И немедленно покинул квартиру, не простив советскому эмигранту столь постыдный синкретизм, хотя бы и в одежде.

191

10. Новый мир Михаила Горбачева

Жалко, что перед смертью Михаил Горбачев не посетил Киев и не встретился с Владимиром Зеленским. Думаю, они нашли бы общий язык и темы для разговора, ведь, в сущности, эти президенты очень похожи.

Для того чтобы артист КВН победил на президентских выборах, была проделана большая работа. Сначала публичную политику требовалось уподобить КВН, а потом уже всякую симпатичную бестолочь стало возможным поставить на любую должность. Если мэром Киева работает боксер Виталий Кличко, почему бы всю Украину не возглавить популярному комику.

Специфика демократических выборов в том, что кандидатов оценивают по одним качествам, а для работы, в случае победы, им нужны качества совсем

другие. Постепенное снижение уровня публичной политики, ее ослабление в пользу экономических и финансовых структур, а также параллельное оглушение населения, привели к тому, что никакой разницы между политиком, «хозяйственником» или знаменитостью любого происхождения больше не существует.

Если они умеют держаться на публике, нравятся широким массам, то им прямая дорога в политику. Точнее, в ее видимую, профанную часть. Затем управление над избранными политиками берут на себя иные инстанции — «глубинное государство», экономические и финансовые структуры или международные квазигосударственные образования.

Любопытно, что под конец своего существования советская политическая система опустилась до публичного идиотизма западной демократии. Михаил Горбачев тому яркое подтверждение. Разумеется, этот безвольный олигофрен никогда бы не занял главный пост в СССР без фатальной деградации ее политической конструкции.

Горбачев не владел никакими знаниями и умениями, кроме искусства подковерной борьбы, подлых сговоров и пустого словоблудия. Советская система к моменту коронации Горбачева настолько одряхла, что этих качеств оказалось достаточно. И неудивительно, что не нашлось никого, способного к изменению самоубийственной траектории нового руководства.

Это же самоубийство мы наблюдаем сейчас на Украине. Но не только. В очередь суицидников встали и старая Европа, и Великобритания, и Скандинавия, и восточноевропейские лимитрофы, и даже США. Все умирает в угоду ослабления политического до его полного исчезновения.

А мы тем временем приоткрываем завесу сверхконцентрированного транснационального капитала, чтобы увидеть новый *новый* мир, который, возможно, даже не успеет родиться, похороненный под обломками западной цивилизации.

11. Ромео и Джульетта под землей: самоубийство Адольфа Гитлера

30 апреля 1945 года... Фюрербункер... 56-летний Адольф Гитлер вместе со своей обожаемой 33-летней Евой Браун проводят последний день вместе. У него трясутся руки, поджимаются колени, он с трудом говорит...

За день до этого Гитлер делает предложение Еве. Она, конечно же, соглашается. Это ее мужчина, самый великолепный, мудрый и заботливый. Гитлер беспокоится не только о ней, но обо всех немцах. И вообще обо всем мире. Его доброта безгранична.

Но сейчас он здесь — с Евой. Адольф Гитлер плохо выглядит, но все также остро мыслит. Коктейль из чувств и интеллекта, теплой заботы и мгновенных решений, будоражит молодую женщину. Ева влюбленно пожирает изможденное лицо фюрера. Если бы она только могла...

30 апреля... Ева и Адольф из обычных любовников превращаются в супругов. Всего на несколько часов, но что это меняет. Ева Гитлер... Супруга фюрера, ответственная за весь немецкий народ, каждого немца, где бы он ни находился.

Гитлер рассматривает обручальное кольцо на безымянном пальце. Крайне щепетильный к любым изменениям, телесный консерватор, он испытывает что-то среднее между испугом, брезгливостью и восторгом. Неужели Ева наконец стала полностью его? Вся целиком, без остатка? Ну, конечно — вот и кольцо на пальце...

Кольцо на пальце...

30 апреля...

Почему они здесь — под землей? Что они сделали Германии и всей Европе? Почему влюбленные вынуждены прятаться? В чем конкретно их вина?

Весь мир против новых Ромео и Джульетты, бесконечно любящих друг в друга.

— Ева... — Гитлер берет ее за руку. — Мы никогда не расстанемся. Я, ты и Германия... Мы будем жить в Третьем рейхе вечно, потому что он не падет никогда.

— Адольф!..

Ей не удается договорить. В раскрытый рот любимой женщины фюрер уже вливает яд. А потом целует Еву в губы, слизывая остатки.

— Поспи, любимая.

Он кладет ее на черный кожаный диван, и счастливая молодая женщина сразу беззаботно засыпает.

А Гитлер?

Что делает фюрер в фюрербункере, оставшись наедине со своими мыслями?

Да нет же!.. Он со всей Германией. С мыслями о ней.

Но почему он все же здесь — под землей, а не со своим народом?

Необъяснимо...

Адольф Гитлер подносит револьвер к виску и отправляется вслед за Евой Браун в вечный Третий рейх. Им давно нужно было как следует отдохнуть. Вот и прекрасная возможность. Провидение всегда поддерживает хороших людей.

12. Какое счастье, что Украина — не Россия

В повести «В гостях у Берроуза» Александр Бренер рассказывает, как они с Уильямом Берроузом путешествовали по пустыне Мохаве. В пекле за 50° их автомобиль колесил по безлюдным пейзажам, не встречая никого на своем пути, кроме разможенных гремучих змей.

Наконец путешественники оказались в бутафорском городе — наспех сделанных постройках, в декорациях которых Голливуд снял пару второсортных фильмов про стрельбу и ковбоев. Это лишь издали напоминало улицы с домами, стоило приблизиться, как открывалась симуляционная природа сооружений.

Вскоре показались жители города — странные антропоморфные существа, полностью заросшие волосами. Не было видно ни одной части тела, все прикрывала растительность. Существа молча стояли и бесцельно смотрели на гостей. Контакт оказался невозможен.

Кажется, это очень точная метафора того, что должно остаться от Украины после окончания боевых действий по замыслу авторов проекта «Украина против России». Безголосый малочисленный народишко, живущий в бутафорских постройках, сляпанных кинокомпанией для съемок пары проходных картин.

Народишко, воспринимаемый цивилизованным человеком лишь отдаленно напоминающим людей. Не способный на контакт по причине полной оторванности от западной культуры и реальности. Полностью переместившийся в свои грезы. Точнее, в грезы, которые ему навязали, поместив в дешевый антураж кинокартинки.

Какое счастье, что Украина — не Россия.

13. Жорж Батай и скамейка

Жорж Батай бревном лежал на скамейке и ковырялся в заднице, пытаясь изъять оттуда глаз. Накануне они отмечали годовщину открытия Коллежа Социологии и какая-то паскуда — не то Кайуа, не то Лейрис — запихнула в зад философа человеческий глаз.

— Где они только взяли его? — растерянно размышлял Батай. — А что если для удобства снять брюки? Чтобы не ковыряться, просунув руку между поясницей и ремнем, а действовать свободно?

— Что вы сказали? — спросила Жоржа сидевшая прямо у его головы необъятная старушенция с мерзким американским акцентом.

Как же я ее не заметил, удивился Батай и осторожно вытащил руку из неприличного места.

— Вы можете совсем меня не стесняться, — завила старуха. — Я Гертруда Стайн, знаменитая покров-

вительница искусств и теоретик литературы. Что там у вас?

Жоржу было неудобно выгибать шею, чтобы смотреть на собеседницу, оказавшуюся позади него. Он попытался подняться, но по неизвестной причине не смог этого сделать. Брюки или ремень зацепились за что-то и блокировали его попытки занять любое положение, кроме лежачего, еще и с расстегнутым ремнем.

— Итак, — продолжила американская покровительница искусств. — Я покупаю вас вместе с этой парижской скамейей. Вы станете моим первым рэди-мэйдом. Не хуже писсуара Дюшана, этого кретина с шахматной доской.

— Что? — переспросил философ. — Покупаете? Вместе со скамейкой? Но у кого?

— Я найду, кому заплатить. Я американка, и денег у меня что говна в твоей заднице.

Жорж сделал еще одну безуспешную попытку высвободиться из скверного (от англ. square — площадь, но в данном случае он имел в виду сквер) капкана и без сил прильнул обратно к скамейке. Из зада выпал злосчастный глаз и выкатился из штанины.

— А это еще что? — воскликнула Стайн, пытаясь преградить путь катящемуся глазу ногой. Однако ее неуклюжее движение привело лишь к тому, что американка свалилась на землю, едва не сломав копчик.

— Это из вас выпало? — строго спросила она.

Философ смущенно улыбнулся.

— Так вот, значит, что вы выковыривали из своего пердака. Этот глаз... он у вас единственный там или есть еще?

Батай пожал плечами. Он действительно не знал. Эти каналы — Кайуа и Лейрис — бездари и подонки, на которых клейма ставить негде... Они могли впихнуть в него глазных яблок как денег у этой жирной бабы.

— Ну, раз вы не знаете... Ковыряться в вашей воюющей дыре на людях я категорически отказываюсь. Я забираю вас на обследование.

— Вместе со скамейкой?

— Разумеется. Вы же теперь мой рэди-мэйд.

В тот же вечер Гертруда Стайн купила билет в трансатлантический круиз, запихнула Жоржа Батая вместе со скамейкой в багажное отделение — в трюм — и, совершенно счастливая, отправилась в бар.

Но все прошло не так гладко, как хотелось. Уже через неделю в багажном отделении образовалась небольшая пробоина, через которую медленно, но неуклонно затопливало отсек.

Батай надеялся, что всплывет вместе со скамейкой, но философ оказался слишком тяжелым и ничего не вышло. Он орал полтора часа, звал на помощь, но упившиеся в хлам пассажиры (команда во главе с капитаном от них не отставала) не придали воплям значения.

Так погиб лидер Коллежа Социологии, одного из самых бессмысленных проектов болтливых французских интеллектуалов. Ушлая покровительница искусств, напротив, прекрасно провела время, не возвращаясь в трезвое сознание ни на минуту.

Мертвого Батая со скамейкой доставили в ее мастерскую, после чего, немного придя в себя, Стайн вынула из француза внутренности и забальзамировала то, что осталось. В таком виде Жорж Батай и гастролировал по самым разным музеям по обе стороны Атлантического океана.

14. Смерть ©

Сегодня мы заживо хороним институт копирайта. Этот мертворожденный младенец рос как на дрожжах, пока не заполнил собой все уголки нашей жизни. Невозможно было укрыться от его назойливого присутствия, пристального взгляда, требовательного убеждения.

Младенец беспардонно нуждался в постоянных дотациях. Он поставил свой значок на каждую мысль, каждую идею, введя в обиход нелепейший конструкт

интеллектуальной собственности. Но ведь идеи принадлежат не тем, кто их впервые запатентовал, а тем, кто способен их понять.

Нашего инфантильного скрягу это никогда не волновало. Он объявлял ворами всех, кто не разделял его представления об интеллектуальной собственности. Хотя, как говорил Пьер Жозеф Прудон, «собственность есть кража». Если распространить это непристойное понятие еще и на мир идей, получится, что любое мышление есть серийное воровство, а мыслитель — рецидивист.

Копирайт повсюду расставил ловушки. Даже самая последняя гниль теперь знает о том, что у нее есть какие-то там права, если когда-то она подписала договор. Эта гниль протянет трясущуюся морщинистую руку за своими тремя копейками и будет довольна, пока компании-мейджоры гребут прибыль экскаваторами.

Копирайт — прекрасное средство оглушения. Снотворное разума, отключающее все его функции, кроме самых тривиальных. Я рад, что вместе с так называемой интеллектуальной собственностью в могилу отправляются и все его адепты, сознательные или одуроченные — не столь важно.

Все, до чего дотянулась эта гадина, что она успела потеревить своими грязными щупальцами, на чем еще виднеется ее мерзопакостный значок — все должно отправиться в небытие. Желательно через очищающий огонь крематория.

Еще недавно, буквально в прошлой жизни, мы объявили священную войну копирайту. И не останавливались ни перед чем, включая открытый геноцид. Нас обвиняли в новом Холокосте, но мы выдержали и это.

Смерть копирайту!

Слава богам! Копирайт наконец мертв! Ликуйте!

Виан Борис
ДОХЛЫЕ РЫБЫ⁴

I

Дверь вагона, как всегда, не открывалась. На другом конце поезда стоял начальник при фуражке и давил на красивую кнопку, нагнетая по трубам сжатый воздух. Помощник тщетно пытался раздвинуть створки двери. Ему было жарко, по лицу, как мухи, ползли серые капли пота. Из-под его пиджака торчал грязный воротник рубашки из твердого, как броня, зефира.

Поезд уже трогался, когда начальник вдруг отпустил кнопку. Поезд весело изрыгнул под себя воздух, дверь внезапно открылась, и помощник чуть не упал. Выходя из вагона, он споткнулся и порвал сумку об открывающее устройство.

Поезд тронулся, и напором воздуха помощника прижало к вонючим уборным, где два араба разрешали поножовщиной политические вопросы.

Помощник встряхнулся и взъерошил волосы, прилипшие к черепу, как жухлая трава к земле. Полурастегнутая рубашка обнажала выступающие ключицы и приоткрывала несколько некрасивых, криво посаженных ребер. Грудь у него взмокла, как у загнанной лошади, от него шел пар. Тяжело ступая, он пошел по платформе, вымощенной красными и зелеными восьмиугольниками, кое-где в черных подтеках. После обеда шел осьминожий дождь, а служащие вокзала по-

⁴ Les poissons morts, 1947. Перевод с французского О. Смолицкой.

свящали постыдным занятиям время, отведенное, согласно генеральному уставу, на чистку платформы.

Помощник порылся в карманах и нащупал кусок толстого гофрированного картона: его надо было показать при выходе. У помощника болели колени и скрипели плохо пригнанные суставы, заржавевшие от сырости: весь день он работал в прудах.

Надо сказать, в сумке у него лежала более чем завидная добыча.

Он подошел к решетке и протянул билет безликому контролеру. Тот взял билет, рассмотрел его и свирепо ухмыльнулся.

— Другого нет? — спросил он.

— Нет, — сказал помощник.

— Этот фальшивый.

— Мне его дал патрон, — миролюбиво сказал помощник, вежливо улыбаясь и разводя руками.

— Ну, тогда ясно, что фальшивый. Сегодня утром ваш патрон купил у нас десяток таких.

— Каких? — не понял помощник.

— Да фальшивых.

— Зачем они ему? — Улыбка помощника потускнела и сползла налево.

— Вам дать, — ответил контролер. — Вас за это, во-первых, обругают, что я и делаю, а во-вторых, с вас возьмут штраф.

— Штраф? За что? — удивился помощник. — Видите ли, у меня очень мало денег.

— Постыдились бы ездить с фальшивым билетом!

— Но вы же сами их подделываете!..

— Приходится. Есть ведь еще такие, без стыда и совести, разъезжают с фальшивыми билетами. А как вы думаете, легко целый день делать фальшивые билеты?

— Лучше бы вы платформу почистили, — сказал помощник.

— Без разговоров! Платите тридцать франков.

— Тридцать? — удивился помощник. — Но за проезд без билета берут двенадцать.

— А за фальшивый билет берут больше. Платите, а то собаку покричу.

— А она не услышит, — сказал помощник.

— Ну и что? Зато у вас барабанные перепонки лопнут.

Помощник посмотрел на мрачное тощее лицо контролера, тот ответил ему ядовитым взглядом.

— У меня так мало денег... — пролепетал помощник.

— И у меня мало, — сказал контролер. — Платите штраф.

— Я получаю всего пятьдесят франков в день, на что же мне жить?..

Контролер оттянул вниз козырек фуражки и прикрыл им, как синей шторкой, лицо.

— Платите, — сказал он и пошевелил пальцами, словно считал банкноты.

Помощник вынул из потертого, заштопанного кошелька две десятифранковые бумажки в шрамах и одну пятифранковую, еще кровоточащую.

— Может быть, двенадцать? — робея, предложил он.

Контролер показал три пальца, что означало тридцать.

Помощник тяжело вздохнул. Под ногами у себя он увидел лицо патрона. Он плюнул и попал прямо в глаз. Сердце его забилося сильнее, а лицо патрона почернело и растаяло. Помощник положил деньги в протянутую руку контролера и вышел. Он слышал щелчок — козырек фуражки контролера встал на место. Помощник медленно пошел по тропинке, круто поднимавшейся в гору. Сумка терлась о его тощие бедра, а бамбуковая ручка сачка, раскачиваясь в такт шагам, била по тонким бесформенным икрам.

II

Помощник толкнул железную калитку, и она открылась с невыносимым скрежетом. На крыльце за-

жглась большая красная лампа, а в прихожей тихо зазвенел звонок. Помощник быстро вошел и закрыл за собой калитку. Тут его ударило током: сработал электрический сторож, переставленный с обычного места. Он пошел по аллее. На поддороге он споткнулся обо что-то твердое, из земли прямо в штанину брызнула струя ледяной воды и замочила ему ноги до колена.

Он побежал. Как всегда по вечерам, в нем нарастал гнев. Он сжал кулаки и взлетел по ступенькам. На крыльце ручка сачка попала ему между ног, взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, он зацепился за гвоздь, торчащий из пустоты, и опять порвал сумку. В теле у него что-то свихнулось, он задыхался и ловил ртом воздух, запрокинув голову. Через минуту он успокоился и уронил голову на грудь. Ему стало холодно от мокрой штанины. Он схватился за ручку двери, но тут же отдернул руку. Неприятно запахло горелым мясом, а на раскаленной фарфоровой ручке остался кусочек кожи; он чернел и съеживался. Дверь открылась, и помощник вошел.

Его тощие ноги подкосились, и он рухнул на холодный зловонный кафельный пол. Сердце хрюкало между ребер, и все тело сотрясалось от его грубых неравномерных толчков.

III

— Не густо, — сказал патрон.

Он изучал содержимое сумки.

Помощник стоял перед столом и ждал.

— В каком они у вас виде, — сказал патрон. — Вот у этой, посмотрите, все зубчики оборваны.

— Так ведь сачок-то старый, — сказал помощник.

— Если вам нужны молодые марки в хорошем состоянии, дайте мне денег на новый сачок.

— А кто сачок стрепал, вы или я? — спросил патрон.

Помощник не отвечал. У него болела обожженная рука.

— Отвечайте, вы или я?

— Я... для вас, — сказал помощник.

— Кто же вас заставляет? Вы сами хотите получать пятьдесят франков в день. Но их надо зарабатывать.

— Я уже потратил тридцать на билет... — сказал помощник.

— Какой еще билет? Я же оплачиваю вам дорогу туда и обратно.

— Сегодня вы мне дали фальшивый билет.

— Ну так будьте повнимательнее в следующий раз.

— Разве я отличу фальшивый билет от настоящего?

— Нет ничего проще, — сказал патрон. — Фальшивые билеты делают из гофрированного картона, а настоящие — из дерева.

— Ну хорошо, — сказал помощник. — Верните мне сегодняшние тридцать франков.

— Нет, — сказал патрон. — Все эти марки никуда не годятся.

— Неправда. Я сделал прорубь и ловил их очень осторожно. Я целых два часа потратил, я поймал шестьдесят штук, а если и попортил, то две-три, не больше.

— Но мне таких не нужно, — сказал патрон. — Мне нужна двухцентровая Гвиана восемьсот пятьдесят пяти года. Зачем мне ваш Занзибар? Такие вы мне еще вчера принесли.

— Что попадается, то и ловлю, — сказал помощник. — Сачок-то старый. Для Гвианы еще не сезон, а Занзибар можно на что-нибудь обменять.

— В этом году у всех Занзибар, он уже ничего не стоит.

Помощника взорвало:

— А промокшие ноги, ток в калитке, ручка двери — это чего-нибудь стоит? Его худое желтое лицо сморщилось, и, казалось, он сейчас расплачется.

— Это вас закалит, — сказал патрон. — А чем мне заняться? Мне скучно.

— Ловите марки сами, — ответил помощник, с трудом сдерживая себя.

— А за что же я тогда плачу? Вы — вор. Вы воруете мои деньги.

Помощник устало вытер лоб обтрепанным рукавом. Голова гудела, как колокол. Стол слегка отодвинулся, и помощник искал, за что бы ухватиться, но печка тоже увернулась, и он рухнул на пол.

— Встаньте с моего ковра, — приказал патрон.

— Мне бы поесть... — сказал помощник.

— В другой раз возвращайтесь пораньше. Да подымитесь же, черт вас побери, не валяйтесь у меня на ковре!

Голос патрона дрожал от ярости, он нервно барабанил по столу узловатыми пальцами.

Неимоверным усилием воли помощник встал на колени. У него болел живот. Из обожженной руки сочились кровь и сукровица; он кое-как обмотал руку грязным носовым платком.

Патрон быстро отобрал три марки и швырнул их помощнику в лицо. Они чмокнули и присосались к его щеке.

— Унесите их обратно в пруд, — сказал патрон с металлом в голосе, чеканя каждое слово.

Помощник плакал. Жалкие волосы падали ему на лоб, левая щека была маркирована. Он тяжело поднялся.

— Чтобы это было в последний раз! — сказал патрон. — Мне не нужны испорченные марки. А про сачок я и слышать не хочу.

— Хорошо, меcье.

— Вот вам ваши пятьдесят франков. — Патрон вынул из кармана бумажку, плюнул на нее, надорвал и бросил на пол.

Помощник с трудом нагнулся. Его колени коротко и отрывисто потрескивали триолями.

— У вас грязная рубашка, — сказал патрон. — Ночевать сегодня будете на улице.

Помощник поднял деньги и вышел. Ветер дул еще сильнее, так что дрожало волнистое стекло перед кованной решеткой входной двери. Закрывая дверь, он в

последний раз посмотрел на патрона. Тот, вооружившись большой желтой лупой, склонился над альбомом и сличал с каталогом занзибарские марки.

IV

Помощник спустился с крыльца, кутаясь в длинную куртку, позеленевшую от воды марочных прудов. Ветер пронизывал ветхую ткань и раздувал куртку так, что казалось, будто на спине у помощника вырос горб, что вредно для позвоночника. Помощник страдал внутренней мимикардией и ежедневно боролся с этой болезнью, добиваясь, чтобы пораженные органы сохраняли свою обычную форму и нормально функционировали.

Уже совсем стемнело. Земля излучала тусклый третьесортный свет. Помощник свернул направо и пошел вдоль дома. Он ориентировался по черному шлангу: патрон пользовался им, когда топил крыс в подвале. Помощник подошел к трухлявой конуре, стоявшей неподалеку от дома; в ней он уже ночевал накануне. Соломенная подстилка была сырая и пахла тараканами. Обрывок старого одеяла прикрывал круглый вход. Помощник нащупал одеяло и приподнял его, чтобы залезть в конуру, но тут вспыхнул ослепительный свет, раздался взрыв, и сильно запахло порохом. В конуре разорвалась большая петарда.

Помощник вздрогнул, и сердце его бешено заколотилось. Он хотел унять сердцебиение, задержав дыхание, но при этом у него глаза полезли из орбит, и он судорожно глотнул воздух. В легкие тут же проник запах пороха, и помощник слегка успокоился.

Он подождал, пока все стихнет, и внимательно прислушался. Потом свистнул, не оглядываясь, вполз в конуру и скрючился на вонючей подстилке. Он снова свистнул и прислушался. К конуре приближались чьи-то легкие мелкие шажки; в тусклом свете земли он разглядел нежную и пушистую зверушку. Это была его ручная зверушка, которую ему кое-как удавалось про-

кормить дохлыми рыбами. Зверушка залезла в конуру и прижалась к нему. Вдруг помощник спохватился и потрогал щеку. Марки уже начали сосать кровь; он с силой дернул их, чуть не закричав от боли, оторвал от щеки и выкинул из конуры. На влажной земле они доживут до завтра. Зверушка лизнула его в лицо, и он заговорил с ней, чтобы успокоиться. Он говорил тихо: патрон хотел знать, о чем он говорит сам с собой, и всюду расставил микрофоны.

— Он мне осточертел, — прошептал помощник.

Зверушка ласково заурчала и лизнула его нежнее.

— Надо что-то предпринять, так я считаю. Я больше не позволю так обращаться со мной, буду, несмотря на его запреты, надевать чистые рубашки и потребую фальшивых билетов из дерева. Я почию сачок и не дам ему дырявить его. И надо отказаться спать в конуре, потребовать себе комнату и прибавки жалованья, не могу же я жить на пятьдесят франков в день. А еще мне надо поправиться, стать сильным и красивым, а потом вдруг взбунтоваться и швырнуть ему кирпич в голову. Когда-нибудь я все это сделаю.

Он повернулся на другой бок и стал так напряженно думать, что воздух толчками выходил наружу, и в конуре стало душно. Правда, щели в полу и подстилка пропускали немного воздуха, но от этого лишь сильнее пахло тараканами, да еще воняли улитки, у которых началась течка.

— Ненавижу эту конуру! Здесь холодно. Хорошо, что ты со мной. А в подвале шумит вода — он топит крыс. Ну не могу я, черт возьми, уснуть, когда прямо в ухо визжат крысы. И так каждый Божий вечер. И почему он так хочет уморить этих крыс, и притом непременно утопить их в воде? Крыс надо топить в крови.

Зверушка больше не лизала его. На сером фоне светящейся земли вырисовывался ее профиль: вытянутая мордочка, острые ушки и желтые глаза с какими-то холодными отблесками. Зверушка ворочалась,

устраиваясь поудобнее, и наконец примостилась, уткнувшись носом ему в ляжку.

— Мне холодно, — сказал помощник.

Он тихо заплакал. Слезы капали на подстилку, и от нее поднимался парок, в котором расплывались предметы.

— Разбуди меня завтра пораньше, — попросил он. — Я отнесу обратно эти три марки. Только бы он не дал мне опять фальшивый билет.

Вдали что-то загрохотало, потом раздался пронзительный визг и легкий топоток лапок.

— Ну вот, опять он воюет с крысами!.. Был бы он крысой, я бы сам шланг держал. Может, хоть завтра он мне заплатит пятьдесят франков. Как я хочу есть, я бы крысу съел живьем!

Он сидел, держась за живот, и все плакал. Мало-помалу ритм его всхлипов замедлился — так останавливается мотор, — скорченное тело расслабилось, и он уснул, высунув ноги из конуры и положив голову на вонючую подстилку. В животе у него урчало, словно там пересыпали гальку.

V

Ползая по комнате, патрон услышал знакомый певучий голос и понял, что к дому идет торговка перцем. Он встал на ноги, обнаружил, что может передвигаться и в этом положении, побежал в прихожую и намеренно грубо толкнул дверь. Стоя на крыльце, он глядел на подходящую девушку.

На ней была обычная форма торговки перцем: плиссированная юбочка, едва прикрывавшая ягодичы, короткие носки в красную и синюю полоску и болеро с глубоким вырезом. Добавьте к этому бязевый колпак в красную и белую полоску: такая форма утвердилась во всем мире с легкой руки торговки перцем острова Св. Маврикия.

Патрон поманил девушку, и она стала подниматься по аллее. Он спустился с крыльца и подошел к ней.

— Добрый день, — сказал патрон, — мне бы перцу.

— Сколько зерен? — спросила торговка, лицемерно улыбаясь: она ненавидела патрона.

Он посмотрел на ее черные волосы и матовую кожу и испытал такое ощущение, как если бы ему плеснули стакан холодной воды на гениталии. (Это очень сильное ощущение.)

— Поднимитесь на крыльцо, тогда договоримся, — сказал он.

— А вы будете стоять внизу и смотреть на мои ляжки, да?

— Да.

У патрона потекли слюнки, и он попытался ее обнять.

— Сперва заплатите за перец.

— Сколько?

— Сто франков за зернышко, но можете сначала попробовать.

— И вы тогда подниметесь?.. — прошептал патрон. — У меня есть для вас Занзибар.

— Вчера брат принес мне целых три Занзибара, — сказала она со слащавым смешком. — Попробуйте-ка моего перца.

Она дала ему зернышко, и патрон проглотил его, не заметив, что это было семя ядовитой гвоздики.

Торговка уже уходила.

— Вы же обещали подняться? — крикнул патрон ей вслед.

— Вот еще!

Она вложила в слова всю свою злость.

Тем временем патрон уже ощутил тонизирующее действие яда и принялся бегать во всю прыть вокруг дома. Торговка наблюдала за ним, облокотившись на калитку.

С каждым кругом патрон бежал все быстрее. На третьем круге торговка подала ему знак, на четвертом он посмотрел на нее. Тогда она задрала плиссированную юбку и увидела, как лицо патрона стало фиолетовым, потом черным, потом вспыхнуло ярким пламе-

нем. Он бежал, не сводя глаз с того, что она ему показывала, и упал, запутавшись в планге, по которому шла вода в подвале с крысами. Падая, он ударился лицом о большой камень, и тот вошел ему в лицо как раз между скул, проломив нос и челюсти. Патрон дергался от боли, его ноги скребли о землю, оставляя две канавки. Постепенно его башмаки стерлись, и в канавках появились следы толстых пальцев, которыми он пытался удержать носки.

Торговка перцем закрыла калитку и, насмешливо тряхнув кисточкой колпака, пошла своей дорогой.

VI

Помощник тщетно пытался открыть дверь вагона. В поезде было очень жарко, и, выходя на улицу, пассажиры простужались и схватывали насморк: так машинист помогал своему брату — торговцу носовыми платками.

Весь день помощник корпел в пруду, и хотя добыча была ничтожной, сердце его переполняла радость: он решил убить патрона. На этот раз ему удалось раздвинуть створки двери, потянув их вверх и вниз. Он понял, что начальник при фуражке, скверно посмеявшись над ним, положил дверь набок. Довольный, что не попался в эту скверную ловушку, помощник легко спрыгнул на платформу. Он опустил руку в карман и тут же нащупал кусок гофрированного картона, который надо было показать при выходе. Он пошел к вышеупомянутому выходу, где стоял невзрачный человек. В нем он узнал вчерашнего контролера.

— А у меня фальшивый билет, — сказал помощник.

— Что? Фальшивый билет? — спросил контролер. — Дайте взглянуть.

Помощник протянул билет контролеру. Тот стал рассматривать его с таким вниманием, что фуражка сдвинулась и напозгла ему на уши.

— Ловко сделано, — сказал контролер.

— А ведь он из картона.

— Да ну? — удивился контролер. — Ни за что бы не поверил.

— И подумать только, что патрон дал мне его вместо настоящего... — сказал помощник.

— Настоящий стоит всего двенадцать франков, а такой значительно больше.

— Сколько же?

— Тридцать, — сказал контролер и сунул руку в карман таким привычным жестом, что помощник заподозрил его в дурных наклонностях. Но контролер всего лишь вынул три фальшивые десятифранковые бумажки, раскрашенные коричневой краской.

— Вот вам за билет, — сказал он.

— Деньги, конечно, фальшивые? — спросил помощник.

— А как вы думаете? Что же, я дам вам за фальшивые билеты настоящие деньги?

— Нет, не дадите, — сказал помощник, — но и я свой билет вам не дам.

210

Он напряжился и с размаху ударил тощим кулаком контролера при фуражке так, что содрал ему кожу с половины лица. Контролер взял под козырек и, падая по стойке «смирно», ударился локтем о цементную платформу, выложенную шестиугольными плитками, сверкавшими как раз в этом месте синим фосфорическим блеском.

Помощник перешагнул через тело и пошел дальше. Переполненный ясной и теплой радостью жизни, он быстро поднимался по тропинке. Он отстегнул сачок и, цепляясь им за железные столбики, на которых была натянута вдоль тропинки железная сетка, стал подтягиваться на локтях и легко скользить среди острых камней. Когда он поднялся на несколько метров, сетка сачка отлетела, и осталось одно проволочное кольцо; он решил задуть его патрона этим кольцом.

Помощник быстро добрался до калитки и толкнул ее безо всяких предосторожностей. Он рассчитывал, что удар током еще больше распалит его гнев, но удара не последовало, и он остановился. У крыльца лежа-

ла какая-то бесформенная туша и едва шевелилась. Он побежал туда по аллее. Ему не было холодно, наоборот, кожа горела, и он вдыхал запах своего грязного тела, отдающего солнцем и тараканами.

Он напряг дряблые мускулы, и пальцы его судорожно сжали бамбуковую ручку сачка. «Наверное, патрон кого-то убил», — подумал он.

Узнав темный костюм и крахмальный воротничок, он в недоумении остановился. К этому времени голова патрона представляла собой лишь черноватую массу, а ноги еще дергались в двух глубоких бороздках.

Помощником овладело нечто вроде отчаяния. Он дрожал всем телом, возбужденный гневом и жаждой убийства. В смятении он озирался вокруг. Сегодня он решил выложить патрону все, ему надо было выложить все.

— Зачем ты это сделал, свинья?

В равнодушном воздухе разнесся его надтреснутый слабый голос: «Свинья!»

— Свинья! Подлец! Сволочь! Дерьмо! Вор! Мерзавец! Сволочь!

Он плакал, потому что патрон не отвечал. Он ткнул в спину патрону бамбуковой ручкой сачка.

— Отвечай, старый хрен! Ты опять всучил мне фальшивый билет!

Он налег всем телом на ручку сачка, и она прошла сквозь разрушенную ядом ткань. Он вертел ручкой, как стержнем гироскопа, пытаясь выгнать наружу червей.

— Билет фальшивый, подстилка вонючая, и я же плачу тридцать франков штрафа! А я есть хочу! Где мои пятьдесят франков за сегодня!

Патрон уже почти не шевелился, а черви не выползали.

— Я хотел тебя убить, сволочь проклятая. Я должен был тебя убить, мерзавец! Где мои деньги, а?

Он выдернул ручку сачка и, размахнувшись, несколько раз ударил по обутлившемуся черепу. Череп

развалился на куски, как корка подгоревшего пирога. Теперь труп патрона оканчивался шеей.

Помощник перестал дрожать.

— Решил сам содохнуть, ну и ладно. Но мне надо кого-нибудь убить.

Он сел на землю и заплакал, как накануне, и маленькая зверушка подбежала к нему легкими шажками. Она приласкалась к нему, прижалась к щеке теплым нежным тельцем, и он закрыл глаза, а пальцами сдавил шею зверушке. Она не вырывалась, и когда тельце, прижавшееся к его щеке, стало холодным, он понял, что задушил зверушку. Тогда он встал, спотыкаясь, побрел по аллее и вышел на дорогу. Он шел куда глаза глядят, а патрон лежал и больше не шевелился.

VII

Он вышел к большому пруду, где водились голубые марки. Смеркалось, и вода светилась далеким загадочным светом. Пруд был неглубок, в нем сотнями кишели марки, но они размножались круглый год и потому не очень ценились.

Он вынул из пруда два колышка и воткнул их в землю около пруда, в метре друг от друга, потом натянул между ними стальную тонкую проволоку и взял грустную ноту. Проволока располагалась в десяти сантиметрах над землей строго параллельно берегу. Помощник сделал несколько шагов от пруда, потом повернулся лицом к воде и пошел прямо на проволоку, закрыв глаза и насвистывая нежную мелодию, которую так любила его зверушка. Медленными шагами он приблизился к проволоке, зацепился за нее и упал лицом в воду. Он лежал неподвижно, и под спокойной гладью воды голубые марки уже присасывались к его впалым щекам.

Борис Виан
ПОЕЗДКА В ХЕРОСТРОВ⁵

I

Локомотив пронзительно взвыл. Машинист понял, что тормоза его где-то прищемили, и повернул рукоятку куда следовало; тут же в свою очередь засвистел и дежурный в белой фуражке — он хотел оставить последнее слово за собой. Поезд медленно тронулся с места: вокзал был влажен и темен, и ему совсем не хотелось здесь оставаться.

В купе сидело шестеро пассажиров, четверо мужчин и две женщины. Пятеро из них обменивались репликами, но не шестой. Считая от окна, на одной скамье слева направо сидели Жак, Раймон, Брис и молодая, очень красивая блондинка, Коринна. Напротив нее сидел человек, имя которого было неизвестно, — Сатурн Ламийский, и, напротив Раймона, другая женщина, брюнетка, не очень-то красивая, зато всем были видны ее ноги. Звали ее Гарамюш.

- Поезд отправляется, — сказал Жак.
- Прохладно, — сказала Гарамюш.
- Перекинемся в картишки? — сказал Раймон.
- Ну его в задницу! — сказал Брис.
- Вы невежливы, — сказала Коринна.
- Может, вы пересядете между мной и Раймоном?
- сказал Жак.
- Ну да, — сказал Раймон.
- Отличная мысль, — сказал невежливый Брис.

⁵ Le voyage à Khonostrov, 1949. Перевод с французского В. Лапицкого.

— Она окажется напротив меня, — сказала Гарамюш.

— Я сяду рядом с вами, — сказал Брис.

— Не волнуйтесь, — сказал Раймон.

— Ну так что, — сказал Жак.

— Иду, — сказала Коринна.

Они поднялись все разом и так перемешались, что придется начать сначала. Один только Сатурн Ламийский не сменил места и по-прежнему ничего не говорил. Так что, начиная от окна, на второй скамье слева направо сидели: Брис, Гарамюш, свободное место и Сатурн Ламийский. Напротив Сатурна Ламийского — свободное место. А затем Жак, Коринна и Раймон.

— Так-то лучше, — сказал Раймон.

Он бросил взгляд на Сатурна Ламийского и попал ему не в бровь, а в глаз; тот, сморгнув, ничего не сказал.

— Не хуже, — сказал Брис, — но и не лучше.

Гарамюш поправила юбку, теперь стали видны никелированные застёжки, которые крепили ее чулки к резинкам. Она постаралась расположиться так, чтобы с каждой стороны они выглядели в равной степени.

— Как вам нравятся мои ноги? — сказала она Брису.

— Послушайте, — сказала Коринна, — вы не умеете себя вести. О таких вещах не спрашивают.

— Вы бесподобны, — сказал Коринне Жак. — Будь у вас такая же физиономия, как у нее, вы бы тоже выставляли напоказ ноги.

Он посмотрел на Сатурна Ламийского, и тот не отвернулся, а лишь сосредоточился на чем-то весьма отдаленном.

— Не перекинуться ли нам в картишки? — сказал Раймон.

— К черту! — сказала Коринна. — Разве это развлечение? Мне больше нравится болтать.

На секунду все почувствовали замешательство — и все знали почему. Брис рубанул с плеча:

— Нет ничего хуже, коли в купе кто-то не хочет отвечать, когда к нему обращаются, — сказал он.

— Надо же! — сказала Гарамюш. — Вы же ведь на меня посмотрели, перед тем как это сказать! Я вам что, не отвечаю, что ли?

— Да не о вас речь, — сказал Жак.

У него были каштановые волосы, голубые глаза и красивый бас. Он был свежевыбрит, а кожа на его щеках отливала синевой, как спинка сырой стерляди.

— Если Брис подразумевал меня, — сказал Раймон, — надо было об этом так прямо и сказать.

Он еще раз взглянул на Сатурна Ламийского. Тот, казалось, был погружен в свои мысли.

— В былые времена, — сказала Коринна, — знавали немало средств, чтобы развязать людям язык. Инквизиция, к примеру. Я читала кое-что об этом.

Поезд шел уже быстро, но, несмотря на спешку, все равно успевал каждые полсекунды повторять своими колесами одни и те же замечания. Ночь снаружи выдалась грязной, и в степном песке лишь изредка отражались одинокие звезды. Время от времени какое-нибудь дерево протянутыми вперед листьями хлестало по лицу холодное стекло, занимавшее почти всю стену купе.

— Когда прибываем? — сказала Гарамюш.

— Не раньше завтрашнего утра, — сказал Раймон.

— Вполне хватит времени, чтобы все осточертело, — сказал Брис.

— Была бы только охота отвечать, — сказал Жак.

— Вы это что, мне говорите? — сказала Коринна.

— Да нет! — сказал Раймон. — Это все про него.

Они внезапно замолчали. Вытянутый палец Раймона указывал на Сатурна Ламийского. Тот не пошевелился, но четверо остальных вздрогнули.

— Он прав, — сказал Брис. — Хватит околичностей. Нужно, чтобы он заговорил.

— Вы тоже едете до Херострова? — сказал Жак.

— Как вам нравится поездка? — сказала Гарамюш.

Она втиснулась на свободное место между собой и Сатурном, оставив Бриса в одиночестве у окна. И тем самым доверху открыв свои чулки, а также и цепляющиеся за никелированные застёжки розовые резинки. И немножко кожи на бедрах, загорелой и гладкой, лучше некуда.

— Вы играете в карты? — сказал Раймон.

— А что вы слышали об инквизиции? — сказала Коринна.

Сатурн Ламийский не пошевелился и лишь укутал ноги лежавшим у него на коленях зелено-голубым шотландским пледом. У него было очень юное лицо, а аккуратно разделенные пополам ниточкой пробора светлые волосы спадали ему на виски двумя одинаковыми волнами.

— Каков! — сказал Брис. — Он нас провоцирует.

Эти слова не вызвали никакого отзвука во всем семнадцатиметровом диапазоне вагона, что вполне естественно, если учесть, что стенки железнодорожного купе окулированы купирующими звук материалами.

Тишина угнетала.

— Не сыграть ли в карты? — сказал тогда Раймон.

— Опять вы со своими картами! — сказала Гарамюш.

Ей явно хотелось чего-то.

— Оставьте нас в покое! — сказал Жак.

— Во времена инквизиции, — сказала Коринна, — им, чтобы развязать язык, прижигали ноги. Раскаленным докрасна железом или еще чем-нибудь. А еще, им выдирали ногти или выкалывали глаза. Им...

— Ага, — сказал Брис. — Вот и нашли чем заняться.

Они встали все вместе, кроме Сатурна Ламийского. Громко и сипло завывая, поезд въезжал в туннель, шумно спотыкаясь на неровном щебне.

Когда он выбрался из туннеля наружу, Коринна и Гарамюш сидели около окна лицом друг к другу. Рядом с Сатурном Ламийским очутился Раймон. Между ним

и Коринной было свободное место. Напротив Сатурна сидел Жак, потом Брис, свободное место и Гарамюш.

На коленях Бриса виднелся маленький, новехонький чемоданчик из желтой кожи, его ручка крепилась при помощи блестящих никелированных колец, а инициалы на нем гласили, что он принадлежит кому-то другому, кого тоже зовут Брис, но в чьем имени П удвоенно.

— Вы до Херострова? — сказал Жак.

Он обращался прямо к Сатурну Ламийскому. Глаза того были закрыты; он дышал тихонько, чтобы не проснуться.

Раймон вновь надел очки. Это был большой и сильный мужчина, в массивных очках и с пробором сбоку, волосы его слегка растрепались.

— Что будем делать? — сказал он.

— Начнем с пальцев ног, — сказал Брис.

Он открыл свой желтый чемоданчик.

— Нужно снять с него туфли, — предложила Коринна.

— По-моему, лучше его по-китайски, — сказала Гарамюш.

Она замолчала и покраснела, потому что все с неодобрением на нее уставились.

— Хватит! — сказал Жак.

— Черт подери! Во бляха! — сказал Брис.

— Вы выходите за рамки, — сказала Коринна.

— А как это, по-китайски? — сказал Раймон.

На этот раз воцарилась и в самом деле гробовая тишина, тем более что поезд теперь катил по участку пути, уложенному на каучуковую насыпь, ее недавно возвели между Комсодерьметровым и Смогогольцом.

Это и разбудило Сатурна Ламийского. Его прекрасные каштановые глаза вдруг раскрылись, и он натянул на колени сползший с них плед. А потом опять закрыл глаза и, казалось, вновь погрузился в сон.

Под громкий хруст тормозов Раймон покраснел как рак и более не настаивал на своем вопросе. Гарамюш ворчала что-то в своем углу; посмотрев, достаточно ли

накрашены ее губы, она вынула губную помаду и украдкой несколько раз быстро подвигала ею туда-сюда внутри облатки, чтобы Раймон сообразил. Тот стал еще пунцовее.

Брис и Жак склонились над чемоданчиком, а Коринна брезгливо разглядывала Гарамюш.

— Начнем с ног, — сказал Жак. — Снимите-ка с него туфли, — подсказал он Раймону.

Тот, в счастье, что может быть полезен, опустился рядом с Сатурном Ламийским на колени и попытался развязать его шнурки, но те, заведя его приближение, зашипели и стали извиваться во все стороны. Не преуспев, он плюнул на них, как разъяренный кот.

— Ну давайте же, — сказал Брис. — Вы нас задерживаете.

— Я стараюсь, как могу, — сказал Раймон. — Но их не развязать.

— Держите, — сказал Брис.

Он протянул Раймону крохотные, ослепительно блестящие кусачки. С их помощью Раймон взрезал кожу туфель вокруг шнурков, не повредив их; завершив операцию, он намотал полоненные шнурки себе на пальцы.

— Ну вот, — сказал Брис. — Осталось снять с него обувь.

Это взял на себя Жак. Сатурн Ламийский по-прежнему спал. Жак закинул туфли в багажную сетку.

— Не оставить ли на нем носки? — предложила Коринна. — Они помогут сохранить тепло и попадут в рану. Если повезет, это вызовет заражение.

— Прекрасная мысль, — сказал Жак.

— Угу! — сказал Брис.

Раймон уселся рядом с Сатурном и принялся заигрывать со шнурками.

Брис вынул из чемоданчика прелестную миниатюрную паяльную лампу и бутылочку, из которой налил в лампу бензина. Жак чиркнул спичкой. Красивое желто-голубое с дымком пламя поднялось и опалило ресницы Бриса, тот в ответ разразился бранью.

В этот миг Сатурн Ламийский открыл глаза, но тут же закрыл их снова. Его ухоженные руки покоились поверх пледа, а длинные пальцы переплетались столь сложным образом, что у Раймона, после того как он минут пять пытался в этом разобраться, разболелась голова.

Коринна открыла свою сумочку и вынула оттуда расческу. Она поправила прическу перед окном, благодаря черному ночному фону в него прекрасно можно было глядеться. Снаружи ветер свистел по степи, и волки, чтобы согреться, носились как угорелые. Поезд обогнал одинокого путешественника-веселопедиста, который из последних сил крутил педали над гладью степных песков. Уже недалеко был Братскипродольск. Точно такая же степь тянулась до самого Горнопятти-ка в двух с половиной-другой верстах от Бранчочарновни. Вообще-то никто не мог выговорить названий этих городишек, и в привычку вошло называть их просто Урвилль, Макон, Лепуи и Сент-Машин.

Грубо харкая, заработала паяльная лампа, и Брису пришлось повозиться с регулирующей иглой, чтобы добиться скромного язычка голубого пламени. Он передал лампу Раймону и положил желтый чемоданчик на пол.

— Ну что, последняя попытка? — предложил Раймон.

— Да, — сказал Жак.

Он нагнулся к Сатурну:

— Вам до самого Херострова?

Сатурн открыл один глаз и тут же его закрыл.

— Сволочь! — сказал разъяренный Брис.

Он, в свою очередь, встал перед Сатурном на колени и приподнял первую попавшуюся под руку из его ног.

— Болеее будет, если сначала выжечь ногти, — объяснила Коринна, — ну а кроме того, и рубцеваться все это будет немного дольше.

— Дайте-ка мне лампу, — сказал Раймону Брис.

Раймон протянул ему лампу, и Брис прошелся огнем по двери купе, чтобы проверить, как она греет. Лак начал оплывать, отвратительно завоняло.

Но еще хуже воняли, сторая в свою очередь, носки Сатурна, из чего Гарамюш сделала вывод, что были они из чистой шерсти. Коринна не обращала на это внимания, она уткнулась в книгу. Раймон и Жак ждали. От ноги Сатурна шел дым, она громко потрескивала и пахла жженым рогом, а на пол с нее падали черные капли. Ступня Сатурна корчилась в потной руке Бриса, ему трудно было ее удерживать. Коринна отложила книгу в сторону и приоткрыла окно, чтобы чуть-чуть проветрить помещение.

— Пойдите, — сказал Жак. — Попробуем еще раз.

— Вы не играете в карты? — приветливо сказал Раймон, поворачиваясь к Сатурну.

Сатурн забился в угол купе. Рот его слегка перекосялся, лоб чуть морщился. Ему удалось улыбнуться, и он еще крепче зажмурился.

— Все впустую, — сказал Жак. — Он не желает разговаривать.

— Какая сволочь! — сказал Брис.

— Невоспитанный тип, — сказал Раймон. — Когда оказываешься вшестером в железнодорожном купе, нужно разговаривать.

— Или забавляться, — сказала Гарамюш.

— Заткнитесь, — сказал Брис. — Известно, чего вы хотите.

— Вы могли бы испробовать ваши пинцеты, — отпустила в этот момент замечание Коринна.

Она подняла свое прекрасное лицо, и веки затрепетали на нем, как крылышки бабочки.

— Знаете, на ладонях есть такие места, за которые стоит взяться.

— А лампу что, выключить? — сказал Брис.

— Да нет, продолжайте оба, — сказала Коринна, — куда вам торопиться? До Херострова еще далеко.

— В конце концов, он все же разговорится, — сказал Жак.

— Черт! — сказала Гарамюш. — Каков, все же, хам.

На овальном лице Сатурна Ламийского промелькнула мимолетная улыбка. Брис вновь взялся за паяльную лампу и приступил к другой ноге — как раз посреди подошвы, ну а Раймон копался в чемоданчике.

Голубому пламени лампы удалось пройти насквозь ногу Сатурна как раз в тот момент, когда Раймон нащупал наконец нерв. Жак их подбадривал.

— Попробуйте под коленом, — подсказала Коринна.

Чтобы удобнее было работать, они уложили тело Сатурна на одну из скамей.

Лицо Сатурна совсем побледнело, а глаза больше не двигались под веками. В купе стоял жуткий сквозняк, ибо запах горелой плоти стал уже просто непереносимым, и Коринне это не нравилось.

Брис потушил паяльную лампу. Из ног Сатурна на запятнанную скамью сочилась черная жидкость.

— Передохнем минутку? — сказал Жак.

Он вытер лоб тыльной стороной ладони. Раймон поднес руку ко рту. Ему хотелось пить.

Правая рука Сатурна походила на взорвавшийся фиговый плод. С нее свисали лохмы плоти и сухожилий.

— Крепкий орешек, — сказал Раймон.

И подскочил на месте, увидев, как рука Сатурна сама собою повалилась на скамью.

Впятером они не помещались на противоположной скамье, но Раймон вышел в коридор, захватив с собой из желтого чемоданчика лист наждачной бумаги и напильник, чтобы размяться. Так что, считая от окна к двери, там сидели Коринна, Гарамюш, Жак и Брис.

— Ну и хам! — сказал Жак.

— Не желает разговаривать, — сказала Гарамюш.

— Это мы еще посмотрим! — сказал Брис.

— Я могу предложить еще кое-что, — сказала Коринна.

II

Поезд продолжал катить по заснеженной степи, то и дело сталкиваясь с вереницами нищих, возвращающихся с подземной барахолки в Гольцине.

Уже совсем рассвело, и Коринна разглядывала пейзаж, который открывался и скромно скрывался в кроличьей норе.

У Сатурна Ламийского осталась только одна нога и полторы руки, но, поскольку он спал, естественно, трудно было ожидать, что он заговорит.

Проехали Гольцин. Скоро уже и Херостров, всего в шести верстах.

Брис, Жак и Раймон совсем обессилели, а их боевой дух висел на волоске, на своем, зелененьком, для каждого.

В коридоре заблаговестил колокольчик, и Сатурн подскочил на месте. Брис уронил свою иглу, а Жак чуть не обжегся электроутюгом, которым как раз пользовался. Раймон продолжал прилежно прощупывать точное нахождение печени, но рогатке Бриса не доставало точности.

Сатурн открыл глаза. Он уселся с большим трудом, поскольку отсутствие левой ягодицы, похоже, выводило его из равновесия, и натянул сползший плед на свою ногу в лохмотьях. Обувь всех остальных хлупала по полу, по углам набралось полно крови.

Тогда Сатурн встряхнул своими светлыми волосами и от души улыбнулся.

— Я не из болтунов, а? — сказал он.

Как раз в этот момент поезд въехал на вокзал Херострова. И все вышли.

Мария Аннинская
**ЧЕЛОВЕК, «КОТОРЫЙ ОПЕРЕДИЛ
ВРЕМЯ», И ЕГО ЭПОХА⁶**

Часть 1

10 марта 1920 года в городке Виль-д'Авре, что между Парижем и Версалем, родился мальчик, получивший странное для француза имя: Борис Виан. Родители его жили в красивом особняке на Версальской улице. Мальчик был вторым ребенком: брату Лелио шел тогда второй год. Родители на этом не остановились и произвели на свет еще двух младенцев: Алена — через год и Нинон — через четыре. Выросшая семья переселилась на виллу с поэтическим названием «Ле Фоветт». Вилла до сих пор стоит на улице Прадье.

Отец Бориса, Поль Виан, жил на доход с капитала и профессии никакой не имел. Был он человеком образованным и одаренным; знал несколько языков, переводил, писал стихи. Это был мастер на все руки: в юности ради любопытства лил бронзу; любил спорт; пятнадцати лет водил машину и даже имел собственный самолет. От отца Борис унаследовал изысканный вкус, жажду знаний и страсть мастерить руками.

Мать Бориса, Ивонна Вольдемар-Равене, прозванная детьми «матушка Пуш», была восемью годами старше своего мужа. Происходила она из богатой эльзасской семьи, владевшей нефтяными скважинами в Баку и несколькими промышленными предприятиями

⁶ Сокращенный вариант биографического очерка Марии Аннинской, опубликованного в книге Бориса Виана «Полдник генералов» (Фолио, 1998).

во Франции. Великолепная пианистка и арфистка, страстная любительница классической музыки и оперного искусства, Ивонна по настоянию родителей отказалась от артистической карьеры. Зато ей удалось передать свое увлечение детям: трое из них стали музыкантами.

По желанию матери детям дали музыкально-поэтические имена, а Борис так и вовсе был назван в честь «Бориса Годунова» — любимой оперы матушки Пуш. Но поскольку полвека назад этот факт был известен немногим, имя Бориса Виана сопрягалось с легендой о русском происхождении (тут еще помогал «армянский» суффикс фамилии, которая в действительности имеет итальянское происхождение). Легенда, подкрепленная шутливой песенкой Виана о «славянской душе», благополучно дожила до наших дней, перекочевала в Россию и весьма помогла выходу в свет первого сборника писателя на русском языке (1983 год); легенда эта, случается, еще и сейчас вводит людей в заблуждение.

224

С 1921 года семья жила на двухэтажной вилле. Чтобы дети не соприкасались с внешним миром, учителя и парикмахер приходили на дом. Кроме того, в доме было еще одно важное лицо, почти член семьи, участвовавший в домашних концертах и привлекавший восхищенное внимание детей: итальянец Пиппо Баррицоне, или попросту «Ла Пип» — трубка. В прошлом солдат Иностранного легиона, Пиппо был у Вианов и садовником, и метрдотелем, и специалистом по разделке мяса, и певцом, и неутомимым рассказчиком, пересыпавшим речь забавными словечками, которые Борис впоследствии вложит в уста одного из героев «Осени в Пекине».

Временами семья выезжала на море: в Нормандии ей принадлежал дом с пляжем и экзотическим садом. Позже дом в Ландемер и сад с тропическими растениями воскреснут в романе «Сердцедер».

В Виль-д'Авре соседями Вианов была семья Жана Ростана, крупного французского биолога и сына дра-

матурга Эдмона Ростана. С Ростанами Вианов связывали давние отношения: в XIX веке дед Бориса, бронзовых дел мастер, отливал Эдмону Ростану решетки для сада.

В 1929 праздник кончился: разразился промышленный кризис, Поль Виан разорился. Особняк пришлось сдать. Первыми арендаторами стали Менухины. Отношения между семьями сложились хорошие; юный Иегуди частенько захаживал поиграть с Борисом в шахматы. Вианы же перебрались в дом привратника. О том, чтобы продать имение, родители не хотели и слышать: слишком дорожили сложившимися традициями. Но дальнейшая судьба виллы сложится совсем печально: в 1935 ее сдадут новым арендаторам — южноамериканскому арендатору с большим семейством. В результате от всей мебели сохранится лишь пара старых кресел. В 1944, после смерти Виана-отца, имение пойдет с молотка за бесценок.

Учился Борис легко — сначала в лицее в Севре, затем в Версале и наконец в Париже. В пятнадцать лет получил степень бакалавра по латыни и греческому, в семнадцать — по философии и математике. Из живых языков знал английский и немецкий.

В доме Вианов была огромная библиотека, и Борис довольно быстро пристрастился к книгам. Этому интересу способствовали и литературные наклонности взрослых. Но сам Борис в те годы о литературной карьере и не помышлял, книги были для него лишь развлечением. А так как времена менялись и нужно было выбрать профессию, он выбрал профессию инженера. Армия Борису не грозила из-за большого сердца: в два года он перенес сильнейшую ангину, осложнившуюся ревматизмом, а перенесенный в пятнадцать лет брюшной тиф обострил болезнь сердца и привел к аортальной недостаточности.

Друзей у Бориса и его братьев было великое множество. Они составляли обособленный, закрытый мир, имевший свои традиции, законы, кодекс чести и прозвища. За Борисом закрепилось прозвище Бизон, «Би-

зон Рави» (восторженный бизон) — анаграмма Бориса Виана — станет одним из псевдонимов писателя.

Матушка Пуш стремилась привить детям любовь к классической музыке и регулярно устраивала домашние концерты. Но они дали неожиданный результат: Борис возненавидел Моцарта; зато все дети выказали неодолимую тягу к джазу. В 1937 г. Борис стал членом Hot-Club de France, почетным президентом которого был Луи Армстронг. В «Ле Фоветт» образовался домашний оркестр: Лелио играл на гитаре и аккордеоне, Ален — на аккордеоне и ударных, Борис освоил трубу, и, хотя при сердечной недостаточности такой род занятий строго противопоказан, родители смирились с выбором сына. Джазу мальчики учились самостоятельно, слушая редкие радиопередачи и позаимствованные у знакомых пластинки. Самодеятельный оркестр Вианов часто играл в Сен-Клу и в Севре, но чаще всего в просторной бальной зале «Ле Фоветт».

В 1939 году у Бориса появилась невеста по имени Монетт. Борис уже поступил в Центральную школу и заработал право на первое самостоятельное путешествие. Он отправился отдыхать в Вандею со своим другом Зизи (Роже Спинар), тоже новоиспеченным студентом «Эколь сантраль». Монетт отдыхала неподалеку, но ни Поль Виан, ни матушка Пуш ни о чем не догадывались. Это был первый глоток свободы в жизни Бориса.

Начало Мировой войны не изменило уклад жизни Вианов. Мало интересуясь ходом военных действий и политикой, они лишь переживали за своих близких. Поль Виан придерживался антимилитаристских взглядов; Борис предвидел скорое поражение французской армии, хотя не понимал еще, чем оно грозит. В ноябре 1939 он начал свой первый учебный год в Центральной школе, которая с началом войны переехала из Парижа в Ангулем. Старший его брат Лелио к тому времени уже проходил военную подготовку.

К весне обстановка в стране изменилась. Захватив Фландрию, немцы шли на Францию. Бельгия капиту-

лировала, французская армия была разбита. В мае Париж наводнили беженцы. «Эколь сантраль» закрылась, не дотянув до конца учебного года. Родные Бориса тоже вынуждены были бросить дом; предупредив его, они погрузились в машину и через Ангулем отправились в Капбретон, курортный городок на берегу Бискайского залива. А 14 июня немцы вступили в Париж.

На берегу моря в это время царил покой. Все семейство Вианов снимало в Капбретоне виллу. Ален вскоре познакомил Бориса со своими новыми друзьями, братом и сестрой Леглиз. Клоду суждено было стать другом Бориса, а Мишель — его женой.

Клод и Мишель жили в Капбретоне одни. У них недавно утонул в море младший брат; похоронив ребенка, мать оставила старших и уехала на юго-запад Франции вслед за мужем. Мишель в то лето исполнилось двадцать, все находили ее очаровательной. Первым за ней стал ухаживать Ален, он катал ее на лодке и приглашал на джаз-вечеринки, которые по традиции устраивали Вианы.

Вместе с Леглизами в компании появился еще один человек, их троюродный брат Жак Лустало, будущий друг Бориса. Он получил прозвище Майор и под этим именем вошел в произведения Виана. Это был эксцентричный юноша, склонный к шокирующим выходкам, очень эрудированный; он был также великолепным танцором и большим любителем джаза. На мир он смотрел единственным (левым) глазом, поскольку правый потерял в десятилетнем возрасте: произошел несчастный случай, разорвалась гильза, но Лустало распространял легенду о раннем отращивании к жизни и попытке самоубийства. Со своим стеклянным глазом Майор любил проделывать всякие фокусы: глотал его, бросал в рюмку с анисовым ликером (несмотря на юный возраст, Лустало много пил), терял, находил, предъявлял в качестве пропуска... Еще Майор любил гулять по крышам, выбрасывать в окно ковры, чтобы расшевелить скучающих друзей, или, швырнув с бал-

кона телефонный аппарат, спуститься по проводу на улицу. С вечеринок он редко уходил через дверь — обычно выпрыгивал в окно. Один такой уход станет для него роковым — это случится 7 января 1948 года. Никто так и не узнает, был ли это несчастный случай или самоубийство. Майору будет всего двадцать три года.

В августе 1940 Вианы вернулись домой. Уже было подписано перемирие с Германией, повсюду хозяйничали немцы, подавленная Франция и не думала давать отпор. Впрочем, власть оккупантов ощущалась лишь в Париже, а в Сен-Клу и Виль-д'Авре немцев почти не было. «Эколь сантраль» вернулась в Париж, и Борис готовился к новому учебному году.

Остаток лета Мишель провела в Капбретоне, они с Аленом писали друг другу письма. В сентябре она уже в Париже и приглашена на традиционную «свинг-ти» в «Ле Фоветт». (В сороковые годы французская молодежь все больше поддается американскому влиянию, и вечеринки уже именуются на американский манер.) С этого «свинг-ти» и начинается романтическая история Мишель и Бориса, а ветреный Ален, утратив интерес к чересчур серьезной девушке, уступает место брату. Следует вежливое выяснение отношений между новой возлюбленной Бориса и его прежней невестой, затем бурное объяснение между Борисом и Монетт, после чего та, хлопнув дверью, навсегда покидает улицу Прадье. А роман Бориса становится для всех секретом Полишинеля, о котором из деликатности никто не говорит вслух. Матушке Пуш Мишель не понравилась, и между ними раз и навсегда установились натянутые, чуть смягченные юмором отношения.

Мишель Леглиз происходила из семьи, совсем не похожей на семейство Вианов. Родители ее в молодости были педагогами, что наложило неизгладимый отпечаток на стиль воспитания и отношений между близкими. С детьми были предельно строгими, каждый их шаг контролировали, нередко на них кричали. Чтобы оградить себя от родительского давления, Мишель

много читала; как и Борис, к двенадцати годам она проштудировала всю мировую классику. Она великолепно знала английский, немецкий и немного итальянский: благодаря связям отца она побывала в Англии, Германии и Италии.

В феврале 1941 один из поклонников Мишель сделал ей предложение; это был студент из Гренобля, сын богатых и достойных родителей. Мишель ему отказала. Разразился семейный скандал, и мать пригрозила сослать ее в Бордо к теткам, если она немедленно не выйдет замуж — если не за этого юношу, так хотя бы за нового друга из «Эколь сантраль». Мишель пожаловалась Борису, и тот ответил: «Ну что ж, в таком случае поженимся!» 12 июня 1941 состоялась помолвка, а 5 июля — свадьба с гражданской и церковной церемониями. Биографы отмечают, что невеста опоздала к венцу, так как долго не могла приклеить накладные ресницы, зато ногти на руках и ногах она ухитрилась покрасить в белый цвет, что было с восторгом воспринято молодежью.

А месяц спустя молодая чета уже ждала потомства.

В августе 1941 гестапо арестовало Пьера Леглиза, отца Мишель. Возмущенный пронацистской политикой Петена, он передал в Лондон секретные данные французской авиации. От смерти Леглиза спас старый немецкий друг, убедивший гестапо, что такой крупный специалист в области авиации нужен Германии живым. Пьера Леглиза отправили в Берлин, жена последовала за ним, оставив сыну, Мишель и Борису большую квартиру на улице Фобур-Пуассонньер. Но там было холодно, вокруг сновали немцы, и молодые предпочитали жить в Виль-д'Авре. Жизнь с родителями была по-своему трудна. К тому же настали голодные времена, матушке Пуш приходилось самой ходить за покупками, выстаивать длинные очереди у пустых магазинов; за столом она доедала за своим детьми, не решаясь взять лишний кусок и жалуюсь на отсутствие аппетита. Все это злило Бориса и усугубляло взаимное недовольство.

Времена были трудные, но молодежь не желала мириться с мрачной реальностью, она веселилась еще беспшабашней, чем прежде. Вечеринки в бальной зале следовали одна за другой, по две в неделю. Эти отчаянные, уже не столь целомудренные увеселения с изысканным юмором описаны Вианом в романе «Сколопендр и планктон». Медленные танцы были вытеснены современными ритмами, и партнеры демонстрировали чудеса быстроты и акробатики. Сам Борис не пил и не танцевал на этих праздниках; в избранном обществе друзей он слыл непревзойденным организатором. Бальная зала в «Ле Фоветт» стала весьма популярна в округе.

Традиционные вечеринки, куда Борис и Мишель являлись с маленьким сыном под мышкой (Патрик Виан родился 12 апреля 1942), не были единственным развлечением. Они много читали, очень любили американскую литературу, шумными компаниями ходили в кино. В июле 1942 Борис с облегчением закончил Центральную инженерную школу и нашел себе скучную, но сносно оплачиваемую работу в «Ассоциации по нормализации» (AFNOR), которая занималась совершенствованием и стандартизацией формы всевозможных бытовых предметов. Для начала Борису предложили установить оптимальную форму для стеклянной бутылки. Главным достоинством этой работы было то, что она оставляла время и силы для других занятий.

Главной страстью Бориса оставался джаз. После вступления в Hot-Club de France он не переставал играть в оркестре. В марте сорок второго благодаря Алену Борис познакомился с Клодом Абади, тоже заядлым джазистом. Абади играл на кларнете и успел сколотить собственный оркестр, который в 1942 завоевал Кубок Hot-Club de France на конкурсе джазистов-любителей. Вскоре оркестр Клода Абади в новом составе: Борис (труба), Ален (ударные), Лелио (гитара) — всего шесть человек — стал играть по вечерам в парижских барах и кафе. В 1943, чтобы порадовать хворающую Ми-

шель, оркестр некоторое время называли Абади-Виан. К тому времени он уже был весьма популярен. Но, несмотря на свой весьма высокий профессиональный уровень, музыканты не желали иметь нечего общего с профессионалами. Они не носили традиционных белых пиджаков, предпочитая выступать в темно-синих костюмах, что давало им возможность в перерывах сойти со сцены, поесть и потанцевать, не привлекая внимания. Они играли в свое удовольствие и только то, что сами хотели, никогда — на заказ. Естественно, что это не всегда нравилось владельцам заведений, порой случались скандалы. Однажды, к примеру, хозяин отказался платить, сославшись на малое число клиентов. В отместку джазисты унесли с собой несколько клавиш от рояля.

Оркестр Абади-Виан играл в новоорлеанском стиле. Это был свинг, стиль Дюка Эллингтона, забытый после 35-го года: ритм сердца, который «будит чувства, разум, не знаю что... воспоминания, ассоциации...» — так писал Виан в «Джазовых хрониках». Сам Борис, играя на трубе, подражал всеми забытому Биксу Байдербеку. Этот американский джазист, живший с 1903 по 1931, играл на кларнете и был единственным из белых музыкантов, кто по уровню мастерства не уступал великим чернокожим. Бикс Байдербек, в свою очередь, был последователем Луи Армстронга. Играл он краешком рта, в нежном, лирическом стиле. Борис тоже играл на трубе краешком рта, твердо стоя на расставленных ногах. «В истории джаза мало было трубачей, которые играли бы так же: не копируя у Бикса, а вдохновляясь его примером. Борис перенял у Бикса сладострастный, романтический, цветистый стиль, сильно отличавшийся от жесткого стиля трубачей новой эпохи, и охотно играл его репертуар. Старые пластинки Бикса на 78 оборотов, которые в сороковые годы слушали на патефонах-развалюхах, нещадно шипели, но от них веяло старинным очарованием, к которому Борис был очень восприимчив. А когда Виан сам начинал играть, это было настоящее

продолжение Бикса, очень «свинговое», что, собственно, и являлось главным достоинством...» Так отзывался об игре Виана его друг Клод Леон.

С Леоном Борис познакомился через Клода Абади, который пригласил этого музыканта-любителя, игравшего на улице Клиши, в оркестр. В начале войны еврей Клод Леон попал в концлагерь. Как он выбрался оттуда — история умалчивает, во всяком случае, он вернулся в Париж, участвовал в Сопротивлении, работал в химической лаборатории Сорбонны, там он делал взрывчатку. В оркестр Клода Абади Леон смог вернуться только в 1944, после Освобождения. Тогда он и познакомился с Вианом. На превой же репетиции Борис попросил Клода Леона, сидевшего на ударных, играть погромче. Леон изумился — обычно ударников просят стучать потише. Между музыкантами быстро возникла симпатия, переросшая в дружбу. Они во многом были схожи: оба талантливые «технари» (Леон — блестящий химик, Виан — находчивый инженер, на счету которого несколько запатентованных изобретений), оба — фанатики джаза. Оказалось, что и живут оба по соседству, и любят одних и тех же писателей... Вот только о своих левых взглядах и Сопротивлении Клод предпочитал молчать, а Борис ничего не говорил о своей аполитичности.

За Клодом Леоном закрепилось прозвище Доди (или Додди), под которым он вскоре вошел в новеллы Бориса Виана.

Часть 2

В январе 1943 оркестр Клода Абади принимал участие в VI французском турнире джазистов-любителей. Увы, неудачно. Стиль Билла Колмана, который они имитировали, не имел успеха у жюри. На следующий год состоялся VII турнир. На этот раз оркестр произвел на жюри благоприятное впечатление, но совершил неосторожность, исполнив иностранное произведение. Гран-При опять достался другим. Тем не менее попу-

лярность победителей турнира 1942 года росла, их считали одним из лучших джаз-оркестров времен оккупации. Музыканты выступали вечером или по ночам, им или платили процент от сборов, или просто кормили, что по тем временам было уже немало. Случалось, их приглашали на крупные официальные празднования.

В 1943 Алена, Лелио и еще кое-кого из их товарищей забрали в Германию на молодежную стройку — это было одно из направлений политики Виши. Тогда Клод Абади и Виан организовали октет с участием замечательных музыкантов, братьев Юбера и Рэймона Фоль. Оркестр привлек внимание Клода Лютера, в будущем известного кларнетиста, который в то время стремился подражать Абади и Борису. Так завязались новые дружеские связи. О Лютере Виан тоже будет часто вспоминать в своих книгах.

В марте 1944 журнал «Джаз-хот», орган Hot-Club de France, предложил анкету о положении в мире джаза. Борис отозвался поэмой «Референдум в форме баллады», которую подписал своей излюбленной анаграммой Бизон Рави. Позже поэма вошла в сборник «Сто сонетов», а в 1944 получила второй приз Клуба.

В декабре 1944, уже после Освобождения, состоялась VIII турнир джазистов. И хотя Гран-При получил ансамбль Поля Вернона, публика была в восторге от оркестра Абади. В 1944-45-ом популярность оркестра растет, в ноябре 1945 на международном турнире в Брюсселе оркестр Абади завоевывает четыре кубка, приз и звание победителя. А в марте 1946, на IX турнире в Париже, он получает наконец Гран-При. Теперь за ним слава самого старого любительского оркестра; по этому случаю все восемь музыкантов выступают с длинными белыми бородами.

В Брюсселе оркестр так понравился владельцам ночных заведений, что музыкантов снова приглашают в Бельгию на Рождество и Новый год, пообещав солидное вознаграждение. Эта поездка надолго запомнилась Борису и его друзьям. В послевоенной Бельгии

жизнь складывалась несколько легче, чем в Париже, во всяком случае, в кафе была еда, а в магазинах — товары. Не имея права перевозить деньги через границу, артисты должны были все потратить в Брюсселе. Накупив обуви, капроновых чулок и мужских носков, они решили запастись тканями. Километры материи были аккуратно свернуты и рассованы по музыкальным инструментам. На границе таможенник спросил, что внесено в декларацию. Музыканты, не моргнув глазом, предъявили пакетик цикория. Когда же таможенник недоверчиво постучал по барабану, Борис с любезной улыбкой проговорил: «Месье, должно быть, тоже музыкант?» Авантюра прошла благополучно.

В 1945-ом освобожденный Париж заняли американские войска. Грезившие Америкой Борис и его друзья были на седьмом небе от счастья: вот кто по достоинству должен был оценить их джаз. Разочарование наступило очень скоро. Американцы оказались совсем другими, чем их воображали себе поклонники Фолкнера и Дос Пассоса — реалисты до мозга костей, бесшабашные весельчаки, не упускавшие ни малейшей возможности подзаработать. О джазе они и слыхом не слыхивали. Американцы стали охотно приглашать к себе французские джаз-банды, но пределом их мечтаний было модное «Бесаме мучо» и популярные мелодии, под которые можно было потанцевать и потискать французских красоток.

Писать Виан начал после двадцати лет. В поездках между Парижем и Виль-д'Авре, на работе, в барах он сочинял стихи. Сидя в АФНОР-е, принялся их разбирать, составлять сборник. Сборник «Сто сонетов» содержит 112 стихотворений, в том числе десять виртуозных сонетов-баллад. Сохранившийся рукописный вариант сборника украшен цветными иллюстрациями Петера Нья (псевдоним Клода Леглиза).

В 1942 Виан написал сказку. У Мишель, ожидавшей появления Патрика, воспалилась щитовидка, сам Борис лежал с ангиной и осложнением на почки. То-

гда, чтобы развеять тоску, Мишель попросила мужа сочинить ей волшебную историю. Так появилась на свет «Волшебная сказка для не вполне взрослых». История вышла мрачноватая: прекрасный принц Жозеф бродит по свету в поисках мешка сахарного песка, встречая на своем пути королей-шизофреников, злых принцесс-отравительниц и дураковатых троллей. Здесь уже есть и симпатичные человекоподобные животные, и одушевленные предметы, и замысловатые каламбуры, и горечь разочаровавшегося романтика — все, что будет так характерно для Виана-писателя.

Едва закончив сказку, Борис принялся за другую невероятную историю, главным героем которой был Майор, фигурирующий там под своим истинным именем. В «Разборках по-андейски» сам Борис разделяется на Антиоха де Тамбретамбра, Барона Визи (Барона д'Элда в русском варианте) и полицейского Бризавьона (Самолетогон; последние два имени — анаграммы Бориса Виана). Роман изобилует остроумными каламбурами, сногсшибательными приключениями в лучших традициях детективного романа, эротическими изысками и вообще всякими забавными невозможностями. Борис писал его в несколько приемов, переделывая и перекраивая. К маю 1943 Мишель закончила перепечатку, и рукописная книга стала достоянием всех друзей Бориса.

В 1943-44 был написан «Сколопендр и так далее...», позднее озаглавленный «Сколопендр и планктон» и получивший статус романа. Это пронизанное озорным юмором произведение обычно воспринимается литераторами как юношеская проба пера, вариация на тему «Разборок по-андейски». Кое в чем они не совсем правы: все, что писал Виан, было юношеским или почти. «Сколопендр» был доброжелательно принят любимым советчиком Виана Жаном Ростаном, а позже получил одобрение многих серьезных писателей.

В 1944, пытаясь внести некоторое разнообразие в скучные будни АФНОР-а, Виан составил «Стандартизированный перечень ругательств среднего француза»,

применив к известным лексическим пластам принципы классификации, используемые в бюро. Серьезным это творение, разумеется, не назовешь, но и в остроумии не откажешь.

В начале сороковых Борис и Мишель писали сценарии. Ален в то время пытался заниматься режиссурой и обещал куда-нибудь их пристроить. Сценарии, судя по всему, были далеки от совершенства и до сих пор не заинтересовали никого из почитателей виановского таланта.

А в ноябре 1944 для Бориса и его братьев неожиданно кончилось так долго тянувшееся счастливое детство: забравшиеся в дом среди ночи грабители застрелили отца. После смерти хозяина виллу продали. Мать, тетя Заза и больная диабетом Нинон, успевшая развестись с мужем, сняли в Париже небольшую квартиру. Борис и Мишель перебрались на улицу Фобур-Пуассоньер. Перед тем как навсегда покинуть «Ле Фоветт», Борис заперся в бальной зале и исполнил прощальное соло на трубе.

В Виль-д'Авре Виан приезжал теперь только в гости — поиграть в шахматы с Жаном Ростаном, прочесть что-нибудь из свеженаписанного. Там он читал вслух своего «Сколопендра». Ростану «Сколопендр» понравился настолько, что он отдал рукопись Бориса своему знакомому, писателю Рэймону Кено. Кено был генеральным секретарем издательства «Галлимар» и готовил новую серию «Перо по ветру» — для выявления молодых дарований. Он одобрил «Сколопендра» и попросил Бориса лишь упростить некоторые имена и каламбуры. Отзыв Кено чрезвычайно польстил Виану: в 1944 Кено был известен как бывший приверженец сюрреализма, мастер пародии и вербальных игр, черного юмора и парадокса; это был человек энциклопедической эрудиции, виртуозно владевший всеми слоями языка, занимавшийся всерьез живописью, математикой, лингвистикой, логикой; вместе с женой (сестрой Андре Бретона) он переводил на французский английских и американских авторов. К моменту зна-

комства Борис прочел его роман «Мой друг Пьеро», написанный в 1942. Кено и Виан оказались внутренне схожи и быстро нашли общий язык. Сорокадвухлетний Кено сдружился с молодежью, его стали приглашать на вечеринки, возили слушать джаз в кафе или играть в шахматы к Ростану; однажды Борис играл ему на трубе в его кабинете в журнале «Нувель Ревю Франсэз». 1 В рукопись «Сколопендра» была внесена небольшая правка, в 1945 издательство «Галлимар» одобрило роман, в октябре 1946 книга вышла в свет.

К инженерно-бюрократической работе Борис начал испытывать отвращение и все больше времени посвящал сочинительству. В 1945 он написал новеллу «Мартин позвонил мне», в 1946 — «Южный бастион». Виан не стремился публиковать свои новеллы, единственными читателями были Мишель, которая исправно перепечатывала все на машинке, и, возможно, Кено. В это же время Борис заключил договор с Галлимаром на сборник новелл «Часики с подвохом». Но ни одна новелла для этого сборника так и не была написана, известны лишь несколько вариантов предисловия, написанные Вианом. В 1962 Жан-Жак Повер опубликует под этим названием три новеллы Виана, датированные сорок восьмым — сорок девятым годами: «Зовут», «Пожарники» и «Пенсионер».

В феврале 1946 Виан ушел из АФНОР-а и поступил на другую работу, куда его устроил Клод Леон. Это было Государственное управление бумажной промышленности. Виан и Леон сидели в одной комнате, и Борис с загадочным видом что-то писал, благо работы было немного. Пару месяцев спустя выяснилось, что писал он роман. Виан держал свой замысел в глубоком секрете, даже Мишель почти ничего не знала. А возникла идея романа «Пена дней» так: в 1943 издательство Галлимара учредило премию Пляды для начинающих писателей. Победитель получал крупное денежное вознаграждение и право публиковать свое произведение в любом парижском издательстве. В 1944 эту премию присудили Марселю Мулуджи, из-

вестному исполнителю песен, за роман «Энрико»; последнюю премию (в 1946) получит Жан Жене за пьесу «Служанки».

Секретарем премиальной комиссии был назначен Жак Лемаршан, которого Борис помянет доброй шуткой в «Осени в Пекине», членами жюри — Андре Мальро, Поль Элюар, Марсель Арлан, Альбер Камю, Жан Полан, Рэймон Кено, Жан-Поль Сартр и еще несколько человек. Виан решил попытаться счастья и в марте засел за работу. К маю роман был готов: озорная, остроумная и в то же время грустно-чарующая сказка. Мишель плакала, перепечатывая «Пену дней». Рукопись понравилась Кено, который нашел, что Виан опередил свое время; ее одобрил Лемаршан. Доброжелательно отозвалась о ней и Симона де Бовуар, которая успела прочесть ее до Сартра; она даже задумала опубликовать отрывки в новом литературно-философском журнале «Тан Модерн».

238

У Виана практически не было литературных соперников, премию сулили ему. И совершенно неожиданно присудили ее далеко не начинающему автору — поэту и аббату Жану Грожану, в его пользу прозвучало восемь голосов из двенадцати. Против «Пены дней» вели активную кампанию Жан Полан и Марсель Арлан, за что были сурово наказаны Вианом той же «Осенью в Пекине» и в новелле «Примерные ученики».

Борис был совершенно убит известием о своем провале, и Гастон Галлимар поторопился заключить с ним договор на издание «Пены дней». Роман вышел в престижной «белой серии» в 1947 году. И все же в течение нескольких месяцев после истории с премией во всем, что писал Борис, сквозила обида. Вот, к примеру, несколько едких строк на тему:

*Открыть однажды поутру окно
И помочиться сверху на Арлана (вариант — Полана)
Куда как славно.*

К этому времени Жан-Поль Сартр уже год был парижской знаменитостью. Уже были написаны «Тошнота» (1938), сборник новелл «Стена» (1939), «Бытие и ничто» (1943), пьесы «Мухи» (1943) и «За закрытой дверью» (1944). Его лекция «Экзистенциализм — это гуманизм», прочитанная 29 октября 1945 года, стала событием и положила начало новой философской эре; Сартр стал знаменит как основоположник новой послевоенной философии.

Многие из друзей Виана считали себя приверженцами Сартра и предлагали Борису познакомить его с модным философом. Но Борис не признавал авторитетов и ждал, пока Сартр найдет его сам. Так и случилось.

В марте 1946 Кено представил Виана Симоне де Бовуар. Сартр в это время находился в Соединенных Штатах, увлеченный некоей Долорес Канетти (подобные случаи хоть и вызывали приступы ревности, но не выходили за рамки сложных отношений между Сартром и «Бобром», т. е. Бовуар). Встреча между Борисом и Симоной де Бовуар состоялась в баре гостиницы «Пон Руаяль», так как излюбленное пристанище экзистенциалистов, кафе «Флора», стало слишком модным и людным. Кено предложил Симоне прочесть «Сколопендра» и рассказал о «Пене дней», которая только создавалась. Бовуар не позволила очаровать себя сразу, вначале она отметила, что Борис любит слушать самого себя и поражать окружающих парадоксальными высказываниями. Впрочем, после второй встречи она все же поддалась его обаянию. Встреча состоялась 17 марта на «торто-пирожной» вечеринке в квартире Бориса и Мишель. Борис и Симона проговорили на кухне за чашкой кофе всю ночь — о литературе, джазе, его книгах... И расстались нежными друзьями. Когда Сартр вернулся наконец в Париж, Симона «преподнесла» ему очаровательную пару: талантливого писателя и его прелестную жену.

Борис тоже очаровал Сартра: бледный и загадочный трубач с кривой усмешкой на губах, умница и

всезнайка, неутомимый собеседник, умеющий серьезную и скучную экзистенциалистскую беседу разбавить изысканно-насмешливой остротой. К тому же Виан открыл Сартру мир джаза и способен был часами говорить об Америке. Борис держался с новым знакомым, как и вообще со всеми, на равных, не признавал никакой иерархии, ни социальной, ни интеллектуальной, он был слишком уверен в себе, в своей эрудиции, в своем таланте.

Журнал «Тан Модерн», провозвестник экзистенциалистской мысли, распахнул перед Борисом свои двери. Специально для Виана Сартр открыл новую рубрику; так родились придуманные Вианом «Хроники лжеца». Главной задачей хроникера было развлекать читателя и, не говоря ни слова правды, прозрачно намекать на реальные события. Лжец острил по поводу несуществующих фильмов, подшучивал над популярностью Пиаф и Арагона, сочинял небылицы про Америку, где никогда не был, он не боялся подтрунивать даже над Сартром. За год с небольшим Виан написал для «Тан Модерн» пять хроник и одну статью; не все, правда, было опубликовано при его жизни. Зато на страницах журнала увидели свет отдельные главы из «Пены дней» и новелла «Мурашки», понравившаяся Сартру мрачным, кровавым юмором и антивоенной направленностью. Тема войны необычна для Виана. Это была поздняя реакция на рассказы друзей и своеобразная месть за смерть отца.

К середине сороковых Борис начал относиться к литературе профессионально, он без пиетета взирал на собратьев по перу, делая некоторое исключение разве что для Сартра и Кено. О литературе говорить не любил: он ее делал. Это была позиция — такая же, как его упрямая аполитичность. Он демонстративно отказывался от ангажированности, предпочитая быть свободным, а если и бунтовал, то в одиночку. Этот принципиальный индивидуализм, страх перед массовостью и коллективизмом настолько четко сформулирован в авторском предисловии к «Пене дней», что, когда ро-

ман публиковали в СССР в начале восьмидесятых, предисловие пришлось полностью выбросить.

Сорок шестой год был для Бориса богат событиями, дружескими связями, работой. День он обычно начинал с присутствия в Управлении бумажной промышленности, где втайне от начальства писал книги. Вечера после восьмичасового рабочего дня были сплошь заняты выступлениями в барах и кафе, теперь уже в Сен-Жермен-де-Пре, где кипела артистическая и интеллектуальная жизнь столицы. Дома Борис столярничал, вечно что-то мастерил. По ночам не мог спать, рассвет встречал за письменным столом — его, как многих сердечников, мучала бессонница. Сердечная недостаточность становилась все мучительней, организм быстро изнашивался. Борис торопился жить. «Каторжник — не тот, кто работает по принуждению, а кто не делает того, что обязан делать», — прочтут потом в его дневнике.

Сорок шестой год оказался плодотворным и в смысле литературы: кроме «Пены дней» и еще двух романов, «Осени в Пекине» и «Я приду плюнуть на ваши могилы», Виан написал несколько новелл; одна из них, «Желторотая тетеря», была напечатана в журнале «Ла Рю». Остальные автор не торопился предлагать в журналы, ему почему-то больше нравилось складывать их в стол. Зато он делал переводы для «Аж Нуво», работал для журналов «Комба», «Опера», писал статьи о джазе для «Хот Ревю» и «Джаз-Хот» (в этом ему помогала Мишель).

В декабре «НРФ»⁷ организовал в галерее «Плеяды» выставку картин и рисунков известных писателей. Девиз выставки гласил: «Если вы умеете писать, зна-

⁷ Литературный журнал «НРФ» был учрежден в 1909 году группой писателей, в которую входили Жак Копо, Андре Жид и др.; в 1909 г. «НРФ» открыл собственное издательство с Гастоном Коллимаром во главе. Театр «Вье Коломбье», созданный в 1913 г., был своего рода театральным филиалом «НРФ». В период между мировыми войнами «НРФ» был самым престижным литературным журналом Европы.

чит, умеете и рисовать». Были представлены работы Верлена, Аполлинера, Арагона, Бодлера, Тристана Тцара, Кено... А также Виана. Никогда не державший в руках кисть, Борис за несколько недель написал специально для выставки шесть картин, достаточно интересных и талантливых. Одна из них, «Железные человечки», была выставлена в галерее.

Часть 3

К этому же периоду относится и первый киноопыт Виана: вместе с ансамблем Клода Абади его пригласили сниматься в эпизоде фильма «Мадам и ее любовник» режиссера Жана Маргена. Впечатления от этих дней отразились позже в новелле «Статист».

Но все же главным занятием для Виана был в то время, пожалуй, джаз. Нельзя настаивать на подобно-го рода утверждениях, даже опираясь на биографов, ибо есть вещи, которые человек и сам про себя не знает наверняка. Виан был натурой скрытной и противоречивой, то, что про него рассказывают одни, порой опровергается заявлениями других.

Итак, главным в то время был, вероятно, джаз — и Сен-Жермен-де-Пре. Об этом квартале и его достопримечательностях к 1950-му Борис напишет книгу. Путеводитель по Сен-Жермен-де-Пре ему закажут в 1949; за неделю книга будет написана, до 1950 Виан будет переделывать и дополнять ее, но «Учебник по Сен-Жермен-де-Пре» так и не выйдет в свет при жизни автора; более того, рукопись и гранки будут утеряны. Через много лет после смерти писателя текст «Учебника» наконец отыщется, главный биограф Виана Нозль Арно дополнит его фотографиями, и в 1974 году издательство Шен выпустит книгу.

Сен-Жермен-де-Пре — бывшее предместье, а ныне один из центральных кварталов Парижа, расположенный на левом берегу Сены. С севера он ограничен набережными, с востока — улицей Дофин. Южные и западные границы условно можно обозначить улицей

Сен-Пер и бульваром Сен-Жермен. В тридцатые годы нашего века в этот уютный и живописный квартал перемещается культурная и артистическая жизнь Парижа, до того сосредоточенная на Мрнмартре, а затем на Елисейских Полях и Монпарнасе. Это перемещение отчасти объяснялось тем, что здесь расположились книжные магазины, переплетные мастерские и солидные книжные издательства: «Грассе», «Сток», «Фламма-рион», «НРФ», «Галлимар» и другие.

История Сен-Жермен-де-Пре тесно связана с историей многочисленных баров и кафе. Почти все хозяева сен-жерменских заведений — явление совершенно уникальное. В военные годы они спасли от голода многих писателей, журналистов, художников. Культурная жизнь Парижа, возможно, заглохла бы без их поддержки. В оккупированном городе рядом с пустыми магазинами всегда были гостеприимно распахнуты двери кафе, и хозяева за минимальную плату, а то и вовсе даром кормили чем могли своих подопечных. Плата по счетам откладывалась до лучших времен, когда клиенты прославятся и разбогатеют. Зато владельцы заведений охотно собирали на бумажных скатертях автографы и рисунки будущих знаменитостей.

Кафе «Липп» появилось на площади Сен-Жермен-де-Пре в 1871 году, когда эльзасец по имени Липпман открыл пивную, которую никто не называл иначе, как «у Липпмана» или «у Липпа». После Первой мировой название утвердилось окончательно, хотя владелец сменился. Здесь часто обедали Андре Жид, известный актер Луи Жуве, издатель Гастон Галлимар и многие другие.

Напротив «Липпа», на другой стороне площади, находится кафе «Дё Маго». С самого начала своего существования (с конца XIX века) кафе слыло сугубо литературным, что позволяло хозяевам без стеснения поднимать цены и поддерживать во всем, включая внешний вид посетителей, утонченную элегантность. Здесь во время приездов в Париж любил проводить время Джеймс Джойс, здесь были завсегдатаями Андре Бре-

тон, Поль Валери, Жан Жироду. «Король абсурда» Альфред Жарри стрелял здесь в потолок. В 1933 была учреждена литературная премия «Дё Маго», которую вручили Рэймону Кено.

Третье кафе, «Флора», появилось в середине XIX века, во времена Второй Империи. В начале XX века кафе стало популярным местом литературных встреч, хотя и не было отмечено изысканным вкусом «Дё Маго». Тем не менее именно во «Флоре» в 1912 году Гийом Аполлинер основал журнал «Парижские вечера». Здесь любили бывать Поль Бурже, Жорж Батай, опять-таки Бретон, Валери, Джойс, а также Кено, Жан Жене и многие другие французские и европейские писатели. Перед Второй мировой войной «Флора» привлекала внимание благодаря Жаку Преверу и его «банде», то есть группе «Октябрь»⁸, утвердившей в театре и кино поэтический реализм. 2 Сюда начали захаживать не только литераторы, но и художники, сценаристы, актеры (театр «Вье Коломбье» находился по соседству).

244

На рубеже 30-40-х годов, когда стихли шумные сходы группы «Октябрь», хозяином «Флоры» стал Поль Бубал, в будущем преданный друг своих клиентов. Поначалу его смущала строгая сосредоточенность завсегдатаев, приходивших в кафе работать и порой проводивших за столиком целый день. Вскоре он привык к этому и стал проявлять к своим постоянным клиентам поистине отеческую заботу: вечно бедные представители творческой интеллигенции могли поесть и выпить в кредит, а холодной зимой 1942 года хозяин специально поставил в зале печку. В военные и после-

⁸ Группа «Октябрь», созданная Превером, существовала с 1933 по 1936 год, ставила скетчи и спектакли на острые политические и комические сюжеты, участвовала в забастовках и митингах, пользовалась поддержкой Федерации рабочего театра Франции. В 1933 участвовала в московской Олимпиаде рабочих театров, где заняла первое место. Постепенно группа отошла от театра в область кинематографа. Наиболее выразительным образцом их творчества считается фильм Жана Ренуара «Преступление г-на Ланжа» (1935).

военные годы многие не имели крыши над головой, ночевали в гостиницах или ютились по углам; кафе было единственным местом, где можно было перекусить, согреться и пообщаться с товарищами.

Жан-Поль Сартр появился во «Флоре» зимой 1942 года. С ним была молодая учительница, Симона де Бовуар. Они устроились за разные столики в глубине зала, разложили бумаги и обосновались как дома. Приходили они каждый день, всегда утром, съедали что-нибудь на завтрак и работали до обеда. Потом уходили пообедать, оставив свои вещи; через некоторое время возвращались, чтобы просидеть до вечера, когда в кафе начиналось оживление. Вскоре во «Флору» к Сартру стали приходить ученики, начали звонить по телефону. Постепенно «Флора» стала центром экзистенциализма, и Сартр, спасаясь от почитателей и репортеров, нашел другое прибежище.

В этот мир в 1946 году и ввел Виана Жан-Поль Сартр. Вскоре Борис воцарится там как «Принц Сен-Жермен-де-Пре». Принц джаза, самой популярной музыки тех лет. Но произойдет этой чуть позже, в сорок седьмом, с обнаружением и открытием в Сен-Жермен-де-Пре подвалов и погребков. А летом сорок шестого произошло другое важное событие: родился Вернон Салливан.

Среди новых друзей Бориса было два брата: Жорж и Жан д'Аллюэн. Оба, разумеется, страстно любили джаз, играли сами — конечно, в новоорлеанском стиле. Жорж (он же Зозо), талантливый контрабасист, мечтал играть в оркестре Абади. А Жану не терпелось завести собственное издательство. Хотя пока что все его начинания заканчивались неудачно. У издательства уже было название: «Скорпион», не хватало только захватывающего американского романа. Париж в то время жаждал американских переводных романов «черной серии», а пальма первенства в этой области принадлежала Галлимару. Настоящие американские романы взять было неоткуда, и Жан решил обратиться за помощью к Борису.

Как-то в июле он разыскал его на Елисейских Полях в очереди перед кинотеатром и рассказал о своих бедах. Кто, как не Борис, который все на свете читал и блестяще знал американскую литературу, мог найти и перевести подходящий роман? После десятиминутного разговора судьба еще не существующего издательства была решена: Борис сам напишет американский роман, да такой, какого никто никогда не читал. Мишель авантюра пришлась по вкусу, тем более что семья едва сводила концы с концами.

Август Борис, Мишель и Патрик собирались провести в Вандее. С ними поехали отдыхать Зозо и кларнетист Мишель Ревельотти, приятель Мишель. На море Патрик сразу заболел коклюшем, и взрослые по очереди дежурили у его постели. Сидя ночью у кровати сына, Борис писал роман, который он решил назвать «Я приду сплясать на ваших могилах». Через неделю Патрику стало хуже, и Ревельотти повез его с Мишель в Париж, а Борис остался писать книгу. Имена Борис заимствовал из напумевших романов, географические названия выдумывал.

Две недели спустя роман-шутка, роман-пародия был готов. Всеобщий восторг был Борису наградой, оставалось придумать автора. При участии ближайших друзей новоиспеченному американцу выбрали имя Вернон — в честь Поля Вернона, музыканта из ансамбля Клода Абади, — и фамилию Салливен, в память о Джо Саллиvene, знаменитом джазовом пианисте. Мишель предложила поменять название, и Борис утвердил окончательный вариант: «Я приду плюнуть на ваши могилы».

Согласно легенде, Салливен был начинающим писателем, «белым» негром, то есть «перешедшим черту», не сохранившим видимых признаков негритянской крови; на родине ему грозили жестокие расовые законы; роман можно было издать только за границей и под псевдонимом. Как переводчик и специалист по американской литературе, Борис даже проанализировал в предисловии литературные корни американского

прозаика, «уловив» влияние Генри Миллера, Джеймса Каина, Фолкнера и Колдуэлла. С издательством «Скорпион» был заключен официальный договор, по которому Борис Виан, будущий переводчик всех будущих произведений вышеупомянутого писателя, являлся также его полномочным представителем во Франции.

К моменту выхода романа атмосфера в книгоиздательстве была уже накалена. Именно на это и рассчитывали Виан и «Скорпион», готовя свою бомбу. Два издателя, Галлимар и Робер Деноэль, обладали правами на две скандальные рукописи Генри Миллера, «Черную весну» и «Тропик Рака». Запустить обе книги одновременно им не удалось, так как в конце сорок пятого Деноэль застрелили. Ситуация с двумя романами осложнилась еще и тем, что у мориса Жиродиа, основателя издательства «Шен», оказались права на «Тропик Козерога», и он опубликовал его, усилив и без того растущее недовольство официальной общественности, которая в те десятилетия очень пеклась о моральном облике французского гражданина. Против трех книг Миллера выступала организация с пугающим названием: «Картель социального и морального действия»; во главе стоял протестант Даниэль Паркер. Шуму вокруг романов было много, Миллер раскупался на ура. А тут вдруг появляется еще один непристойный и жестокий роман, написанный каким-то нелегальным американцем! Пресса негодовала. Борис и Жан д'Аллюэн ликовали — лучшей рекламы и не придумаешь.

Очень скоро журналисты и критики стали догадываться, что Виан никакой не переводчик, а автор книги, и речь идет о наглой мистификации. Кое-кто додумался сравнить диалоги «американского» романа с «Хрониками лжеца» и «Сколопендром», который к тому времени уже вышел, не вызвав, правда, особого интереса. Сам Борис увиливал от прямых ответов, что тоже наводило на подозрения. Сартр не верил в подлог и хвалил роман за блестящую картину противоречий американского общества. Жан Ростан огорчился, что

его юный друг мог сам написать такую грубую и неприличную вещь. Галлимар не скрывал удовлетворения по поводу так выросшей популярности открытого им молодого автора. Кено был заинтригован и все попытывался, правда ли то, о чем пишут в газетах. А газеты писали, что скорее всего этот про-сартровский экзистенциалистский писатель, этот джазист из пресловутого Сен-Жермен-де-Пре, этот специалист по бумаге и картону совсем не переводчик, а настоящий автор скандальной книжонки. Виан должен был как-то реагировать, и он отшучивался: «Я не могу доказать, что Салливен существует, как вы не можете доказать, что его нет. Вы вольны верить во что хотите».

В феврале сорок седьмого «Картель» Даниэля Паркера подал в суд на автора «Я приду плюнуть на ваши могилы», обвинив его в нанесении ущерба общественной нравственности и нарушении закона о семье и браке. Но если у Генри Миллера было в Париже общество друзей, которое встало на его защиту, то Борис и Скорпион (утвердившееся прозвище Жана д'Аллюэна) вынуждены были сражаться в одиночку. Пытаясь убедить читателей в реальности существования Вернона Салливена, в феврале сорок седьмого Виан берется за новый роман, снова о белокожих неграх — «Мертвые все одного цвета». Главного героя он назвал именем своего официального обвинителя — Дэн Паркер. Добавив к роману новеллу «Собаки, желание, смерть», Борис отдает рукопись Скорпиону, который в том же году издал книгу. Более того, с помощью одного из друзей, американца Мильтона Розенталя, Виан перевел первый роман Салливена на английский язык. Перевод был опубликован Скорпионом в 1948 в качестве американского оригинала.

Но покоя с тех пор Виан уже не знал никогда: скандальная слава нависла над ним как проклятие и сопровождала его до конца дней. Имя Виана стало одиозным. А 29 апреля 1947 к убийствам, совершенным в романе, добавилось реальное убийство. В одной гостинице мужчина задушил свою любовницу и

скрылся, чтобы в одиночестве покончить с собой. На кровати рядом с телом жертвы он оставил первый роман Салливена, раскрытый как раз на сцене аналогичного убийства. Парижане забыли про Миллера и кинулись покупать ужасную книгу, толкающую людей на преступления. «Картель» Паркера возобновил обвинения, сумев привлечь на свою сторону ассоциацию ветеранов войны четырнадцатого года. Все стрелы летели в Бориса, и сколько бы он ни отпирался, никто не верил в Салливена, даже его адвокат. Не помогла и написанная Вианом статья «Я не убийца», в которой он доказывает, что всякий писатель имеет право на вымысел и вообще сосредоточен больше на своих переживаниях, чем на реальной действительности, а посему не может отвечать за реакцию читателей.

В августе сорок седьмого вышел новый закон о семье и браке, и Виан с Миллером попали под амнистию. Но романы Салливена продолжали раскупаться, и Скорпион печатал новый тираж. В 1948 Паркер опять подал в суд. Ничего неожиданного в этом не было, так как Виан как раз написал трехактную пьесу «Я приду плюнуть на ваши могилы», не пожелав воспользоваться маской Салливена. Пьеса была заказана режиссером Паскуали и поставлена в театре «Верлен» в апреле 1948. Она несколько разочаровала жаждавших эротики зрителей: все акценты были смещены в сторону тяжелого положения негров в Америке, имена героев изменены. Тем не менее ярлык «порнографии» так прочно прилип к названию, что в афишах название пьесы было стыдливо опущено.

Устав бороться, Борис в конце концов сознался, что автор скандальной книги — он сам. Сначала он обронил это при ком-то из чересчур дотошных знакомых, потом официально заявил в суде в ноябре 1948. Теперь ему грозили два года лишения свободы, штраф в 300 тысяч франков и окончательное запрещение книги. Дело было передано другому адвокату, весьма талантливому, который сумел свести наказание к уплате штрафа в 100 тысяч. Но пришло это уже в мае

1950. Вообще же дурная слава Салливена, подкрепленная его новыми произведениями, не давала Виану покоя до пятьдесят третьего года, когда его вновь приговорили, на этот раз к двум неделям лишения свободы... с тем, чтобы тут же объявить об окончательном помиловании.

После книги «Мертвые все одного цвета» Салливен написал еще два романа: в 1948 — «Уничтожим всех уродов» (самая талантливая вещь этого несуществующего автора, в которой он временами почти сливается с Вианом-писателем) и в 1950 — «Женщинам не понять». Книги были «переведены» Вианом и изданы Скорпионом. Но таким спросом, как первый роман, они не пользовались.

К сожалению, Салливена и Виана начали путать и путают до сих пор. Лучше все-таки помнить, что Виан и Салливен — не одно и то же. Салливен — это прежде всего искусная имитация американского «черного» романа, нарочито вульгарная, лишенная немного странной и грустной виановской серьезности, его искристо-го юмора и изысканного вкуса.

Расплатившись за озорную шутку годами преследований и нервного напряжения, Борис все же сумел поправить свои финансовые дела, ушел из Управления бумажной промышленности и купил подарков для близких. Он даже осуществил давнюю мечту: завел машину, старенький «БМВ», и с восторгом разъезжал по городу.

За всей этой шумихой с Салливенем никто не заметил новый роман Виана, четвертый по счету, — «Осень в Пекине». Борис написал его в своем Управлении осенью сорок шестого всего за три месяца. Писал легко, играючи, зачитывал отдельные куски Клоду Лелону, который подыскивал эпиграфы для глав. Ни об осени, ни о Пекине там, понятно, и речи нет: осень окружала Бориса, когда он писал роман, а «pekin» на арго означает «штатский». Каждый волен объяснять эти факты по-своему. Бесспорно одно: это самый сложный и глубокий роман Виана, не разгаданный со-

временниками, показавшийся непонятным даже Кено. Это также самый «виановский» роман Виана. Галлимар отказался печатать его, хотя по договору издательство имело права на еще восемь произведений Виана после «Пены дней». Не долго думая Скорпион опубликовал роман у себя (1947). Но критика так и не снизошла до серьезного к нему отношения. Задетый за живое, Борис старался обходить молчанием этот пункт своей творческой биографии и взялся за написание пьесы, которую озаглавил «Живодерня для всех». Кроме того, в его записных книжках уже мелькает новый роман, условно обозначенный им «R-3», о деспотичной матери и трех ее несчастных сыновьях.

Пьеса «Живодерня для всех» была закончена к апрелю сорок седьмого. Потом Борис несколько раз ее переделывал и сокращал: были упразднены четыре персонажа и 29 сцен из 57. После официального одобрения текста Жаком Лемаршаном и даже Жаном Поленом Галлимар издал пьесу в «Тетрадах Пяеяды». Это было произведение в духе Альфреда Жарри: пьесанасмешка, пьеса-провокация, «праздник неожиданностей», по выражению Аполлинера. Вплоть до 1950 Виан тщетно будет искать постановщика: после «шутки» с Салливеном никто не воспринимал его как серьезно автора.

Если писательский путь Виана был увит терниями, то его артистическая судьба складывалась вполне благополучно. Большой специалист по части устройства вечеринок и намешивания коктейлей, талантливый музыкант, остроумный собеседник, Борис быстро занял почетное место в кругу новых друзей. А когда в Сен-Жермен-де-Пре обнаружили и обжили винные погреба, в которых немедленно обосновались музыкальные клубы, Виан стал звездой этого «подпольного» мира, а Сен-Жермен-де-Пре — самым популярным кварталом Парижа.

Часть 4

Первым парижским подвальчиком был «Лорианте», только находился он не в Сен-Жермен, а в Латинском квартале. Официальное открытие состоялось 25 июня 1946. Владелец подвала пригласил туда Виана и Клода Лютера, и в течение нескольких месяцев они почти каждый вечер играли в «Лорианте», один на трубе, другой на кларнете. Потом Борис ушел, а Лютер остался и превратил прежний винный погреб в храм ново-орлеанского джаза. Теперь уже музыканты Клода Абади, которых когда-то он зачарованно слушал, приходили послушать знаменитого кларнетиста.

Вдохновившись успехом «Лорианте» и поддавшись уговорам своих именитых клиентов, среди которых были Сартр, Камю и Кено, хозяин «Зеленого Бара» Бернар Люка тоже решил устроить танцевально-музыкальный клуб и присмотрел для этого подвальчик на улице Дофин, в доме номер 33. На первом этаже, над подвалом, была обыкновенная пивная. «Табу» открылся 11 апреля 1947 года при содействии неистощимого на выдумки Фредерика Шовело, а в июне того же года в качестве постоянного оркестра туда были приглашены братья Виан, Клод Абади и талантливый контрабасист Ги Монтассю.

Из женщин в Сен-Жермен-де-Пре и в «Табу» в частности царили трое: юная, еще не запевшая Жюльетт Греко, ее «ангел-хранитель» Анн-Мари Казалис и Колетт Лакруа. Жюльетт Греко появилась в Сен-Жермен, когда ей было шестнадцать; одаренная безошибочным нюхом на стиль Казалис «открыла» ее и привела к экзистенциалистам. Жюльетт пришлось ко двору. Дома и родных в Париже у нее не было, ночевала она в гостинице и мечтала стать актрисой. Своим печальным видом, замкнутостью и бледностью она во многом способствовала утверждению «экзистенциалистской» моды. Это была одна из первых женщин, надевших брюки — не ради эпатажа, а потому что больше нечего было надеть. В «клане» Сартра она получила прозвище

Жюжюб, но сам Сартр и Виан называли ее более уютным именем: Тутун. Она стала «безмолвной музой Сен-Жермен-де-Пре».

Журналистка Анн-Мари Казалис попала к «экзистенциалистам» случайно — еженедельник «Франс Диманш» поручил ей сфотографировать мать Жана-Поля Сартра. Казалис писала стихи и даже однажды получила литературную премию имени Поля Валери; но читать вслух то, что писала, она не решалась. Есть у Анн-Мари Казалис еще одна заслуга: это она решила сделать из Греко знаменитость и превратила ее в певицу.

Колетт Лакруа была пламенной защитницей джаза и разбиралась в его тонкостях не хуже Виана и Лютера; именно ей принадлежала пальма превенства в открытии таланта Клода Абади — она угадала в нем будущего кумира меломанов еще в Лионе, где он учился в эвакуированной из Парижа «Эколь политекник».

Среди многих ярких личностей в «Табу» выделялся невысокий чернокожий юноша, Хот д'Де, из-за имени и роста шутливо называемый «Наперстком». Это был лучший в клубе танцор, студент Школы изящных искусств. Ныне он — суровый и неприступный хранитель Фонда Бориса Виана.

Через три месяца после открытия «Табу» желающих попасть туда оказалось так много, что у лестницы каждый вечер собиралась толпа. Пускали в клуб только по членским билетам, а знаменитостей, своих и иностранных, приводили те, кто имел доступ (в клуб и к знаменитостям). В «Табу» появлялись Альбер Камю, Поль Элюар, Жак Превер, там видели Франсуа Мориака. Однажды для встречи с Вианом туда привели Мориса Шевалье: известный актер и певец отпраивался в Америку и желал получить у Бориса консультацию.

В 1948 организаторы «Табу» шутки ради и вместе с тем всерьез учредили литературную премию этого клуба, которая в феврале была торжественно вручена Рэймону Кено за роман, «написанный» ирландкой по имени Салли Мара и озаглавленный «К женщинам

обычно чересчур добры». В состав жюри, разумеется, входили Борис и Мишель (кстати, она была одной из самых фотографируемых женщин Сен-Жермен-де-Пре). Следующую премию получит журналист Жак Робер за роман «Мари Октябрь».

Уникальная атмосфера «Табу» продержалась недолго; что-то изменилось, появилось много чужих. Организаторы подвала решили открыть новый, в двух шагах от первого, — «Клуб Сен-Жермен». Торжественное открытие состоялось в июне 1948 и вызвало небывалое столпотворение в узких улочках квартала. Многие легендарные личности добивались почетного права проникнуть в это заведение.

«Клуб Сен-Жермен» по духу отличался от «Табу»: он был менее демократичен, вход был платный, блюда, напитки и увеселения стоили дорого; за столиками собирались состоятельные люди и литературно-артистическая элита. Кроме того, по инициативе литераторов в нем открылся бар-библиотека, что отличало его от других подвалов. Между «Табу» и «Клубом Сен-Жермен» возникло соперничество. В «Табу» теперь верховодил Ален Виан, который ни в чем не хотел уступать брату.

В 1947-48 годах Париж охотно посещали американские джазисты, такие, как Рекс Стюарт, Чарли Паркер, Коулмен Хокинс, Эррол Гарнер, Майлс Дэвис и другие. Встречал и сопровождал их Борис Виан. Мишель была его неизменной спутницей и переводчицей всех серьезных бесед с американскими друзьями. Наслушавшись рассказов про французского писателя-джазиста, сочиняющего «американские» романы о неграх, в Париж приехал Дюк Эллингтон, кумир Бориса и Мишель. На вокзале Эллингтона встречала ликующая толпа почитателей с джаз-бэндом. Мишель даже привезла с собой трехмесячную дочку (Кароль Виан родилась 16 апреля 1948) и дала ее подержать Дюку, предложив быть крестным отцом девочки. (Стал ли Эллингтон религиозным крестным Кароль, неизвестно, т. к. во Франции обычай иметь для каждого ребенка

крестных родителей вовсе не предполагает обязательного крещения детей.)

К концу сороковых джаз в Париже перестал быть достоянием подвалов и вышел на поверхность, в концертные залы. В 1948 состоялся Первый джаз-фестиваль в Ницце; в мае того же года — торжественная Неделя джаза в Париже. Борис принимал непосредственное участие в ее организации. Погребков стало так много, что они постепенно утратили былое очарование; богемная жизнь перетекала в Латинский квартал. Борис все реже играл в оркестре и появлялся в клубах большей частью как посетитель или почетный член. Врач предупредил, что каждый выдох в трубу сокращает ему жизнь, но совсем бросить джаз Борис не мог. Он часто покидал друзей в разгар веселья и возвращался домой, чтобы сесть за письменный стол. К началу пятидесятых он и вовсе покинул Сен-Жермен, добровольно сложив корону «принца». Подвальные празднества отошли в прошлое. «Учебник по Сен-Жермен-де-Пре» как бы подвел итог этого бурного периода жизни Виана. Последнее, за что возьмется Борис, уже в 1952, — организация дискотеки в Сен-Жермен-де-Пре, на улице Сены; но роль диск-жокея быстро утомит его.

Сорок восьмой год был отмечен для Бориса большой утратой: в январе не стало Майора. И хотя жизнь этого странного, непредсказуемого, неистощимого на выдумки юноши всегда висела на волоске, его смерть в двадцать три года потрясла друзей. Последнее время Борис и Мишель виделись с Майором редко, но все же именно он был свидетелем их романтической любви и первых счастливых лет. Возможно, исчезновение Майора тоже подтолкнуло их к разрыву.

Друзья по Сен-Жермен, провожавшие Майора на кладбище, сочли неуместным очень уж убиваться и вели себя сдержанно. Не стал публично проявлять свои чувства и Борис. Но кроме утраты друга его мучило еще одно: за полгода до неудачного прыжка (или падения) Жака Лустало из окна «Самди Суар» опублико-

вала новеллу Виана «Вечеринка у Леобилия», в которой происходит нечто подобное.

Жизнь Виана в 1947-1948, несмотря на судебные преследования Даниэля Паркера, складывается не так уж плохо. Борис знаменит, журналы печатают его портреты: бледное, загадочное, романтически-красивое лицо. Сен-жерменские красотки, узнав о том, что он бросает вызов судьбе, играя джаз, рвутся опекать его. Рядом с Борисом видят красивых актрис, занятых в пьесе «Я приду плюнуть на ваши могилы». Виан везде, он успевает все: пишет книги, статьи, пьесы; организует клубы, вечера и концерты; играет на трубе; у него множество друзей, которые им искренне восхищаются. Кроме того, Борис делает радиопередачи — в своем неожиданном, абсурдном, не подчиняющемся логике жанре. Всего он записал пять передач: первую в 1947, последнюю в 1956 году. Одна из этих передач представляла собой комический репортаж с конгресса по фонетике для глухонемых и заканчивалась песней, написанной Вианом на музыку Поля Браффора. Песню исполнял организованный Вианом хор Сен-Жермен-де-Пре (Жюльетт Греко не попала в тот хор, как отмечают биографы, по причине отсутствия голоса и слуха).

А вот отношения с кино у Бориса по-прежнему не складывались. Тем не менее он продолжал писать сценарии и даже снимался в любительских фильмах, главным действующим лицом которых до января сорок восьмого был Майор. Участвовал в фильмах и Рэймон Кено. Один эпизод запечатлел его в роли полоника, очень правдоподобно изображенного, о который Борис вытирает ноги.

В 1947 Виан, Кено и молодой режиссер Мишель Арно решили вместе писать киносценарии по произведению Кено и даже учредили для этого фирму «АР-КЕВИТ». Но этот проект, как и многие другие, остался неосуществленным.

Зато Борис и его друзья часто посещали фильмотеку на проспекте Мессины. Американские фильмы, ко-

торые они так стремились увидеть, шли редко; вместо них регулярно крутили советскую, венгерскую и немецкую классику. Вот откуда, вероятно, у Виана знание некоторых русских слов и знакомство с элементами русского быта и культуры.

Сравнительное благополучие конца сороковых обернулось для Бориса неожиданным кризисом. Отношения с Мишель испортились. Идеальная «писательская жена», живущая интересами мужа, читающая, редактирующая, печатающая, дающая советы, стала, похоже, тяготить его своим участием. Предостережения врачей и преследования за «американский» роман, постоянные финансовые проблемы сделали Бориса нетерпимым и раздражительным. Жили они с Мишель по-прежнему на Фобур-Пуассонньер вместе с пьющим Клодом и почти парализованной мадам Леглиз. Время от времени Борис навещал крохотную квартирку, где ютились его мать, тетка и сестра со своей дочерью. Эти редкие визиты тоже не приносили умиротворения, матушка Пуш все больше раздражала Бориса. Отношения с семьей становились холодными и натянутыми.

А Мишель, испытывая знакомую многим женщинам потребность восхищаться мужчиной и не веря в собственные творческие силы, выбирала друзей из числа ярких и талантливых собратьев по «экзистенциалистскому клану». Она гораздо больше, чем Борис, общалась с философом Мерло-Понти и была куда ближе, чем муж, к «Тан Модерн» и Сартру. С конца 1949 с Жаном-Полем Сартром ее уже связывали не только интеллектуальные и дружеские отношения. Считается, что Мишель была его последней возлюбленной, ученицей и соратницей. Они были вместе до самой смерти Сартра в 1980 году. Как и в союзе с Борисом, Мишель читала его тексты, делилась своими впечатлениями, перепечатывала рукописи.

В августе 1949 Борис и Мишель уехали на средиземноморское побережье, в Сен-Тропез, где они сняли домик на десять лет. (Год спустя супруги договорятся

приезжать туда по очереди, их разрыв будет уже очевидным, хотя еще не окончательным.) В 1948 в Сен-Тропез переехал весь Сен-Жермен-де-Пре, здесь открывались клубы, устраивались празднества и концерты, вершились литературные и артистические судьбы. Напутствуя Бориса, врач запретил ему купаться, загорать и играть на трубе. Разумеется, Борис не слушался. Перспектива опасной простуды не могла заставить его отказаться от свободы и связанных с нею удовольствий. Но так как нервное напряжение не спадало, а раскол в семье углублялся, бессонные ночные часы Борис посвящал новой книге, в которой писал обо всем, что его мучило: о томительных воспоминаниях детства, о неизбежном растрачивании себя, о разочаровании в любви.

Роман был закончен к осени 1949 и назывался сначала «Лопнувшее небо». Галлимар, имевший по договору право на все, что написал Виан, отказался печатать произведение. Официально он сослался на неблагоприятный отзыв о романе со стороны «НРФ». В 1950 роман был опубликован никому не известным издательством «Тутен», и название у него было «Красная трава». Но издательство никак не могло расплатиться с типографией, и книга в магазины почти не поступала. Критика на нее никак не отреагировала. Борис сделал все, чтобы забыть об очередной неудаче, и взялся за новую работу.

Богатство его замыслов не укладывается в прозу, фантазии и переживания превращаются в стихи. В сорок восьмом это «Дайджест Барнума» — сборник из десяти «американских» стихотворений, «переведенных» Вианом.

В 1949 тот же Скорпион выпустил виановский сборник из одиннадцати новелл под общим названием «Мурашки». Каждую новеллу сборника Виан собирался посвятить какому-нибудь джаз-музыканту, о чем свидетельствуют названия: «Туман» — «In a mist» Бикса Байдербека, «Желторотая тетеря» («Oie bleue») — «Blue

goose» Джонни Ходжа. Но замысел не был доведен до конца.

В том же году один из почитателей Виана, издатель Жан Ружери, предложил ему издать еще один сборник стихов — «Кантилены в желе». Тираж составил двести экземпляров, из которых десять были «люксовыми».

Весной 1950 драматургическая фортуна как будто повернулась к Виану лицом: пьеса, которую он написал в 1947 году, «Живодерня для всех», была принята труппой «Мирмидон» во главе с режиссером Андре Рейбазом. Не все, правда, складывалось так, как хотелось Борису: текст пришлось несколько раз переделывать и сильно сократить. Критики высказывались весьма сдержанно. Актеры, которым Борис предлагал сыграть в пьесе, под разными предлогами отказывались. А когда пьеса была наконец поставлена, спектакль вышел слишком коротким, и Борису предложили его дополнить. Так родилась «Распоследняя профессия», короткий антиклерикальный фарс.

В этот период Виана очень поддерживал Жан Кокто. «Дорогой Борис, — писал он, — я по-прежнему с тобой. Знай это и делай что считаешь нужным. Я еще больше люблю тебя за твою пьесу». После премьеры «Живодерни» он написал статью «Приветствие Борису Виану», которую опубликовал в журнале «Опера». «Этот словесный балет, — писал он, — отличается изысканной, легкой, весомой дерзостью, столь схожей с виановскими синкопными ритмами, которые являются его неотъемлемой привилегией. (...) Где в пьесе взрыв бомбы — там взрыв смеха, бомба разрывается смехом, и вместе с ней лопается почтение, какое питают обычно к катастрофам, — лопается, как мыльный пузырь».

Премьера состоялась 11 апреля 1950 года. Виану было немного не до нее — в Париже опять гостил Дюк Эллингтон. Автор едва не опоздал к началу спектакля. Во время действия зал много смеялся, долго аплодировал. Реакция зрителей и устные отзывы присутство-

вавших критиков были единодушно восторженными. Борис и Андре Рейбаз готовились к триумфу.

На следующий день появились три хвалебные статьи, отмечавшие серьезность темы и блестящее остроумие автора. Но эти три спасительные соломинки утонули в шквале отрицательных рецензий, убеждавших читателя, что пьеса Виана — не настоящий театр, а сам Виан — не драматург и не писатель. Серьезным людям трудно представить, что и дурачась можно создавать шедевры.

Через месяц труппа вынуждена была поменять репертуар и взялась за постановку «Лысой певицы» Ионеско. А Виан, как всегда, заставил себя сосредоточиться на новых замыслах.

В 1950 он много пишет для газеты «Дан ле Трен», которая публикует его рассказы «Пенсионер», «Испытание», «Звезда экрана», «Мыслитель», «Убийца»... Борис не в состоянии ответить отказом ни на одну просьбу, тексты рождаются молниеносно, за несколько ночных часов; голова всегда полна невероятных, искрометных идей. Это фантазия Виана породила такие музыкальные журналы, как «Джаз 47», «Джаз-Ньюс», «Сен-Синема-де-Пре», «Хаос», он пишет для них об Эллингтоне, о женщинах в джазе, о фестивалях, концертах, пластинках; продолжает сотрудничать с «Джаз-Хот», «Комба» и «Ла Газетт дю Джаз».

В конце сороковых у Бориса появилось новое увлечение: автомобили. Он познакомился с Морисом Гурнелем, тоже заядлым «сен-жерменцем», который для собственного удовольствия держал гараж. Они подружились и долгие часы проводили, упоенно копаясь в моторах. Главным объектом их внимания был старый и капризный «БМВ», с которым Борис не знал ни минуты покоя. В 1950 Виан сменил его на еще более старую машину, в буквальном смысле произведения искусства: «бразьер» выпуска 1911 года. «Бразьер» будет почти так же знаменита, как ее хозяин.

В этот период с Борисом остается все меньше старых друзей — их смущает разлад между супругами,

необходимость выбирать между ними. Неудачи обостряют чувство трагического, до неузнаваемости меняют характер Бориса, периоды апатии и бессилия чередуются у него с приступами ярости — реакция на безысходность конфликта, так как разводиться с Мишель Борис не хочет.

В это время произошло событие, которому никто сначала не придал значения. На коктейле у Галлимара (невзирая на литературные провалы, Виан продолжает поддерживать с издателем видимость дружеских отношений) Борис встретил Урсулу Кюблер.

Часть 5

Урсуле был двадцать один год. Дочь швейцарского художника и журналиста Арнольда Кюблера, шведка по матери, балерина по профессии, она достаточно поездила по миру перед тем, как осесть в Париже. В 1948 родители отправили ее из Цюриха в Швецию, чтобы положить конец ее безнадежному роману с учителем танцев, который был старше ее на пятнадцать лет и женат. После Швеции Урсула попадает в Париж, сначала в пансион для барышень, затем под опеку своего дяди, американского дипломата. Через некоторое время ее берет в свою труппу Морис Бежар, и Урсула уезжает на гастроли в Германию. Вернувшись, она переходит танцевать к Ролану Пети, гастрوليрует в Соединенных Штатах. Урсула красива, независима, диковата и решительна. Она любит одиночество, не стесняется показывать характер и предпочитает изысканный круг общения, к которому привыкла с детства.

Борису и Урсуле понадобилось несколько случайных встреч, чтобы обратить друг на друга внимание. Виана никогда не читавшая, Урсула видит только, что он красив и знаменит (неважно, дурной или доброй славой). Она приходит к нему в гости, открывает для себя «Пену дней», слушает его сбивчивые рассказы о себе. В один из таких визитов Урсула обнаруживает,

что Борису не до нее: занятый важным разговором, он предложил ей посидеть где-нибудь и даже не зажег свет в полутемной квартире. В другой раз Борис работал над статьей и, чтобы новая знакомая не мешала, сунул ей лист бумаги и велел писать письмо родителям.

Постепенно они привыкли друг к другу, стали чаще бывать вместе. Борис часто возил Урсулу по барам и кафе на своей сногсшибательной «бразьер». Урсулу не смущало, что предмет гордости ее нового друга то и дело ломается, она быстро научилась менять колеса. Потом они узнали, что на бульваре Клиши, где-то под крышей, сдается комнатуха, и поселились вместе. А еще некоторое время спустя Борис, который прежде и слышать не хотел о разводе, сам предложил Мишель официально оформить их разрыв.

Осенью Урсула заболела гриппом с осложнением; врачи обнаружили затемнение в легком и отправили ее в горы. Борис остался в крошечной комнате совсем один, страшно тосковал, начал писать дневник — больше о прошлом, пытаясь осознать, что же с ним происходит. Из-за сердечной недостаточности у него отекали руки, запястья, болели плечи.

В эти дни Борис пишет «Колыбельную для медведей, которых нет рядом». Текст колыбельной будет опубликован друзьями Виана после его смерти в сборнике «Облик». Медведь, «урс» — от Урсулы — было ласковое прозвище, которое Борис дал молодой женщине.

В декабре Борис на две недели отправляется к Урсуле в горы. К этому времени он уже успел познакомиться с ее родителями, которые в отсутствие дочери наведались в Париж посмотреть на потенциального зятя. Возвратившись на бульвар Клиши — по-прежнему один, потому что с легкими у Урсулы пока не все в порядке, Борис снова предается мрачным мыслям и вспоминает сочиненную им когда-то историю Колена и Хлои и боится, что сам напроорочил смерть любимой, как уже нечаянно предсказал смерть Майора.

В 1951 Виан пишет еще одну пьесу в антимилитаристском духе («Полдник генералов»), одноактную комедию «Голова кругом» (буквально «Голова Медузы») и роман «Сердцедер», который задумал еще в 1947. Галлимар, как повелось, отказался от публикации. «Сердцедер», озаглавленный первоначально «Дочери королевы», выйдет в 1953 году в каком-то малоизвестном издательстве. «Забавно, — отметит Виан в письме, — когда я пишу всякую дурашливую галиматью, это выглядит искренне, когда же пишу правду, все думают, что я шучу». «Сердцедер», эту правду о собственном детстве, вернее, о восприятии собственного детства, с надписью «Мамаше Пуш, вот исчо одна на растопку», Виан подарит матери, которая, в сущности, виновата лишь в том, что излишне нежно и заботливо опекала свое больное, любимое чадо. Избыток любви порой так же мучителен, как и ее отсутствие.

В начале пятидесятых Виан по-прежнему сотрудничает в разных журналах, сам предлагает темы или пишет на заказ: статьи о бытовых мытарствах, о литературе, об артистах и знаменитостях, чуть реже — о джазе. Платят ему не всегда вовремя, они с Урсулой не вылезают из долгов. Статьи Виана появляются на страницах «Франс Диманш», «Тан Модерн», «Опера», «Реле», «Ар», «Джаз-Хот», «Констелласьон». Будущий тесть Виана, Арнольд Кюблер, тоже заказал Борису статью для своего цюрихского журнала «Ду», одного из лучших артистических журналов послевоенной Европы.

В 1952 Борису предложили участвовать в написании сценария для грандиозного представления в «Роз Руж»: «Киновраки» («Cinémassacre»); это был сборник скетчей на тему кино. Спектакль имел оглушительный успех. «Люди визжали от восторга, а я стоял весь синезеленый, до того мне было страшно, — писал Борис Урсуле, которая опять уехала на гастроли. — Представляешь, ведь даже не было генеральной репетиции! Я впрямые видел их всех на сцене и скоро сам начал хохотать. Марсель держался за живот и жутко сдрей-

фил, когда дошло до скетча про Air Force, который и вправду такая умора, что дальше некуда! Я думал, американское посольство его запретит...» Но посольство ничего не запретило, и спектакль выдержал около четырехсот представлений в «Роз Руж», а потом перекочевал в кабаре «Труа Боде».

В 1952-1954 Виана продолжают приглашать для постановок скетчей и спектаклей; материальное положение Бориса и Урсулы слегка поправляется, они переезжают в квартиру побольше — там же, у подножия Монмартра: Сите Верон, дом 6-бис. В соседней квартире живет Превер с семьей.

Лето Виан предпочитает проводить в Сен-Тропезе, в том же маленьком домике, где на втором этаже заперты вещи Мишель. Борис чувствует себя счастливым и, разумеется, делает все, что ему не следует делать: загорает, даже когда солнце в зените, ныряет и подолгу плавает под водой. Сердце не справляется с нагрузкой и так сильно бьется, что по ночам Борис не может сомкнуть глаз. Ранним утром, когда городок еще спит, он ходит на прогулки, навещает рыбаков. Урсула все видит, но воздерживается от советов. Вокруг них большая компания: Клод Леон с женой, Марсель Дельам (яркая и загадочная личность, в прошлом коммунист, участник Сопротивления; в пятидесятые годы администратор театра «Вавилон», в котором ставят, в частности, пьесы, переведенные на французский Вианом — например, «Фрекен Жюли» Стриндберга). Молодой режиссер Поль Павио снимает невероятный полудокументальный фильм о Сен-Тропезе. Борис пишет для него сценарий. Ален Рене, еще не успевший стать известным режиссером, занимается монтажом. В одной из главных ролей снимается молодой Мишель Пикколи. Жюльетт Греко и Делнитц изображают самих себя и целуются в кадре под комментарий следующего содержания: «Греко и Марк Делнитц посвятили свой отпуск совершенствованию дотоле неведомой эротической практики, которую только истинные знатоки сумеют оценить по достоинству. Научное название то-

го, что они делают, дал Франсуа Мориак: «Поцелуй прокаженного». (Текст Б. Виана.) В этом фильме на правах действующего лица фигурирует ставшая знаменитой виановская «бразьер».

Многочисленные друзья, находившие Урсулу очаровательной, настоятельно советовали Виану жениться. В их числе был и Рэймон Кено. Урсулу всячески склоняла к замужеству мадам Кюблер. Сам Борис мрачно упирался. Арнольд Кюблер был всецело на стороне Бориса, которого искренне любил и ценил как писателя. Наконец, поддавшись влиянию матери, Урсула потребовала от Бориса заключения брака. Борис уступил, предупредив: «Смотри, Медвежонок, занимайся всем сама. Я слышать ни о чем не желаю. Разбирайся как знаешь».

Друзьям были разсланы приглашения, отпечатанные на тройном фотопортрете: Урсула, Борис и «бразьер». 8 февраля 1954 года состоялась церемония бракосочетания. Борис был мрачнее тучи и еле выдавил «да» в ответ на традиционный вопрос мэра. А потом две недели не разговаривал с женой. Свадебная вечеринка, устроенная в квартире молодоженов, тем не менее прошла успешно, и гости от души повеселились на усыпанной гравием террасе.

Всегдашняя аполитичность Бориса с годами стала менее принципиальной, он начал проявлять интерес к политическим и социальным вопросам. И даже взялся за написание «Трактата о гражданском сознании». Он проглотил горы литературы, работал ночи напролет, чтобы рассмотреть возможность нового подхода к изучению истории. Но из-под пера Виана выходили только тексты Виана. Трактат оказался далек от научности, и Борис его бросил.

В начале пятидесятых Борис всерьез увлекся научной фантастикой. Интересы его разделяли многие друзья, в том числе Рэймон Кено. Любители фантастики учредили закрытый клуб «Савантюрье» — от «savants» (ученые) и «aventuriers» (искатели приключений). Члены клуба пересказывали друг другу научно-

фантастические фильмы, обменивались книгами; Борис ставил в кабаре спектакли с фантастическими сюжетами, Кено делал радиопередачи. В соавторстве со Стефаном Спрайэлом (псевдоним Мишеля Пилотена, организатора клуба «Савантюрье») Виан написал для «Тан Модерн» статью «Новый литературный жанр: научная фантастика», а также ряд статей на ту же тему для журналов «Реле», «Либерте», «Ла Паризьенн» и др.

Теоретически «савантюристы» являлись защитниками и последователями идей философа Альфреда Коржибского и горячими поклонниками канадского фантаста Ван Вогта. (Польский инженер граф Коржибский эмигрировал в Соединенные Штаты в годы первой мировой войны, после чего стал основоположником новой лингвистической философии — Генеральной Семантики. Это своего рода теория относительности, согласно которой убеждения человека неизбежно вступают в противоречие с системой лингвистических знаков, усвоенных в детстве. Для оздоровления человечества и выработки новых лингвистических навыков Коржибский выдвинул принципы этического перевоспитания людей.)

В эти годы Виан увлеченно переводил фантастику, писал научно-фантастические киносценарии. Это сблизило его с другим «савантюристом», Пьером Кастом, с которым он был знаком и прежде, по Сен-Жермен-де-Пре. Каст был кинокритиком, киносценаристом и начинающим режиссером. Друзья стали писать сценарии вместе. Каст правил сценарии Бориса, обучал его профессиональным премудростям. И сам учился многому: позже он признавался, что в пятидесятые годы его часто корили за специфический «виановско-кеновский» юмор.

«Виановский юмор» — это то, к чему все привыкли и чего ждали от Бориса. Это было то, что он отдавал другим. Но существовала и печально-серьезная сторона его таланта, то, что он не спешил выставлять напоказ: стихи тех лет. Позже почти все они были объеди-

нены в сборник «Неохота помирать» и опубликованы в 1962 году Жаном-Жаком Повером. Название сборника — по первой строчке первого стихотворения. Сборник этих стихов — вершина поэтического творчества Виана. Впервые автор говорит серьезно, от первого лица, отказавшись от спасительных каламбуров, иронии и насмешек. Стихи иногда трагические, одной из ключевых тем является смерть. Они лишены поэтических красот, нарочито просты, «разговорны». И очень искренни, как тихий разговор с собой. «У Виана нет собственного стиля, но есть собственная тональность, — сформулировал один французский критик, — уникальная тональность, которой подчинено все, что он написал».

8 июня 1952 года Виан был торжественно принят в ряды еще одной таинственной организации, пристально следившей за творчеством писателя и оказывавшей ему моральную поддержку. Этой организацией была Коллегия Патафизиков, основанная в Париже в 1948 году доктором Сандомиром и ставившая своей целью исследование тех областей знания, которые физика и метафизика обошли вниманием. Члены Коллегии, столь же секретной, как масонская ложа, считали себя детьми Альфреда Жарри, «короля абсурда», и окружали свои деяния строжайшей тайной. Посторонние видели в Коллегии закрытый клуб шутников, умников и любителей парадокса. Членами Коллегии Патафизиков в пятидесятые годы были Рэймон Кено, Жак Превьер, Макс Эрнст, Эжен Ионеско, позже — Хоан Миро, Рене Клер и некоторые другие выдающиеся личности. У патафизиков был собственный календарь, начинавшийся днем рождения Альфреда Жарри; таким образом, эра патафизики открывалась 8 сентября 1873 года. В патафизическом году было тринадцать месяцев, каждый имел фантастическое название; в каждом месяце был один фантастический день, называемый «hunyadi»; каждую пятницу было непременно тринадцатое число.

Коллегия Патафизиков столь высоко оценила виановскую «Живодерню для всех», что сразу же присвоила автору звание Живодера первого класса и твердо решила опубликовать пьесу «Полдник генералов» в «Тетрадах коллегии». А в мае 1953 Виан пополнил ряды Сатрапов Коллегии — промежуточная ступень к вершинам патафизики. Впрочем, члены Коллегии утверждали, что любая человеческая жизнь насквозь патафизична, только люди об этом не догадываются.

Союз с Урсулой несколько изменил круг общения и творческую ориентацию Бориса. Продолжая писать либретто для балетов (впервые в 1947 для труппы Ролана Пети, еще до появления Урсулы, затем в 1950 для той же труппы, и позже — в 1952, 53, 55, 56 и 57 годах), Виан одновременно обращается к музыкальным видам сценического искусства, песне и опере.

В 1953 устроители театрального фестиваля в Нормандии предложили ему написать либретто для оперы, взяв за основу приключения рыцарей Круглого стола. Борис, конечно, согласился.

Так родилась опера «Снежный рыцарь», музыку к которой сочинил композитор Жорж Делерю. Грандиозный спектакль состоялся в Кане в августе 1953 и проходил под открытым небом, на фоне руин канского замка. Представление длилось четыре часа и отличалось богатством декораций, костюмов и затраченных средств: сотни статистов, звукоусилители, живые лошади на сцене... За август «Снежный рыцарь» был сыгран семь раз и вызывал неизменный восторг зрителей и критиков. Воодушевленный успехом спектакля, Марсель Лами, директор «Гран Театр де Нанси», предложил Виану и Делерю написать сокращенный вариант оперы для его театра. Новый вариант «Снежного рыцаря» будет с успехом исполняться в Нанси в 1956-57 годах.

После успеха «Снежного рыцаря» Виан страстно увлекся оперой и принялся за новые либретто. В 1957 появилась на свет «Фиеста» на музыку Дариуса Мийо, которую поставят в Берлинской Опере в октябре 1958.

Во Франции «Фиеста» будет спета только в 1972 в «Опера де Нис» по случаю восьмидесятилетия Мийо.

В 1958 Виан задумал оперу «Лили Страда» — свободное переложение пьесы Аристофана «Лисистрата», но это произведение так и осталось незавершенным. В 1964 Никола Батай превратит наброски Виана в спектакль для кабаре «Кафе-театр де ла Гранд Северин», хореографию поставит Урсула Кюблер-Виан, музыку напишет Эрик Бишофф.

В 1959 Виан пишет оперу «Арн Сакнуссем, или Досадная история», взяв за основу собственную новеллу «Печальная история», которая была опубликована в журнале «Бутей дан ла мер», а позже вошла в сборник «Волк-оборотень». После смерти Виана Жорж Делерю положит текст оперы на музыку; «Арн Сакнуссем» прозвучит по радио «Франс I Пари Интер».

Существует также проект оперы «Наемник», которую Виан начал незадолго до смерти. Спектакль открывается появлением на сцене настоящих танков, ворвавшихся в разбомбленный город. Танкисту кажется, будто руины что-то ему напоминают, он начинает разгребать камни и находит под ними труп своей возлюбленной, которую покинул, уйдя в наемники. Отдельные фрагменты виановского текста не раз использовались режиссерами в спектаклях, посвященных памяти Виана.

Кроме опер, как мы уже говорили, в середине пятидесятых Виан принялся за песни. Собственно, начало этому увлечению было положено еще в 1944, когда Борис сочинял для фестивалей Джаз-Хот, для сен-жерменского хора и для фильмов, которые снимали его друзья. В 1951 даже вышла пластинка, на которой композитор Анри Сальвадор исполняет виановскую «Это би-боп».

Рецензии на «Снежного рыцаря» привлекли к Борису внимание журналов, уделявших большое внимание авторской песне. Для «Ар» Виан написал статью о конкурсе «Гран-При де шансон», в котором принимали участие Лео Ферре, Жорж Брассенс, Мулуджи, Феликс

Леклер и другие. Писал он о песнях и для «Канар аншене». Таким образом, начало было положено, не хватало решимости и профессиональных навыков. Друг Боиса композитор Жак Дьеваль, которому уже случилось сочинять музыку к стихам Виана, пытался его ободрить. Уговаривала и Урсула: ей очень хотелось петь самой. Она начала целенаправленно водить мужа по кабаре, они смотрели, слушали, учились; оба начали брать уроки пения.

И вот в конце 1953 года в записных книжках Виана появляются наброски к будущему «Дезертиру», а в феврале 1954 он относит в Союз авторов и композиторов (SACEM) готовый текст и музыку этой песни. «Дезертиром» заинтересовался Мулуджи. Кое-что в тексте он предложил исправить — например, концовку: «Господин президент, предупредите своих жандармов, что я вооружен и умею стрелять» — это был воинственный дезертир, не нравившийся популярному исполнителю. Новая концовка звучала иначе: «У меня нет с собой оружия, и если нужно, пусть ваши жандармы стреляют». В мае 1954 Мулуджи спел «Дезертира» в зале «Олимпия». Публика не выразила ни протеста, ни восторга, и песня осталась в репертуаре.

Тогда Виан предложил свои стихи певице Рене Леба. Она заявила, что такие песни для нее не пойдут, но познакомила Броиса с молодым композитором Джими Вальтером. Виан и Вальтер засели за работу. Через несколько месяцев у них было готово около тридцати песен, которые быстро разошлись по исполнителям. Впоследствии, правда, не все складывалось столь же легко: в основном авторы зря обивали пороги кабаре и музыкальных салонов. Песни нравились, но никто не решался их спеть — уж очень непривычная была у них интонация.

Случалось, что Борису заказывали песни к постановкам, но спектакли сходили с афиш, едва появившись. В конце концов Виан решил посоветоваться с Жаком Канетти, коллегой по работе над «Киновраками». Канетти был владельцем театрального зала, не-

скольких театральных компаний и радиопрограмм, и ко всему художественным директором парижского отделения «Филипс». «Я вижу только одно решение, — сказал Канетти, послушав Виана и Вальтера. — Выходите на сцену и пойте сами». Не прошло и месяца, как Виан дебютировал у Канетти в «Труа Бодэ».

Несмотря на сильное успокоительное, Борис безумно волновался перед каждым выходом, во время выступления он временами не слышал музыки, сбивался с ритма: ему не хватало дыхания. Это было даже не вполне пение — скорее декламация под музыку. Публика была заинтригована: скандальный порнограф Салливен, знаменитый сен-жерменский трубач вдруг сбросил прежние маски и предстал перед зрителями в новом амплуа. Виан пел «Сноба», «Развеселых мясников», «Дезертира»... Публика реагировала вяло, но Канетти посоветовал выждать год и посмотреть, что будет.

Часть 6

271

Песенный стиль Виана по достоинству оценил тогда еще начинающий Серж Гензбур. «Только потому, что я услышал Виана, я решил попытать счастья в этом непритязательном жанре», — писал Гензбур в 1984 в журнале «Арк».

Фирма «Филипс» предложила Виану напеть пластинку: правила дрозжного движения, положенные на мотив народных песен — чтобы изучающим было легче запоминать. После этого под аккомпанемент оркестра Виан записал с дюжину своих песен, в том числе «Яву атомных бомб», текст которой журнал «Канар аншене» напечатал в июне 1955 года. Эта первая пластинка на 45 оборотов называлась «Невозможные песни». Вторая сорокапятка появилась тоже в пятьдесят пятом и получила название «Возможные песни». Третья, уже на 33 оборота, — «Возможные и невозможные песни» — вышла в 1956 году с заметкой Жоржа Брассенса на обложке: «Борис Виан — это одинокий странник, бро-

сившийся на поиски новых песенных миров. Если бы этих песен не было, нам, без сомнения, не хватало бы их. В них есть то необъяснимое, что делает любое произведение искусства нужным и важным. Кому-то они не нравятся, пусть так, на это у всех есть право. Но придет время, сказал мне один человек, и песни Виана будут нужны всем».

Одна из песен Бориса называлась «Жертва прогресса» — о том, как бытовые приборы изменили человеческие и любовные отношения. Фирма «Филипс» предоставила Виану самому рекламировать свою песню и послала его на выставку «Салон бытовой техники», которая состоялась весной 1956 года. Так у песни, ставшей впоследствии очень популярной, появилось новое название: «Бытовая техника».

Писал ли сам Виан музыку к своим песням? Отчасти. Однажды на радио ему задали этот вопрос. Он объяснил, что сначала придумывает условный мотив, на который ложатся стихи, но мотив этот выходит столь примитивным, что композиторы сочиняют песенную мелодию, более сложную.

Летом 1955 Урсула отправилась на гастроли с труппой «Бале-О» (это был первый джазовый балет Франции), а Борис — в турне по стране со своими песнями. Сопровождал его друг и аккомпаниатор Ален Гораге. В Париже Виана хорошо знали, многие любили его. Провинция же понятия не имела, кто это такой. До них лишь докатилось смутное эхо скандала с Салливеном. Поэтому какой-то странный человек с русским именем, распевая антивоенные песни про дезертиров, вызвал сначала недоверие, а затем возмущение. Публика в кафе смеялась, свистела или отвечала ледяным равнодушием. В Нанте и вовсе началось что-то непонятное. Группа пожилых мужчин, следуя за Вианом из города в город, подчеркнуто агрессивно вела себя на его выступлениях. Крики «Убирайся в Россию!» и угрозы всякий раз сопровождали исполнение «Дезертира». Позже выяснилось, что это были ветераны второй мировой, организованные мэром од-

ного из городков для противостояния наглому оскорбителю исстрадавшейся Франции. Один раз дело чуть не дошло до драки. В конце концов конфликт разрешился мирным путем: Борис пригласил предводителя группы в бар для беседы по душам. Ветерану, как выяснилось, даже в голову не пришло, что в песне речь может идти о войне в Индокитае, а вовсе не о последней войне с Германией. Расстались собеседники почти друзьями, сойдясь во мнении, что война, конечно, величайшее зло и несчастье. Виан твердо усвоил урок: прежде чем петь перед ветеранами, надо сначала дать им высказаться.

В то же лето Борис ездил с песнями в Бельгию. «Дезертира» там встретили вполне благожелательно — бельгийцы ведь не воевали. Они даже транслировали выступление Виана по телевидению.

Скандал с «Дезертиром» стал известен в Париже, и осенью вся столица ходила в «Труа Бодэ» на Виана. Но пластинки его, как и книги, расходились плохо. Они просто были «не для всех». Положение с книгами попыталось поправить издательство «Минюи», литературным консультантом которого в 1956 был Ален Роб-Грийе, еще не написавший «нового романа». Он предложил переиздать «Осень в Пекине» и «Красную траву». «Осени» повезло: она вышла вторично, но в «подчищенном» варианте; старший мастер Арлан, в частности, был освобожден от обязательного уточнения «эта сволочь». Судьба книги от этого не изменилась. Критика и на этот раз ответила гробовым молчанием, не помогла даже рекламная кампания Коллегии Патафизиков. А «Красная трава» из-за финансовых трудностей так и не дождалась переиздания.

В 1955 к войне в Индокитае добавился алжирский кризис (освободительная война в Алжире вспыхнула в 1954). В этой ситуации «Дезертир» получил новое звучание острой политической песни. Поль Фабер, парижский муниципальный советник, участник Второй мировой, обратился к префекту округа Сены с требованием запретить трансляцию песни по радио и гро-

зился подать в суд за нанесение морального ущерба французским вооруженным силам. Виан ответил ему письмом, сохранившимся в архивах Фонда. «... Одно из двух, — писал Виан. — Либо вы воевали ради мира, либо для собственного удовольствия. Если вы боролись за мир, как я смею надеяться, не уподобляйтесь своим единомышленникам и ответьте прямо: коли нельзя выступать против войны в мирное время, то когда же против нее выступать? А может быть, все не так, и вы «любите войну», и воевали ради собственного удовольствия? [...] Поверьте, «ветеран» — опасное слово; нельзя кичиться тем, что воевал; об этом нужно сожалеть. [...] И если моя песня кому-то может прийти не по вкусу, дорогой господин Фабер, то уж во всяком случае не тому, кто прошел войну».

Виан пел на сцене год и три месяца, всякий раз нервничая перед выходом. Если сердечные приступы случались на людях, он отшучивался, даже кокетничал. Но усталость делала свое дело, и в июле 1956 он слег с отеком легких, к этому добавилось осложнение на почки. Врачи предупредили, что если Борис не будет вести спокойный образ жизни, много лежать и соблюдать строжайшую диету, то отеки будут повторяться, и один из них окажется последним.

Пролежав в кровати две недели и почувствовав себя лучше, Борис собрался на отдых в Сен-Тропез. Но перед этим успел еще сыграть роль кардинала в экранизации «Собора Парижской богоматери» с Лоллобриджидой в роли Эсмеральды. Съемки заняли всего три дня. Клод Леон заехал за Борисом на съемочную площадку, погрузил его в машину и отвез к морю.

О том, чтобы петь, теперь не могло быть и речи. Борису и на гитаре трудно было играть — через десять минут кончались силы. Но писать песни Виан продолжал. И даже создал французский рок.

Началось все с того, что Жак Канетти предложил Борису подготовить серию джаз-пластинок. Виан с готовностью взялся за дело и вскоре совершенно освоился на «Филипс». Он всем интересовался, без пригла-

шения врывался на собрания, давал советы. Он был столь обаятелен, что такое поведение даже нравилось. Вскоре он заразил всех своей страстью к мистификациям. В 1956 композитор Мишель Легран привез из Америки новинку: рок-пластинки, по которым сходила с ума вся американская молодежь. Виан и Анри Сальвадор (Сальвадюш, как называл его Борис; они были очень близки в то время, вместе сочиняли песни, вместе работали на «Филипс») услышали американский рок случайно, как всегда без спроса открыв какую-то дверь. Кумир юных американцев Элвис Пресли и новая музыка не понравились французским джазистам — это звучало как пародия на джаз, — и они решили сделать рок смешным. Виан написал четыре комические песни с названиями типа «Рок-энд-ролл Мопс» или «Рок-икота», Сальвадор сочинил музыку. Идея была такая: выпустить пластинку якобы по американской лицензии, обозначив Леграна как Мига Байка, а Сальвадора — как Генри Кординга, Вернон Сенклер (Виан) значился переводчиком американского текста, принадлежащего Джеку К. Нетти (Жаку Канетти). Запись состоялась в июне 1956. Все служащие фирмы «Филипс» страшно веселились, и осенью того же года Виана взяли на постоянную работу — без указания должности и с полной свободой действий. Виан сочинил знаменитую теперь во Франции песенку «Сделай мне больно, Джонни» (музыка Алена Гораге) и записал ее вместе со своей любимой актрисой Магали Нозль. На пластинке, разумеется, была не одна песня, а целая подборка, женский рок — в противовес американскому, мужскому. Так как эмансипацией во Франции в те времена никто не был болен, ярко выраженная сексуальность женского рока звучала весьма шокирующе. Кроме того, на конверте красовался виановский текст, довольно смело расхваливающий женское очарование известной актрисы. Даже для «Филипс» это было чересчур смело, и Канетти пришлось объясняться в высоких инстанциях.

Новая работа увлекла Бориса, вдохнула в него силы; он даже помолодел. Но в 1956 перед ним всерьез встал вопрос об операции на сердце. Установка искусственных клапанов еще не практиковалась во Франции. Единственное, что могли посоветовать ему врачи — это не нервничать и не переутомляться. Ни то, ни другое не удавалось. Бориса все чаще одолевали приступы страха, которые очень пугали Урсуду. После семейных размолвок они по очереди бегали отсиживать к Жаку Превьеру. У Превьера, правда, и своих сложностей хватало. Маленький Патрик Виан превратился в трудного подростка, и Мишель, перестав с ним справляться, отдала его отцу. Мечта Бориса сбылась, но союз оказался не из легких; мальчик был совершенно неуправляемый, ни в каких учебных заведениях подолгу не задерживался — то выгонят, то сам сбежит.

Всеобщая неустроенность, теснота, неуверенность в завтрашнем дне угнетали Бориса. И среди его замыслов появляется пьеса «Строители империи», в которой семья, спасаясь от неведомой опасности, перебирается из квартиры в квартиру, каждый раз в меньшую, до тех пор, пока беда наконец не настигает их. Пьеса была закончена в 1957, а в феврале 1959 была напечатана в «Досье N 6» Коллегии Патафизиков. В декабре пятьдесят девятого ее поставит Жан Негрони, режиссер «Театр Насьональ Попюлер», которым руководил Жан Вилар; музыку к спектаклю напишет Жорж Делерю.

В январе 1957 Жак Канетти, художественный директор «Филипс», сделал Виана своим заместителем. Борис получил даже собственный кабинет. В кабинете вечно толпился народ, устраивались шумные дискуссии, подписывались контракты (часто без согласования с начальством). За год работы на «Филипс» Виан написал Франсиса Лемарка, Мулуджи, Жаклин Франсуа, Анри Сальвадора и многих других французских исполнителей, которых без него записывать не стали бы. Он сочинил уйму песен и отдавал их всем, кто был согласен их спеть. Он выпустил «Песни 1900 года» в

исполнении Жюльетт Греко, Фернандо Рея и Армана Местраля; он «запустил» первых французских рок-певцов: Рока Фелера (рок-пародии) и Габриэля Далара; он записал «Песни о королях Франции», сказки братьев Гримм и Андерсена, которые сам перевел и инсценировал. Но много было и такого, что не могло понравиться Канетти: колоссальные неоправданные расходы, случайные люди, которых Виан приглашал записываться в порыве душевной щедрости. И в 1958 Бोरиса отстранили от вершения музыкальных судеб, назначив художественным директором филиала «Филипс» — фирмы «Фонтана». Недовольство Канетти и Виана было взаимным — Виан считал, что Канетти обирает артистов, продающих свое имя, и наживается за их счет. Желая рассказать всю правду про то, как рождаются песни и знаменитости, Броис написал книгу «Вперед, му-музыка... а денежки в карман» (издательство «Ливр контампорен», 1958) и был уже готов к тому, что его выгонят из «Фонтана» за разглашение профессиональных секретов. Каково же было его удивление, когда его не только не выгнали, но раскупили весь тираж скандальной книги. Виан проработал на «Фонтана» до января 1959 и ушел сам, потому что устал.

К концу 50-х у Виана начали понемногу складываться долгожданные отношения с кино. Летом 1957 он снимается в фильме Анри Грюэля «Джоконда» и пишет закадровый текст к этому короткометражному фильму. Роль, правда, у него крошечная: в течение нескольких минут он изображает на экране учителя таинственной улыбки. Фильм занял первое место на фестивале в Туре в 1957 году и получил Золотую Ветвь в Каннах в 1958.

В том же году Виан снимается у Пьера Каста в фильме «Карманная любовь». «Я любил его снимать, — признавался Каст в 1962 году, — потому что он весь светился какой-то фантастической странностью. [...] Он был согласен работать со мной: он чувствовал, что мне нравится с ним работать. Похоже, ему все же бы-

ло скучновато, ведь у Виана так много было всегда других дел. Он заскакивал без предупреждения, на бегу, и уходил, как только представлялась такая возможность.»

В качестве актера Виан появится еще в одном фильме Каста, «Прекрасный возраст», который выйдет только в 1960.

В 1958 Виан удостоивается чести фигурировать в документальном фильме, ему же посвященном, который по заказу канадского телевидения будет снимать его друг Марсель Дельам. И наконец в год своей смерти Виан сыграет небольшую роль в полнометражном фильме Роже Вадима «Опасные связи».

В сентябре 1957 у Бориса случился новый отек легких. Урсула оставила работу и все время проводила у постели мужа. В январе 1958 по совету врачей они отправились в Гури, на берег Ла-Манша. Оттуда однажды съездили в Ландемер, надеясь отыскать следы дома, принадлежавшего Вианам. Но дома не было, на месте сада буйствовали рододендроны.

Даже здесь, на море, Борису не становилось лучше. Он чувствовал, что жить осталось недолго. В записной книжке появляется следующая запись: «Одной ногой я уже в могиле, а другая машет только одним крылом». Неправильность этой фразы особенно выразительна.

Недолго осталось жить, недолго любить... И как бы на последнем вздохе летом пятьдесят восьмого Борис не на шутку увлекается немецкой актрисой Хильдегард Нефф. Давний уговор с Урсулой о взаимной свободе дает ему возможность не задумываться о последствиях.

С Хильдегард он познакомился, когда писал песню к фильму Ива Аллегре «Девушка из Гамбурга», в котором Нефф исполняла главную женскую роль. Нефф снималась в кино во Франции, Германии, Америке; она была талантлива, хороша собой и до невероятности похожа на Урсулу: такие же светлые стрижённые волосы, тот же легкий немецкий акцент; форма рта, волевой подбородок, огонь во взгляде. Друзья Бориса

были поражены сходством. Роман недолго оставался тайной. Виан посвящал Хильдегард песни, записывал с ней долгоиграющую пластинку и однажды даже привел домой.

После Берлина Борис снова погрузился в дела. Он сочиняет большое количество песен и работает с Анри Сальвадором, чей оптимизм придает ему сил. Пишет статьи о Жорже Брассенсе, Серже Гензбуре, Жаке Бреле для «Канар аншене», об Анри Сальвадоре для «Франс обсерватер», ведет хронику джаза для журнала «Джаз-Хот», переводит Стриндберга, пишет многочисленные сопроводительные статьи к пластинкам, в том числе о Рэймоне Кено, чьи «Стилистические упражнения» вышли в звуковом варианте. Музыкальные комедии для театра и кино остаются невостребованными, зато Коллегия Патафизиков охотно принимает «Полное собрание» неизданных пьес Виана.

1959-й. Виану остается жить полгода. Что он успел? В январе ушел из «Фонтана». Вместе с Жоржем Делерю переделал «Снежного рыцаря» для парижской «Опера Комик». Перевел пьесу Брендона Бихэна «Утренний посетитель». Сыграл в фильме Роже Вадима. Много писал для «Констелласьон»: «Недостаточно быть учтивым...», «Когда ссорятся ваши жены», «Жена за рулем», «Отпуск как в 1900»... В апреле Виану предложили место художественного директора в музыкальной фирме Эдди Барклея. Работы там было немного, и Борис согласился.

25 мая по радио «Франс III» прозвучала передача, посвященная Коллегии Патафизиков и их литературным «Тетрадам». Борис написал диалоги и сделал передачу вместе с Сальвадором и певицей Беатрис Арнак, которая исполняла «патафизические» песни.

28 мая все члены Коллегии собрались на банкете по случаю избрания нового куратора Коллегии, барона Жана Молле, друга Альфреда Жарри и Гийома Аполлинера (основатель и бывший куратор Коллегии Патафизиков доктор Сандомир отошел в мир иной). На банкете Борис продемонстрировал всем свое новое изобретение:

аппарат для изготовления Ордена Спирали, отличительного знака десяти Сатрапов. Торжественное чествование нового куратора состоялось 11 июня в Сите Верон, на террасе под открытым небом. Это был последний праздник в жизни Бориса.

Тому, что случилось 23 июня, предшествует длинная история.

Когда в 1948 году к Борису пришел сценарист Жак Допань и предложил написать киносценарий «Я приду плюнуть на ваши могилы», Борис только пожал плечами: его все еще преследовали за поругание общественной морали. Но, подумав, он согласился, решил немного изменить сюжет и убрать злополучное название. Фильм условно окрестили «Страсть Джо Гранта». Виан подписал контракт, фирма «Пате-Синема» купила сценарий и исчезла на долгие годы. В 1957 стало известно, что «Пате-Синема» частично перепродала права фирме «Осеан-Фильм» и что картина «Я приду плюнуть на ваши могилы» по одноименному роману Б. Виана должна вскоре выйти на экраны. «Осеан-Фильм» предложила Виану заключить новый контракт, слегка переделав текст старого и сохранив за фильмом название романа. Посулив немалый гонорар, фирма исчезла. Вскоре вместо нее права на экранизацию предъявило другое кинообъединение, СИПРО, которое не намерено было считаться ни с чьими интересами. Вместо того чтобы расторгнуть кабальный контракт, Виан связал себя по рукам и ногам обещанием написать диалоги к апрелю 58-го. В срок диалоги готовы не были. Фирма грозилась предъявить иск. Авторские права Виана были практически сведены к нулю. В том же стиле развивались и дальнейшие отношения между Вианом и СИПРО, что заставляло Бориса нервничать.

22 июня 1959 года кто-то из знакомых неожиданно сообщил Борису, что на следующий день назначен просмотр. (Фильм был снят Мишелем Гастоном, музыку написал Ален Горате.) Виан колебался, идти или не идти: сердце сильно сдало за последнее время. Урсула отмечала, что даже на расстоянии были слышны его

глухие удары. Мишель по телефону советовала: не ходи. И все же Борис решился, оставил дома спящую Урсулу и пошел на просмотр.

Просмотр начался около десяти утра 23 июня в зале «Пети Марбеф». Десять минут спустя Виан уронил голову на спинку кресла и потерял сознание. Умер он не приходя в себя по дороге в больницу.

Хоронили Виана 27 июня на кладбище Вильд'Авре. Среди родственников в черном ярким пятном выделялась фигура Урсулы: синий костюм, белый шарф вокруг головы, букет пунцовых роз. И море народу. Не было только могильщиков, которые объявили в тот день забастовку.

extremum

Юлия Горноскуль **РУМЫНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ**

Ряд румынских мыслителей, писавших в период интербеллума, активно развивали идею о том, что румынам присуще особое понимание смерти, уходящее корнями в древнейший дако-фракийский пласт. Подобные измышления об уникальности чувств, понятий и миссии каждого народа в целом характерны для той эпохи, которая в итоге разродилась ревностным национализмом. Однако самобытность румынской танатологии бросается в глаза даже в отрыве от идеологических мифов.

282

Румынский похоронный церемониал сохранил в своей структуре множество архаичных концепций, начиная от взаимосвязи души и тела и заканчивая дендроцентрической моделью мира. Наиболее объемно они представлены в текстах ритуальных плачей. Причем этот репертуар нельзя назвать отжившим: по свидетельствам этнографов, в той или иной мере он исполняется в селах до сих. Типология варьируется от региона к региону: где-то погребальный комплекс воспроизводится почти целиком, где-то обрядовые действия выпадают из цепочки, вследствие чего некогда динамичный ритуал превращается в набор застывших формул. Причиной тому служит нарушенная передача знаний: как только люди теряют способность расшифровать обряд, он отмирает. Но в целом сельское население с его вековой памятью, не понаслышке знающее о том, что узы крови и почвы определяют судьбу, сохранило архаические представления о «том свете» фактически нетронутыми.

Чтобы разобраться с народными представлениями румын о смерти, нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Несмотря на очень раннюю христианизацию (IV в.) и общенациональную позицию православной церкви, концепция смерти все равно остается скорее языческой. Если в православной доктрине смерть трактуется как избавление от греховного состояния, то в народном понимании это разбойничий налет, после которого в крестьянской общине остается зияющая брешь. Это «античное» понимание Танатоса: смерть похищает человека так же внезапно, как сон и как любовь. (О «любви» смерти к человеку и сопутствующее желание «обладать» им обычно говорится в случае гибели молодого парня/девушки.)

Нет и общего христианского представления о том, что душа по итогам мытарств попадает в объятия ангелов или когти бесов. Вместо этого она четко следует по заданному маршруту и приходит в Рай, причем Божий суд вершится именно по тому усердию и сноровке, с которыми душа преодолевает путь. Само понятие Рая в целом сопряжено с «краем предков», а не с Божественной вечностью. Соответственно, смерть предполагает долгое Великое Странствие к праотцам, в потустороннее царство, возглавляемое Господом Богом и всеми святыми. Отсюда и древнейший, сложный эвфемизм для покойника, который можно перевести на русский приблизительно как «белый странник» (белый здесь — цвет небытия, смерти, цвет савана).

Далее мы рассмотрим этот посмертный маршрут души в мир мертвых и то, как он дублируется в мире живых⁹.

⁹ Необходимо иметь в виду, что обрядовый комплекс может отличаться от зоны к зоне по всей территории Румынии, поскольку каждая зона имеет свои этно-фольклорные особенности. Поэтому мы будем говорить об общих характеристиках, не вдаваясь в мелкие различия, которых может быть довольно много даже в одном регионе. — *Здесь и далее в статье прим. авт.*

По ван Геннепу, рождение, брак и смерть являются переходными состояниями. Они обставляются соответствующими ритуалами в три этапа: прелиминальный, лиминальный и постлиминальный. Следовательно, структура погребального церемониала образуется из трех групп ритуально-магических практик, направленных на аннуляцию прежнего состояния, подготовку к переходу в новое состояние и утверждение в новом статусе.

По смерти покойника омывают и одевают в праздничный костюм. В прошлом нередко хоронили в свадебном костюме, для чего его хранили в течение жизни. Свадьба является эквивалентом смерти, а поскольку в состоянии перехода человек особенно уязвим для зла, свадебный костюм покрывает вышивка с апотропейным орнаментом. Подобные узоры с защитными свойствами вышивали и на исподней рубаше для умершего. Кроме того, территориально каждой зоне присущ характерный узор вышивки: по ней покойника узнают его предки в мире мертвых. Отметим, что в румынских сказках перед тем, как пуститься в странствие, герой обычно надевает свадебный костюм своего отца — это условие ему диктуют высшие силы (св. Неделя, св. Параскева и пр.) Представления о «том свете» вообще во многом совпадают с пространством народной сказки.

По общепринятым верованиям, душа пребывает в своем родном доме два дня. На третий день, когда тело увозят на погост, она отправляется по воздушным путям в мир мертвых. Два дня подряд в доме звучат заплачки, обусловленные статусом покойника (ребенок, девушка на выданье, женатый мужчина, старуха и т.д.) и сожаления о брэнной жизни, но они имеют скорее эмоциональный характер.

Комплекс песен эсхатологического порядка, связанных с «Великим Странствием», исполняется непосредственно в день похорон. Практически во всех регионах Румынии он начинается с так называемой «Рассветной песни», или «Песни заряниц». В румын-

ской мифологии заряницы — это первые лучи солнца, его сестры, зыны (женские духи). Итак, до восхода солнца в дом к умершему приходят три плакальщицы. Встав лицом на восток, они обращаются к «заряницам-сестрицам» с просьбой не спешить, не приносить с собой новый день — иными словами, остановить время, чтобы покойник успел собраться в последний путь.

Не спешите наступать,
 Не спешите рассветать:
 Не готов у нас пока
 Белый плат для странника,
 Девять весточек родным,
 Под клеймом из сургуча:
 Пусть приходят и они,
 Поглядят, что за беда.
 <...>
 Да повозка для поездки,
 Да два тягловых быка,
 Ибо едет странник мой
 Из одного мира в другой...¹⁰

В некоторых вариантах рассветной песни заряниц просят подождать, потому что покойнику якобы не успели сделать «еловую домовину». При этом подробно описывается гроб, в котором мастера вырежут шесть-девять окошек. Через них к умершему будут проникать ароматы цветов, воздыхания родных, прохладный ветер, запах свежее испеченного хлеба и ладана, свет от свечей и прочие напоминания о земной жизни — они будут утешать его тоску в вечной разлуке. Это демонстрирует необоримое желание живых удержать близкого человека в своем мире.

Далее плакальщицы будят покойного «странника», призывают его поторопиться со сборами: омыть с тела

¹⁰ Здесь и далее перевод с румынского — Ю. Горноскуль.

«смертный пот», одеться в белое, взять с собой деньги, свечу и хлеб.

Ион, очи открывай,
 На ноги свои вставай,
 Вниз, в долину погляди:
 Там понурый конь стоит,
 Дождается тебя.
 А на нем — черный чепрак,
 Стремена из серебра,
 Золоченая сбруя,
 Свита из шелков узда,
 Седло выгнуто дугой —
 Он сvezет тебя домой.

Любопытно, что три сестры-заряницы состоят в мифологическом родстве с тремя урситоарами — зынами, которые приходят к новорожденному спрясть нить его судьбы (т. е. отмерить долю). Являясь к покойнику, заряницы свидетельствуют его новое рождение в смерти.

Следом исполняется основная «Прощальная песнь» с наставлениями покойному. Ему подробно расписывают, что ждет его во время странствия и какой дорогой ему идти. Без этих советов душа заблудится в потустороннем пространстве и непременно станет добычей злых духов, вследствие чего умерший не будет знать покоя и вернется обратно к живым, но уже как ходячий мертвец. Начиная с этого момента, мы можем наблюдать очевидные параллели с Египетской книгой мертвых и с табличками, найденными в захоронениях орфиков.

Обязательный зачин — выбор между двумя путями, левым и правым. Левый путь зарос колючим бурьяном и обильно полит слезами, он не освещается, т. е. он в буквальном смысле *дикий*, темный — соответственно, он уходит в ад, в небытие. Правый путь освещен факелами, дорога проложена и *возделана*: на ней растет пшеница и душистые цветы «для странников»,

стоит вдохнуть их аромат, как забудется тоска по дому. Этот путь ведет в Рай.

Умерший должен пойти направо. В самом начале пути, «у колодца на поляне, посередь трех холмов, где маки горят да пчелы жужжат», он увидит Богородицу, а дальше — Иисуса Христа, но в древесных обликах. Так, Богородица чаще всего фигурирует в облике цветущей ивы. Иисус Христос представляется как Древо Жизни, гигантское цветущее дерево («Ой, то не дерево в цвету, а Господь наш в огненном кольце»). Т. е. народное сознание осмыслило их в дендрологических ипостасях, которые на определенном этапе были ему наиболее близки и понятны. В песнях, связанных с посмертным восхождением по дереву, о которых мы поговорим ниже, святые иногда располагаются в ветвях Мирового Древа (например, Богородица сидит в подвешенной люльке). Помимо прочего, такие мотивы напоминают нам об образе «Спас Лоза Истинная», возникшем в восточнохристианской иконографии в 15 в. Его изображения так же могли повлиять на народную мысль.

Встреча с Богородицей и Сыном Божиим подтверждает, что душа движется в верном направлении. Далее ее маршрут пролегает через чудесные края. Это те же земные ландшафты, однако они подчеркнута девственны, нетронуты: никто там прежде не проходил, росистая трава не примята, воды прозрачны, кругом стелется туман. Странствуя по ним, умерший должен пройти «пороги», или «заставы», или «препятствия» — их число варьируется от 9 до 24. Это определенные места, как правило, мосты, переброшенные через реки, ручьи и овраги. Там покойного поджидают «три молодца», «три девицы», «три жены» и т. д. Чтобы пройти, он должен дать им ритуальную мзду в зависимости от их пола и статуса: свечи и хлебцы, платки, цветы, холсты.

Как и в земном мире, день на «том свете» сменяется ночью, но крова нет, и душа вынуждена идти

далее. Проводниками в ночи ей служат тотемные животные: волк и выдра.

Выдра (или ласка) занимает особый статус в славяно-балканском пространстве. Ей приписывают ярко выраженное женское начало и, соответственно, акватико-теллурические функции: она является посредницей между землей и водой. На пути в мир мертвых она контролирует все источники, через которые должен пройти умерший. Поэтому в песне звучат такие наставления:

Не пугайся ее,
За сестрицу прими,
Ибо выдра подскажет,
Где вброд перейти,
С ней ты реки пройдешь,
Не потонешь в воде,
С ней к истокам придешь
Да в студеное ручье
От горячки присмертной
Ты по локоть обмоешь
Руки себе.

Далее правый путь ведет через леса, хозяином которых является волк. Не будет преувеличением сказать, что это самый влиятельный зверь в румынской мифологии, от которого зависела жизнь и смерть, процветание и упадок. Даки ассоциировали с волком основные функции мужского начала, функции воина-охотника-пастуха, что развилось в обширный культ (его отголоски до сих пор звучат в скотоводческих регионах). Песни предупреждают умершего, что волк будет вести себя угрожающе, но к нему нужно безбоязненно подойти и назвать его «братом». Тогда волк проведет странника сквозь дремучие леса, ведь только ему известны все потайные тропы.

Наставления в песнях звучат настойчиво, с повторами; плакальщицы практически умоляют покойного внять им, услышать, накрепко запомнить все сказан-

ное. Он сможет успешно пройти все заставы, только если раздаст плату всем встречным и не испугается диких зверей. Тогда он выйдет в долину, на поле, усеянное пионами, по которому «истомилось его сердце». Речь идет о дикорастущем пионе темно-красного цвета: он часто фигурирует в народной лирике, знаменуя собой витальность и незабываемую красоту¹¹. На этом поле идет непрерывный спор: там солнце спорит со смертью. Солнце настаивает на своем величии, на что смерть отвечает, что она стоит выше, поскольку беспрепятственно забирает себе всех, кто ей приглянется.

Там же в долине стоит большой дом с окнами на восток и широкими воротами — дом, в котором пребывает весь род покойного:

Там селенье наше,
Там к тебе выйдут
Старики да юнцы,
Бабы да девицы.
Ты на всех погляди —
Ведь они все твои.

Далее звучат советы о том, как вести себя с предками. Подчеркивается, что их ждут в гости в особые предпраздничные дни (например, канун Рождества, Страстной Четверг, когда для умерших готовили ритуальную трапезу):

Они встретят тебя
С лаской, как своего,
Они спросят тебя,
Что от нас ты принес?
Ласково молви им,
Что от нас ты принес
Свечи из сот пчелиных

¹¹ Относительно недавно румынский пион был утвержден государственными властями в качестве национального цветка.

Да цветы из садов,
А еще молви им:
Ожидаем их всех
На великие дни,
На Чистый четверг:
Пироги — из печи,
Чаши полны
Молоком до краев,
Одежды чисты,
Солнцем осушены,
Слезами орошены.

290

Как вариант, встречаются и более христианизированные представления: Рай описывается как девять небес, населенных различными святыми, а на девятом небе восседает сам Господь Бог. К райским вратам ведет особенный мост — он узкий, как лезвие ножа, и душа идет по нему, ориентируясь только на огонек своей свечи. Это момент суда: у грешников свеча гаснет, и они падают вниз, в адскую бездну. Но чаще всего Рай представляется как великолепный сад, где стоят накрытые столы — там сидит Иисус Христос, Богородица и св. Николай. Душу приглашают разделить райскую трапезу. Поэтому в пути ей следует поторопиться, иначе она может опоздать и прийти, когда «врата затворены, столы пусты, свечи погашены», т. е. не попасть в Рай.

Так выглядит путешествие «странника в белом» на метафизическом уровне. Что же происходит в это время с его телом? Вначале мы говорили о том, что погребальный церемониал состоит из суммы религиозно-магических практик, цель которых — должным образом подготовить покойного к переходу на тот свет, облегчить ему «Великое Странствие» и интеграцию в мир мертвых, в общину всех ушедших поколений, проживавших на данной земле.

Исходя из этой масштабной задачи, на время похорон покойника обеспечивали всеми необходимыми атрибутами: в руки влагали крест, а на грудь клали

свечу, отлитую по росту покойного и свернутую в спираль. Эта свеча должна была служить страннику «посохом» и освещать ему дорогу. Свечу зажигали дома в течение последующих четырех недель. Что касается хлеба, то для последнего пути выпекали хлеб кольцевидной формы с отверстием, похожий на русский калач.

Лицо покойного закрывали полупрозрачным платком для защиты от глаза; кроме того, чтобы попасть на «тот свет» и стать его частью, нужно отказаться от своей земной идентичности.

В некоторых зонах в гроб под руку покойного клали инструмент: серп для женщины, лезвие косы для мужчины. Эти инструменты символизируют смерть пшеничного колоса, по аналогии с человеческой смертью. Но гораздо важнее то, что они относятся к колюще-режущим предметам из железа, а следовательно, обладают апотропейной функцией и защищают тело от злых духов. С той же целью в гроб могли положить и другие заостренные предметы: гвозди, веретена, ветви колючих кустарников и т. д. Однако в таких случаях решающими факторами являются причина и обстоятельства смерти, возраст умершего и его социальный статус.

После выноса тела родственники затворяли окна и двери в знак того, что покойный отправился в последний путь, из которого уже не вернется. Далее разыгрывалось его прохождение по правильному пути через «пороги», или «заставы». Похоронная процессия останавливалась при выходе из дома и двора, на перекрестках дорог, у колодцев — ровно столько раз, сколько «застав» должен был пройти в их представлении умерший. К примеру, в зоне Клуж-Напоки (Северная Трансильвания) принято число 12. Исходя из этого, колокола на звоннице бьют по 12 раз с перерывами. Перерыв знаменует собой остановку, «заставу», на которой родственники раздают символическую плату: 12 свечей, 12 хлебов, 12 холстов, вытканых размером с покойного и т. д. В некоторых зонах (Буковина) на земле пе-

ред процессией расстилали полотенца, символизирующие собой мосты, по которым переходит умерший. Отметим, что шествие сопровождается импровизированными плачами — все наставления покойный прослушал еще в доме, теперь же его просто оплакивают, заставляя всю общину горевать и думать о неминуемой смерти.

Плакальщицы замолкают при появлении священника: похороны завершаются по канонам христианской традиции, отпеванием и проповедью (заметим, что в Румынии развился жанр характерной погребальной гомилевтики). После чего гроб опускают в могилу и забрасывают землей. Этнографы упоминают о любопытном обряде с черной курицей — ее заставляли перелететь через могилу. Согласно поверьям, на том свете курица расклевывает дорогу перед умершим и облегчит ему путь. Но уже в 19 в. этот обряд отмечен как устаревший.

После похорон в обязательном порядке следует поминальная трапеза, которая дублирует трапезу души в райском саду или в доме предков.

Как мы уже говорили, целью умершего является не просто пройти весь путь, но и влиться в великое множество предков, раствориться среди теней, утратив свою идентичность. Эта задача подразумевается в любом случае, вне зависимости от того, какой сюжет исполняется в прощальных песнях. Сроки такой интеграции в народном сознании варьируются от 40 дней до 1 года. В этот период ему оказывают посильную помощь домашними молитвами и церковными панихидами. По истечении времени умершего поминают только в специально отведенные даты — например, в Родительские субботы, и не отдельно, а в совокупности со всеми предками вообще.

Выше мы упомянули, что в корпусе погребальных песен румын можно обнаружить отголоски дендролатрии (христианские святые фигурируют в облике почитаемых деревьев). Наиболее подробно эти архаичные верования разворачиваются в так называемой «Песни

елового дерева», которая входит в похоронный репертуар почти во всех областях страны. «Песнь елового дерева» исполняют на смерть неженатого парня или девушки на выданье. Согласно поверьям, такой покойник будет ходить к живым, поскольку не растрочен его сексуальный потенциал. По этой причине его женят, разыгрывая похороны как свадьбу, а его символической брачной партией становится ель. Срубленное дерево привозят в дом к покойному, украшают лентами и прочей мишурой, везут во главе похоронной процессии и вкапывают в землю рядом с крестом на могиле.

Данный ритуал имеет множество специфических черт, которые отличают его от «обычных» похорон, но мы рассмотрим только роль хвойного дерева и связанные с ним посмертные представления.

Ель занимает центральное место в румынской танатологии: это Мировое Древо, Древо Жизни и Смерти, психопомп, проводник из одного состояния в другое. Ель фигурирует как на свадьбе, так и на похоронах практически во всех зонах (ближе к юго-востоку ее субститутотом выступает любое фруктовое деревце). В ритуальном сценарии ель символизирует собой как жениха, так и невесту, т. е. конкретно «вторую половину». Однако дендролатрический культ ели подразумевает именно мужское начало в зените вечной молодости. Ель воплощает божественное бессмертие — но не умирающего и воскресающего бога растительности, а бога вечно юного, не знающего времени и циклов, не знающего зрелости и брака. Именно поэтому из всех культовых деревьев народной мифологии как на свадьбу, так и похороны молодым приносят ель.

Сочетаясь символическим (и непорочным) браком с антропоморфизированной елью, покойный переходит на тот свет. «Песнь елового дерева» состоит из нескольких частей, со смысловыми вариациями в зависимости от пола умершего. В любом случае, сначала ее *добывают*, как добывают в сказках невесту: друзья покойного отравляются с топорами в горный лес и

среди множества елей находят ту самую, суженую и обреченную, по особой примете: у нее есть иссохшая ветвь. Эта иссохшая, увядшая ветвь выводит ель из вечнозеленого круга, указывает на ее предназначение — отправиться в земной мир. То же самое происходит с покойным: равным образом его в самом расцвете поражает увядание, равным образом смерть вырывает его из круга живых и уводит в мир иной.

Ель «оплакивает» свою участь: ей вольно расти в «середине мира», «на горе» (эти простые слова из плача лишний раз дают понять, что ель — это *axis mundi*, определяющая своим местоположением священный центр). Там веют ветры, сияет солнце и растет сочная трава, теперь же ее срубят и посадят в «скорбном местечке», «в углу сада», «в головах молодца», где она «сгинет». В ответ ей обещают, что родители покойного будут щедро поливать ее слезами, и она останется зеленой. После жалостливых переговоров дерево срубают и несут в село. Мать покойного «жениха» причитает (плач зафиксирован в Трансильвании):

294

Молодец, молодец!
 Не по сердцу, не по сердцу мне
 Жена твоя!
 Высокая, красивая,
 Высокая да стройная,
 В лесу возросшая,
 Топором срубленная.
 Молодец, молодец!
 Не по сердцу, не по сердцу мне
 Покров ее увядший.
 Молодец, молодец!
 Не по сердцу, не по сердцу мне
 Убор ее из пышной хвои!

У ели многократно просят прощения за то, что пришлось ее срубить. Но дерево в принципе отличается характерной несговорчивостью. Симеон Флоря Марьян в своей работе (1892 г.) приводит несколько

плачей, исполняемых двумя партиями в виде живого диалога между елью и душой. Приведем вкратце один из них.

Смерть незамужней девушки преподносится как катаклизм: землю захлестывает бурлящее море (ср. мотив потопа, поглощение мира первозданными водами, откат в хаос). Все живое стынет в ужасе. Душа девушки стоит среди бушующей стихии на клочке земли — на могиле, и трижды обращается к вкопанной там елке. Немаловажный момент: каждую просьбу она сопровождает присказкой «Будь мне братом!» (в румынском языке слов «ель» — мужского рода).

В первый раз она просит ель склонить свои верхние ветви, чтобы перебраться по ним над водой. Ель отвечает отказом: «Не могу, в ветвях моих гнездится красный сокол. Его птенцы заметят тебя, заклекочут, упадешь ты в море да утонешь».

Во второй раз душа просит ель позволить ей взобраться на ствол и перейти по нему через воды.

Ель снова отказывается: «На стволе моем сидит выдра, поджидает человеческую душу. Заметят тебя ее щенки, залают, напугают! Упадешь ты в море да утонешь».

В третий раз душа просит ель протянуть ей корни.

Ель упорно возражает: «В корнях моих расплодился желтая змея. Ее змееныши заметят тебя, зашипят, напугают! Упадешь ты в море да утонешь».

Душа отвечает: «Да будет так». И веско добавляет: ну ничего! Ведь у меня есть *родной* брат, а у него — двоюродные братья, и все они с топорами. Вот срубят они твой ствол да раскромсают на бревнышки, и сделают из тебя мост, и по этому мосту перейду я морские воды!

Ель в смятении. Поразмыслив, она склоняется и позволяет душе на нее взойти. И душа идет туда, «куда ведет ее кручина, чрез бурную пучину», на тот свет...

Здесь брачный союз осмыслен через одно из его свойств — породнение. Примечательно, что ель не желает вступать в родство с человеком, да и не может,

поскольку от макушки до корней ее стерегут дикие звери, представители трех стихий. Дикий, стихийный мир находится в оппозиции человеку, но человек в силах этот мир укротить. Именно об этой власти над стихией упоминает душа девушки: ее кровные братья с топорами могут сделать из величественной ели рукотворный мост. Это отсылка к популярному сюжету из народной мифологии: Господь Бог сотворил мир с топором в руках, так и мужчины, работая топором, рубая и созидавая, уподобляются Творцу.

Поражает и то, в какой целостности в этом плаче сохранилось архаичное представление о Мировом Древе-психопомпе, населенном обитателями трех миров. Безусловно, его самый точный аналог — это Иггд-расиль с орлом, белкой и драконом, хотя так же можно привести древо Хулуппу из шумеро-аккадской мифологии.

Как уже говорилось, на похоронах ель несут впереди гроба, под траурным платком, макушкой вниз. Когда вся процессия движется в церковь на отпевание, от лица покойного звучит такая просьба к ели:

 296

Предо мной ты ступай
 Да наказу внимай:
 Когда встретят тебя
 Божий Сын, Божья Мать,
 Чтоб тебя провести,
 Путь тебе указать,
 Ты за солнцем иди,
 Не за быстрой водой:
 Солнце хоть и заходит,
 Но по кругу идет,
 А воды текут,
 Да вспять не бегут...

Линейное восприятие времени, трактуемое через образ безвозвратно утекающей воды, предстает как нечто зловещее, уносящее в забвение, в бездну. И наоборот: образ солнца, которое «ходит по кругу», тем

самым задавая цикличность всем явлениям, гарантирует новую жизнь после смерти, только в ином пространстве. Перед нами вновь возникает «орфическое» распустье: у орфиков левый путь ведет к источнику забвения, а правый — к источнику памяти.

Подведем итоги. В целом, народный погребальный обряд у румын происходит под эгидой церкви, как и дальнейшая поминальная деятельность: парастасы, панихиды, домашние молитвы, следование церковному календарю с его днями поминовения усопших. Но при этом акциональный и вербальный код всех обрядов демонстрирует языческую сущность, начиная с обращения к природному явлению, заре (заряницам) и заканчивая видением конечного пункта, «Рая». Народной танатологии вообще свойственна дихотомия право-лево, верх-низ, космос-хаос, свой-чужой — это, конечно же, отличает ее от нравственной проблематики христианской танатологии. Основной похоронный репертуар представляет собой собрание текстов эсхатологического характера, с пост-орфическими чертами, что лишний раз свидетельствует о богатом наследии орфизма в греко-римском мире.

Красной нитью через весь церемониал тянется мотив Великого Странствия с прохождением определенных «порогов» и ритуальной платой мифическим существам: культовым животным, а также персонификациям человеческого возраста и статуса. Категория греха отсутствует; душа попадает в Рай благодаря своей предусмотрительности, расторопности — и помощи родных. Весь путь умершего на тот свет дублируется его родственниками в ритуальных действиях с целью не допустить обратного движения души, иначе оно приведет к катастрофе в пределах крестьянского мира (ходячие покойники, неурожай, падеж скота, пропажа молока у коров и пр.)

Также в румынской танатологии в деталях представлена дендроцентрическая картина мира, а связанные с ней практики даже нельзя назвать реликтами. Они в полной мере являют потребность древнего

человека устанавливать во время переломных событий (рождение, брак, смерть) в своем пространстве культовое дерево, тем самым маркируя место действия как священный центр.

В свое время Мирча Элиаде трактовал крестьянскую веру на юго-востоке Европы как т.н. «космическое христианство», для которого характерно циклическое восприятие времени, наличие архаичных религиозных элементов и проецирование на всю природу таинства Христа. Вероятно, именно такое «космическое христианство» проявляется в румынских погребальных обрядах. Но, в любом случае, они хранят в себе цельные фрагменты живой Традиции, которая властно напоминает о себе даже в незатейливых строках.

Библиография:

Berindei, Cosmina-Maria: Morfologia eschatologiei în cultura populară românească

298 Bodiu, Aurel: Elementele ale cultului funebru în zona Dealurile Clujului

Csiszar, Corina Isabella: Omul călător în concepția Prof. Mihai Pop

Eliade, Mircea: De la Zalmoxis la Gînghis-han

Ilin-Grozoiu, Loredana-Maria: Cîntecul ritual funerar — expresivitate și semnificații simbolice

Ilin-Grozoiu, Loredana-Maria: Motivul «Părăsirea casei pămîntești» în lirica funerară românească

Marian, Simeon Florea: Înмormântarea la români

Nogradi, Alina: Zănele Zori în mitologia românească a morții

Pașca, Melinda: Moartea la strămoșii noștri

Șișu, Vasile: Cîntece rituale de înмormântare. Arborele din textele funerare.

Эмиль Мишель Чоран
МОЯ СТРАНА¹²

Мне известны навязчивые состояния. Я испытал их больше, чем кто бы то ни было. Я знаю, какое воздействие может оказать на вас идея, насколько далеко способна она завести, как сильно увлечь и подавить, мне знакомы опасности безумия, коим она вас подвергает, требуемые ею нетерпимость и идолопоклонство, возвышенная бесцеремонность, к которой она принуждает вас... Равным образом мне известно и то, что одержимость — это основа страсти, питающий и поддерживающий её источник, тайна, которая её сохраняет.

Так случилось, что задолго до своего тридцатилетия я воспыал страстью к своей стране, страстью отчаянной, агрессивной, безысходной, которая терзала меня долгие годы. Моя страна! Я хотел ухватиться за неё любой ценой — и не нащупывал ни единой точки опоры. Не находил ей никакой реальности ни в настоящем, ни в прошлом. Я яростно расписывал её будущее, выдумывал небылицы, приукрашивал, не веря тому сам. И кончаю тем, что атакую его, это будущее, тем, что ненавижу его: я оплевал собственную утопию. У моей возлюбленной и иступлённой ненависти не бы-

¹² Данный текст был написан Чораном в 1950-х годах. Нигде не опубликованный и утраченный в пучине творческого беспорядка, царившего в кабинете мыслителя, он был случайным образом обнаружен в 1994 году, за год до смерти Чорана, его подругой Симоной Боуэ при очередной безуспешной попытке «навести порядок» в комнате известного французского затворника. (*Прим. пер.*)

Перевод с французского В. Просфорина (2015).

ло, если можно так выразиться, цели; ведь моя страна разваливалась на моих глазах. Я хотел видеть её могущественной, огромной и безумной, как злую силу, как рок, заставляющий дрожать мир, а она была маленькой, скромной, без каких-либо признаков, складывающих судьбу. Внимая её прошлому, я обнаруживал там лишь рабство, покорность и смирение, а обращаясь к настоящему, выявлял те же недостатки, одни деформированные, другие — оставшиеся нетронутыми. Я безжалостно изучал её, и замечаемое в ней с таким неистовством присутствие *чего-то иного* делало меня несчастным, ибо было предельно очевидным. К тому времени я дошёл до понимания того, что она *не вмещает* моей гордости, что она со всякой точки зрения слишком ничтожна перед моими требованиями. Не я ли написал тогда, что желал бы объединения в ней «судьбы Франции и популяции Китая»? Всё это безумие. Но безумие, причинявшее мне страдания, бред, за который мне приходилось расплачиваться собственным здоровьем. Вместо того чтобы направлять мысли к более реальной видимости, я устремлялся к своей стране, так как предчувствовал, что она предложит мне повод для тысячи мучений и что я буду иметь в своём распоряжении целый кладезь страданий, пока грежу о ней. Я нашёл в пределах своей досягаемости неисчерпаемый ад, где моя гордость могла воспалиться *мне же в ущерб*. И моя любовь была наказанием, к которому я приговорил себя, и лютым донкихотством. Я безостановочно обсуждал судьбу страны-без-судьбы: я стал, в прямом смысле слова, пророчествующим в пустыне. Впрочем, не я один разглагольствовал и страдал. Были и другие, имевшие виды на *будущее*, в которое они верили, хотя порою их охватывало сомнение в обоснованности надежды. Мы были шайкой отчаявшихся в средоточии Балкан. И мы были обречены на поражение; и это поражение — наше единственное оправдание.

То, что нашей страны *не существует*, являлось для нас достоверным фактом; мы знали, что у неё не было никакой реальности, кроме нашего отчаяния.

К тому времени сложилось своего рода движение, которое желало реформировать всё, *даже прошлое*. Говоря по правде, я ни единого мгновения не верил в него. Но это движение было единственным признаком того, что наша страна могла быть чем-то помимо фикции. И именно это жестокое движение, мешанину доисторических легенд и пророчеств, молитвенной мистики и револьвера, преследовали все власти, а само оно стремилось быть преследуемым. Ведь оно совершило неискупимый проступок, замыслив будущее для того, что не имело будущего. Все его вожди были обезглавлены, их трупы выброшены на улицу: своей судьбой они избавили страну от подобной участи. Они искупили отечество помешательством. Они были кровавыми мучениками. Они верили в убийство: поэтому их убили. Они уносили в свою смерть то грядущее, чью очевидность и «историю» они придумали вопреки здравому смыслу. И движение было осмеяно, рассеяно, наполовину истреблено. Его судьбой стала судьба одичавшего Пор-Рояля. Движение, основанное на жестоких идеях, сгинуло в жестокости. В тот момент, когда я питал слабость к этим кровожадным мечтателям, меня не покидало смутное ощущение, скорее предчувствие, что они не могли и не должны были достигнуть успеха, что они воплощали в *идеальной*, совершенной форме поражение моей страны, что их судьба состояла именно в том, чтобы наделить сей крах отсутствующими у него интенсивностью и темпом. По сути я был увлечён двойным поражением. При всём том мне требовалась минимальная конвульсия. Это движение предоставляло её. Тот, кто между двадцатью и тридцатью годами не принимает фанатизм, исступление и безумие — дурак. *Либеральными* бывают только от усталости, демократичными — из рассудительности. Несчастье — дело молодых. Именно они распространяют учения о нетерпимости и применяют их на практике;

именно им нужны кровь, крики, суматоха и варварство. Во времена моей юности вся Европа верила в молодёжь, вся Европа толкала её в политику, в государственные дела. Молодому человеку, теоретику и почти философу, во что бы то ни стало требуется безрассудный «идеал». Он не удовлетворяется умеренной философией: он фанатично полагается на безрассудство и ожидает от него всего.

Мы, юноши нашей страны, жили безрассудством. Оно было нашим хлебом насущным. Запертые в углу Европы, презираемые или позабытые миром, мы хотели, чтобы о нас заговорили. Для достижения этой цели одни использовали револьвер, другие выдавали скверный вздор, самые нелепые теории. Мы желали появиться в пространстве истории и чтить скандалы, единственное средство, думали мы, для отмщения темноты нашего положения, нашей недоистории, нашего несуществующего прошлого и унижения в настоящем. «Делать историю»; именно это выражение не сходило с наших уст: оно было магическим. Мы играли своей судьбой, мы пребывали в состоянии откровенного бунта против нашего небытия. И мы не опасались насмешки. Ведь наши знания были недостаточными, наш опыт — иллюзорным; но впоследствии разочарование должно было упрочниться, обрести несокрушимость. Оно дойдёт до того, что станет нашим законом... Мы вновь упадём на *плоскость* своей страны.

...Что до меня, то я должен был потерять всякий вкус, играя в неистовство, в конвульсию, в сумасшествие. Мои тогдашние причуды казались мне непостижимыми; я и вообразить бы не смог, каким станет моё прошлое; и когда думаю об этом теперь, то мне кажется, будто я вспоминаю годы кого-то *другого*. И именно этого другого я отрицаю, «сам», впрочем, пребывая за тридевять земель от того, каким он был.

И когда я вновь вспоминаю все страсти, всё иступление моего тогдашнего «я», свои заблуждения и увлечения, грёзы о нетерпимости, господстве и крови, овладевший мною сверхъестественный цинизм, пытки

в царстве Ничто и отчаянные ночные бдения, мне кажется, будто я изучаю навязчивые идеи постороннего человека, и меня изумляет тот факт, что этот чужак был мною. Правда, следует добавить, что в то время я был не искущён сомнениями и едва ли делал первые шаги на данном пути; я утопал в спорящей и чрезмерно настаивающей уверенности. Я написал тогда книгу о своей стране: быть может, никто ещё не нападал на неё с подобной резкостью. Она представляла собой измышление буйного помешанного. Но в моих отрицаниях пылал такой огонь, что, пребывая на расстоянии, я не могу поверить, будто это пламя не было опрокинутой любовью, идолопоклонством наоборот. Она походила на гимн убийцы или кричащую теорию патриота без родины. Несдержанные страницы, позволившие другой стране, враждебной моей, использовать их в клеветнической, а возможно и правдивой кампании. Какая разница! Я томился ненасытной жаждой. И до некоторой степени я признавался таким образом в любви к собственной стране, пользуясь замечательным случаем порвать с ней отношения. Я любил её, а она не могла реагировать на мои ожидания. Хорошие были времена: я верил в очарование несчастливых страстей. Я боготворил испытание: и наибольшим из таковых мне представлялось рождение именно в моей стране. Но дело в том, что тогда я невероятно нуждался в сумасшествии, в деятельном безумии. Мне требовалось истребление; и я проводил свои дни в размышлениях над образами изничтожения. Кого же истреблять? К определённым личностям я не испытывал ненависти. В моей стране существовали лишь две категории граждан: бедняки, составлявшие почти всю страну, и несколько шарлатанов, несколько паразитов, которые эксплуатировали их нищету. Погубить последних мне представлялось слишком лёгкой затеей: решение этой задачи было возможным, слишком возможным; она не соответствовала моим амбициям. Для меня это было делом без особого размаха, распылением в очевидности, соответствием общей потребности. Моей ненавис-

ти, пребывающей в поисках цели, внезапно показалось, что объект найден: кладбища... Охваченный гневом на наших предков, я понял, как их убить снова, на этот раз окончательно. Мне были ненавистны их немота, их бездействие и все столетия, которые они наполнили своими отречениями. Моя идея состояла в том, чтобы взорвать их могилы, швырнуть в воздух их останки, осквернить их молчание, отомстить им, надругаться над их поражениями, стереть в порошок наше «былое», наше извечное небытие... Моя идея, нечего и говорить, не развязала никакого крестового похода. Она меня удовлетворила на некоторое время. Затем мне стало скучно ненавидеть тщетно, и я погрузился в переживание более масштабной ненависти, которая охватывала весь мир и распространялась от презрения к соседу до космической анархии. Я в самом деле нуждался в безумии подобно тому, как другие нуждались в мудрости или деньгах. Сама мысль о том, что нечто существовало и могло существовать, не беспокоясь о моём желании разрушения, вызывала у меня приступы ярости и заставляла дрожать ночи напролёт. Именно тогда я понял, почему человеческая злость значительно превосходит злость животного. Дело в том, что наша злоба, неспособная сразу же переходить к действию и утолять себя, накапливается, усиливается, раздувается и переполняет нас. Благодаря ожиданию она пользуется размышлением и становится беспощадной. Она ненавидит всё, тогда как злоба зверя длится только мгновение и обрушивается лишь на ближайший объект; она, кроме того, не обращается против самой себя. Но наша злость достигает таких пропорций, что больше не знает, кого уничтожить, она «фиксируется» на нас самих. Итак, это был я: я стал центром своей ненависти. Я возненавидел мою страну, всех людей и весь мир; мне оставалось принять сие на собственный счёт, что я и сделал, обратившись к отчаянию.

п е р с о н а ж и

Федор Цветков МОСКВА — ДОН

Синопсис

Демьян — молодой студент из Оренбурга. Он приехал в Москву год назад поступать на логиста, и снимает квартиру у своей тети. Но Москва встречает его не с лучшей стороны, и энтузиазм к учебе и успешной карьере быстро сменяется разочарованием. В столице он так и не может найти себе друзей, а институт оказывается обыкновенной шарашкой, где не найти себе единомышленников. Да и долгожданное жилье на деле — обыкновенный склад барахла скупой женщины. Он чувствует, что никто его не понимает, а он не понимает окружающих. Демьян находит спасение от скуки в алкоголе. Только выпивая, он чувствует себя обычным нормальным подростком.

Проснувшись после очередной попойки, он идет за сигаретами и попадает в неприятную ситуацию: странные родители оставляют свою дочь Веру ему, чтобы он за ней «приглядел». Демьян понимает, что у девушки не все хорошо с головой, а родители спешно удаляются. Оставшись с ней наедине, Демьян ведет Веру в парк. Но обидевшаяся девушка ни в какую не хочет с ним общаться, до тех пор, пока в разговоре не всплывает свободная квартира Демьяна. Девушка ведет его домой, где они выпивают.

Наутро Демьян не обнаруживает Веры рядом. На кухне звонит телефон — это Леха, единственный знакомый Демьяна в Москве. Он предлагает прокатиться, и тот соглашается. Демьян спускается на улицу, где

обнаруживает Веру. Она говорит, что ждет его тут уже несколько часов, и им пора идти жениться. Демьян пытается с ней спорить, но быстро понимает, что не может. Подъезжает Леха, который проводит всех обратно в дом. Пока девушка в туалете, Леха предлагает Демьяну привезти из Краснодарского края несколько килограмм наркотиков. Демьян категорически отказывается, но помогает другу с выбором автомобиля — это черная Волга.

Следующие несколько дней Демьян понимает, что больше не может находиться в Москве, и склоняется к тому, чтобы согласиться на поездку. Неожиданный визит собственницы квартиры служит поводом для Демьяна, и он решает ехать вместе Верой.

Герои прощаются с Москвой. Демьян полон надежд на счастливое будущее, и вместе с тем, чувствует, что стоит на краю пропасти. Их путь лежит по трассе М4 «Москва — Дон». Но черный воронок то и дело норовит соскочить с маршрута, заезжая в соседние села и города, а компания попадает в смешные, странные, а порой, страшные обстоятельства.

Добравшись с горем пополам до Ростова-на-Дону, герои готовятся к встрече с дилерами. Неожиданно, Леха говорит Демьяну, что девушку стоит «кинуть» здесь, и продолжать путь вдвоем. Уже успевший полюбить Веру Демьян отказывается, и в горячке пытается уехать обратно в Москву. На вокзале его ловит Леха, который все же решает пойти на компромисс. Всю ночь герои едут к назначенному месту встречи.

На рассвете появляются бандиты. Сделка почти проходит успешно, но выскочившая из перелеска Вера все ломает. Демьян выбрасывается из Волги, хватая Веру и бежит с ней подальше в лес, чтобы не оставить ее на расправу бандитам. Леха же уезжает от погони на черной Волге, оставив друзей. Выбившись из сил, Демьян и Вера засыпают в лесу.

Демьян просыпается и понимает, что уже вечерело. Он спешит выйти обратно к трассе. Но сколько не идут герои, лес не кончается. Наваливающаяся тьма

начинает сводить с ума. Неожиданно они выходят к спасительной заброшенной деревушке. Демьян решает остаться в одном из домов до утра.

Утром Демьян обнаруживает, что эта деревня, кажется, самое счастливое и красивое место на свете. Он поражен здешней свободой и спокойствием. Он понимает, что вот — истинный дом, который ищет каждый человек.

Но вместе с тем, Демьян ощущает в этой красоте жгучую грусть и боль, а к свободе находит себя неприспособленным. В его сердце начинают бороться человеческие суетливые идеалы и не менее наивная мечта о жизни в этом удивительном месте. Демьян заходит в разрушенную церковь, где встречает священника, представившегося как смерть.

На следующий день Демьян пытается выбраться из деревни. Но сколько не идет по дикому лесу и непроходимым болот до горизонта, путь обратно не находится. Демьян быстро привыкает к жизни в деревне, и почти смиряется с жизнью в ней. Тревожит одно — надвигающаяся осень. В один из дней священник венчает их.

В один из дней Демьян решает предпринять последнюю попытку побега и зайти так далеко, как не заходил никогда. Вера пытается отговорить его остаться. Но Демьян неумолим. Они весь день идут по лесам и болотам.

Вера делает неосторожный шаг и проваливается в трясины. Демьян не спас ее. В ужасе Демьян пытается покончить с собой, но останавливается, падая на землю. Он возвращается в деревню, как и обещал Вере. Но теперь он не хочет жить нигде, падает на пол избы и ждет смерти.

Через несколько дней, он устает ждать, и полон намерения покончить с собой в церкви. Выйдя на улицу, он находит белого коня, который выносит его из леса в обычный мир.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Триумф медицины и вырождение человечества 4

п р о з а

Александр Рындин. Спать 6

Яна Васькевич. Кажется, моя жена — рыба 13

Дмитрий Заигралов. Яма 20

Павел Лукьянов. Талант и поклонник 33

Евгений Долматович. Голоса полуденной пыли 50

Александр Сордо. Легкий способ 67

Виталий Аширов. Инструкция к смерти 90

м е р т в ы й т е к с т

Генри Глассфорд Белл. Мертвая дочь 118

с ц е н а

Ролан Топор. Интимное сражение 128

Владимир Мироненко (Товарищ У). Преподы 131

*Нелли Цымбаленко. Похороны козла,
или Как тебе мои кожаные рейтузы* 151

ш к о л а т р у п о в

Александр Бренер. Умер Джордж Сорос 157

Михаил Токарев. Папа, Ролан Барт опять умер 165

Вадим Климов. Некрологи 179

borisvian

Борис Виан. Дохлые рыбы 199

Борис Виан. Поездка в Херостров 213

*Мария Аннинская. Человек,
«который опередил время», и его эпоха* 223

extremum

Юлия Горноскуль. Румынская книга Мертвых 282

Эмиль Мишель Чоран. Моя страна 299

п е р с о н а ж и

Федор Цветков. Москва — Дон 305

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Порядок слов в Иллюзионе Котельническая наб., 1/15

Листва Жуковского, 4с1

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Ходасевич Покровка, 6

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

PRIMUS VERSUS Покровка, 27

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Порядок слов Набережная реки Фонтанки, 15

Листва Литейный проспект, 33

Во весь голос Маяковского, 19

Иное кино Невский, 60 (кинотеатр «Аврора»)

Брянск **Закладка** Калинина, 111

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а, цокольный этаж

Воронеж **[Элефтерия]** Кардашова, 5

Грозный **Jeanne Books** Хамзата Орзаниева, 29

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

Ярославль **Книжная лавка Юрия Швецова** Свердлова, 9

www.opustoshitel.ru, totenburg.org,

ozon.ru, Читай-город, Лабиринт

mybooks.by (Беларусь)

merion.lv (Латвия)